

**СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**



# **ОТРАЖЕНИЯ**

**Первые опыты художественного перевода**

**Альманах**

**Выпуск 10**

Редакторы и составители:  
К. С. Корконосенко, О. В. Матвиенко

Санкт-Петербург — Донецк  
2020

УДК 82-822=03  
ББК 84(0)  
О-862

Ответственная за выпуск О. И. Чуванова, А. В. Кузьмина

С предложениями и пожеланиями обращаться по адресу:

Донецк, 83001, ул. Университетская, 24. ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кафедра зарубежной литературы. Матвиенко О. В.

Тексты для публикации можно также направлять по электронной почте [kmlkf@list.ru](mailto:kmlkf@list.ru) или на адрес редактора сборника [matvizar@gmail.com](mailto:matvizar@gmail.com). Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются.

Издание носит некоммерческий характер и не поступает в продажу.

Проект реализован при поддержке  
Ассоциации преподавателей русского языка и литературы «РОПРЯЛ»

***Рецензенты:***

***В. Н. Андреев***, переводчик, член Союза писателей Санкт-Петербурга

***В. В. Федоров***, д. филол. н., зав. кафедрой русской истории и теории словесности  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Печатается по решению ученого совета факультета иностранных языков ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», протокол № 7 от 23.09.2020 г.

О-862 **Отражения. Первые опыты художественного перевода:** Альманах. Вып. 10. Ред. и сост. К. С. Корконосенко, О. В. Матвиенко; [отв. за выпуск О. И. Чуванова, А.В. Кузьмина]. СПб.; Донецк, 2020. 204 с.

В юбилейный выпуск сборника «Отражения» включены лучшие переводы мировой литературной классики и современной литературы, выполненные победителями Международного конкурса начинающих переводчиков им. Э. Л. Линецкой (2018, 2019), который ежегодно проводится Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге. Здесь также опубликованы избранные переводы студентов и преподавателей факультета иностранных языков Донецкого национального университета. В рубрике «В переводческой мастерской» представлены избранные тексты талантливых молодых переводчиков С. Капустина и А. Чистякова.

УДК 82-822=03  
ББК 84(0)

ISBN 978-5-6045236-0-5

© Союз писателей Санкт-Петербурга, 2020  
© Донецкий национальный университет, 2020  
© Корконосенко К. С., Матвиенко О. В., составление, 2020

## От составителя

*Дорогой читатель!*

*Настала очередь долгожданного юбилейного, десятого, выпуска нашего переводческого альманаха «Отражения». Редколлегия приняла решение посвятить его целиком материалам Международного конкурса начинающих переводчиков им. Э. Л. Линецкой (2018, 2019). Откроем секрет: в перспективе мы планируем опубликовать архив конкурса за все годы его существования. Достойные переводы просто обязаны увидеть свет!*

*Конкурс, который регулярно проводится под эгидой Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге и популяризирует классические традиции Петербургской (Ленинградской) школы перевода, объединил в виртуальном русскоязычном пространстве людей, влюбленных в художественный перевод. С каждым новым годом в переводческий процесс вовлекаются новые языки (чешский, венгерский), расширяется география его участников, живущих в различных уголках России, ближнего и дальнего зарубежья. Публикуя лучшие переводы иностранной поэзии и прозы, надеемся, что читатели смогут обогатить свое представление о классической и современной словесности, порадоваться удачным переводческим решениям.*

*Приятно отметить, что в этом конкурсе традиционно участвуют студенты и преподаватели Донецкого национального университета. И хотя их переводы не всегда завоевывают призовые места, начинающие донецкие переводчики стараются удерживать профессиональную планку высоко.*

*Рубрика «В переводческой мастерской» познакомит Вас с лучшими текстами талантливых переводчиков с романских языков — испанскими переводами уроженца Омска, а ныне петербуржца Сергея Капустина и переводами итальянской прозы, выполненные Александром Чистяковым, который представляет сразу несколько стран: Россию, Италию, Бельгию.*

*Пользуясь случаем, приглашаю Вас войти в число авторов альманаха и напоминаю, что редколлегия ждет Ваши собственные переводческие подборки. То, что Вы переводите «для себя», чему посвящаете свободное время и отдаете душевные силы. Тексты, которые Вы шлифуете и совершенствуете, добываясь идеального звучания, безупречного стиля.*

*Надеемся на успешное сотрудничество.*

*Читайте с удовольствием!*

Ольга Матвиенко

## Слово о конкурсе

*Каждый год, начиная с 2009-го, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга проводит Конкурс начинающих переводчиков имени Э. Л. Линецкой. С идеей организации такого конкурса выступили ученики Эльги Львовны, бывшие участники ее семинара — Т. Н. Чернышева, М. Д. Яснов, В. Е. Багно и В. Н. Андреев.*

*Конкурс проводится при финансовой поддержке Института перевода в Москве; цель его — сохранение традиций отечественной школы художественного перевода, а задача — на конкурсной основе отметить лучшие переводы поэзии и прозы, выполненные начинающими переводчиками на материале предложенных заданий.*

*Для участников Конкурса не устанавливается ограничений по возрасту, гражданству и месту жительства. Начинающим может считать себя всякий переводчик, делающий первые шаги в художественном переводе, не состоящий ни в каком профессиональном союзе и имеющий не более трех переводных публикаций.*

*Диапазон заданий год от года меняется: в 2020 году на конкурс предложены тексты на английском, венгерском, испанском, итальянском, китайском, немецком и французском языках по номинациям Проза и Поэзия. Информация о конкурсе помещается на сайт Пушкинского Дома, а потом, уже без усилий оргкомитета, передается по социальным сетям.*

*Награждения в Большом зале Пушкинского Дома проходят и торжественно, и весело. Это праздник для всех любителей перевода. Отраднo, что на этом празднике завязывается общение лауреатов и с профессиональными переводчиками, и между собой, и этот заинтересованный диалог продолжается и потом, выходя за рамки конкурсных заданий.*

*Один из результатов такого общения — издание лучших переводов 2018 и 2019 годов в выпуске «Отражений» под двойным грифом — Союза писателей С.-Петербурга и Донецкого национального университета.*

*Мне было и лестно, и приятно участвовать в подготовке очередного выпуска вместе с Ольгой Матвиенко, многократной победительницей Конкурса начинающих переводчиков. Уверен, такая совместная работа продолжится и в будущем.*

Кирилл Корконосенко

**МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА  
НАЧИНАЮЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ  
ИМ. Э. Л. ЛИНЕЦКОЙ  
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2018 – 2019)**



ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО



## АНГЛИЙСКАЯ ПРОЗА

### F. Scott Fitzgerald (1896-1940). Afternoon of an Author *Esquire* (August 1936)

When he woke up he felt better than he had for many weeks, a fact that became plain to him negatively – he did not feel ill. He leaned for a moment against the door frame between his bedroom and bath till he could be sure he was not dizzy. Not a bit, not even when he stooped for a slipper under the bed.

It was a bright April morning, he had no idea what time because his clock was long unwound but as he went back through the apartment to the kitchen he saw that his daughter had breakfasted and departed and that the mail was in, so it was after nine.

"I think I'll go out today," he said to the maid.

"Do you good – it's a lovely day." She was from New Orleans, with the features and coloring of an Arab.

"I want two eggs like yesterday and toast, orange juice and tea."

He lingered for a moment in his daughter's end of the apartment and read his mail. It was an annoying mail with nothing cheerful in it – mostly bills and advertisements with the diurnal Oklahoma school boy and his gaping autograph album. Sam Goldwyn might do a ballet picture with Spessiwitza and might not – it would all have to wait till Mr. Goldwyn got back from Europe when he might have half a dozen new ideas. Paramount wanted a release on a poem that had appeared in one of the author's books, as they didn't know whether it was an original or quoted. Maybe they were going to get a title from it. Anyhow he had no more equity in that property – he had sold the silent rights many years ago and the sound rights last year.

"Never any luck with movies," he said to himself. "Stick to your last, boy."

He looked out the window during breakfast at the students changing classes on the college campus across the way.

"Twenty years ago I was changing classes," he said to the maid. She laughed her débutante's laugh.

"I'll need a check," she said, "if you're going out."

"Oh, I'm not going out yet. I've got two or three hours' work. I meant late this afternoon."

"Going for a drive?"

"I wouldn't drive that old junk – I'd sell it for fifty dollars. I'm going on the top of a bus."

After breakfast he lay down for fifteen minutes. Then he went into the study and began to work.

The problem was a magazine story that had become so thin in the middle that it was about to blow away. The plot was like climbing endless stairs, he had no element of surprise in reserve, and the characters who started so bravely day-before-yesterday couldn't have qualified for a newspaper serial.

"Yes, I certainly need to get out," he thought. "I'd like to drive down the Shenandoah Valley, or go to Norfolk on the boat."

But both of these ideas were impractical – they took time and energy and he had not much of either – what there was must be conserved for work. He went through the manuscript underlining good phrases in red crayon and after tucking these into a file slowly tore up the rest of the story and dropped it in the waste-basket. Then he walked the room and smoked, occasionally talking to himself.

"Wee-I, let's see –"

"Nau-ow, the next thing – would be –"

"Now let's see, now –"

After awhile he sat down thinking:

"I'm just stale –I shouldn't have touched a pencil for two days."

He looked through the heading "Story Ideas" in his notebook until the maid came to tell him his secretary was on the phone – part time secretary since he had been ill.

"Not a thing," he said. "I just tore up everything I'd written. It wasn't worth a damn. I'm going out this afternoon."

"Good for you. It's a fine day."

"Better come up tomorrow afternoon – there's a lot of mail and bills."

He shaved, and then as a precaution rested five minutes before he dressed. It was exciting to be going out – he hoped the elevator boys wouldn't say they were glad to see him up and he decided to go down the back elevator where they did not know him. He put on his best suit with the coat and trousers that didn't match. He had bought only two suits in six years but they were the very best suits – the coat alone of this one had cost a hundred and ten dollars. As he must have a destination – it wasn't good to go places without a destination – he put a tube of shampoo ointment in his pocket for his barber to use, and also a small phial of luminol.

"The perfect neurotic," he said, regarding himself in the mirror. "By-product of an idea, slag of a dream."

## II

He went into the kitchen and said good-bye to the maid as if he were going to Little America. Once in the war he had commandeered an engine on sheer bluff and had it driven from New York to Washington to keep from being A.W.O.L. Now he stood carefully on the street corner waiting for the light to change, while young people hurried past him with a fine disregard for traffic. On the bus corner under the trees it was green and cool and he thought of Stonewall Jackson's last words: "Let us cross over the river and rest under the shade of the trees." Those Civil War leaders seemed to have realized very suddenly how tired they were – Lee shriveling into another man, Grant with his desperate memoir-writing at the end.

The bus was all he expected – only one other man on the roof and the green branches ticking against each window through whole blocks. They would probably have to trim those branches and it seemed a pity. There was so much to look at – he tried to define the color of one line of houses and could only think of an old opera cloak of his mother's that was full of tints and yet was of no tint – a mere reflector of light. Somewhere church bells were playing "*Venite Adoremus*" and he wondered why,

because Christmas was eight months off. He didn't like bells but it had been very moving when they played "*Maryland, My Maryland*" at the governor's funeral.

On the college football field men were working with rollers and a title occurred to him: "Turf-keeper" or else "The Grass Grows," something about a man working on turf for years and bringing up his son to go to college and play football there. Then the son dying in youth and the man's going to work in the cemetery and putting turf over his son instead of under his feet. It would be the kind of piece that is often placed in anthologies, but not his sort of thing – it was sheer swollen antithesis, as formalized as a popular magazine story and easier to write. Many people, however, would consider it excellent because it was melancholy, had digging in it and was simple to understand.

The bus went past a pale Athenian railroad station brought to life by the blue shirted redcaps out in front. The street narrowed as the business section began and there were suddenly brightly dressed girls, all very beautiful – he thought he had never seen such beautiful girls. There were men too but they all looked rather silly, like himself in the mirror, and there were old undecorative women, and presently, too, there were plain and unpleasant faces among the girls; but in general they were lovely, dressed in real colors all the way from six to thirty, no plans or struggles in their faces, only a state of sweet suspension, provocative and serene. He loved life terribly for a minute, not wanting to give it up at all. He thought perhaps he had made a mistake in coming out so soon.

He got off the bus, holding carefully to all the railings and walked a block to the hotel barbershop. He passed a sporting goods store and looked in the window unmoved except by a first baseman's glove which was already dark in the pocket. Next to that was a haberdasher's and here he stood for quite a while looking at the deep shade of shirts and the ones of checker and plaid. Ten years ago on the summer Riviera the author and some others had bought dark blue workmen's shirts, and probably that had started that style. The checkered shirts were nice looking, bright as uniforms and he wished he were twenty and going to a beach club all dolled up like a Turner sunset or Guido Reni's dawn.

The barbershop was large, shining and scented – it had been several months since the author had come downtown on such a mission and he found that his familiar barber was laid up with arthritis; however, he explained to another man how to use the ointment, refused a newspaper and sat, rather happy and sensually content at the strong fingers on his scalp, while a pleasant mingled memory of all the barbershops he had ever known flowed through his mind.

Once he had written a story about a barber. Back in 1929 the proprietor of his favorite shop in the city where he was then living had made a fortune of \$300,000 on tips from a local industrialist and was about to retire. The author had no stake in the market, in fact, was about to sail for Europe for a few years with such accumulation as he had, and that autumn hearing how the barber had lost all his fortune he was prompted to write a story, thoroughly disguised in every way yet hinging on the fact of a barber rising in the world and then tumbling; he heard, nevertheless, that the story had been identified in the city and caused some hard feelings.

The shampoo ended. When he came out into the hall an orchestra had started to play in the cocktail room across the way and he stood for a moment in the door listening. So long since he had danced, perhaps two evenings in five years, yet a review of his last book had mentioned him as being fond of night clubs; the same review had also spoken of him as being indefatigable. Something in the sound of the word in his mind broke him momentarily and feeling tears of weakness behind his eyes he turned away. It was like in the beginning fifteen years ago when they said he had "fatal facility," and he labored like a slave over every sentence so as not to be like that.

"I'm getting bitter again," he said to himself. "That's no good, no good – I've got to go home."

The bus was a long time coming but he didn't like taxis and he still hoped that something would occur to him on that upper-deck passing through the green leaves of the boulevard. When it came finally he had some trouble climbing the steps but it was worth it for the first thing he saw was a pair of high school kids, a boy and a girl, sitting without any self-consciousness on the high pedestal of the Lafayette statue, their attention fast upon each other. Their isolation moved him and he knew he would get something out of it professionally, if only in contrast to the growing seclusion of his life and the increasing necessity of picking over an already well-picked past. He needed reforestation and he was well aware of it, and he hoped the soil would stand one more growth. It had never been the very best soil for he had had an early weakness for showing off instead of listening and observing.

Here was the apartment house – he glanced up at his own windows on the top floor before he went in.

"The residence of the successful writer," he said to himself. "I wonder what marvelous books he's tearing off up there. It must be great to have a gift like that – just sit down with pencil and paper. Work when you want – go where you please."

His child wasn't home yet but the maid came out of the kitchen and said:

"Did you have a nice time?"

"Perfect," he said. "I went roller skating and bowled and played around with Man Mountain Dean and finished up in a Turkish Bath. Any telegrams?"

"Not a thing."

"Bring me a glass of milk, will you?"

He went through the dining room and turned into his study, struck blind for a moment with the glow of his two thousand books in the late sunshine. He was quite tired – he would lie down for ten minutes and then see if he could get started on an idea in the two hours before dinner.

**Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Послеполуденный отдых писателя**  
*Впервые опубликовано в журнале Esquire в августе 1936 года*

I

Когда он проснулся, то чувствовал себя лучше, чем в предыдущие недели; этот факт стал для него очевиден от противного – он не чувствовал себя больным. Он постоял, прислонившись к дверному косяку между спальней и ванной, пока не удостоверился, что у него не кружится голова. Нисколько, даже когда он наклонился за домашней туфлей под кроватью.

Было яркое апрельское утро; точного времени он не знал, так как его часы уже давно не заводили, но когда он прошёл по квартире на кухню, то увидел, что дочь уже позавтракала и ушла, и уже принесли почту, так что было больше девяти.

«Думаю, я сегодня прогуляюсь», – сказал он горничной.

«Вам на пользу пойдёт – чудесный сегодня денёк». Она была из Нового Орлеана, с арабскими чертами лица и цветом кожи.

«Я хочу два яйца по-вчерашнему и тост, апельсиновый сок и чай».

Он на минуту задержался на дочкиной стороне квартиры и прочитал почту. Это была раздражающая почта, не содержащая ничего жизнерадостного – в основном счета и рекламные листовки, изображавшие школьника с распахнутым рукописным альбомом в залитой солнцем Оклахоме. Сэм Голдвин может снять фильм о балете со Спесивицей<sup>1</sup>, а может и не снять – надо подождать возвращения мистера Голдвина из Европы, когда у него может появиться ещё полдюжины новых идей. Студия Парамаунт хочет получить права на использование стихотворения, появлявшегося в одной из книг писателя, так как они не знают, процитировал он его или написал сам. Возможно, хотят взять оттуда название для какого-нибудь фильма. В любом случае, он уже не являлся собственником – он продал права на немую экранизацию той книги много лет назад, а на звуковую в прошлом году.

«С фильмами вечно не везёт, – сказал он сам себе. – Занимайся лучше своим делом, приятель».

Во время завтрака он смотрел из окна на студентов, шедших с лекции на лекцию на университетском кампусе через дорогу.

«Двадцать лет назад у меня были перемены между лекциями», – сказал он горничной. Она засмеялась как дебютантка на балу.

«Мне нужен будет чек, – сказала она, – если вы собираетесь уходить».

«Да я пока ещё не уйду. Мне ещё нужно поработать пару-тройку часов. Я имел в виду во второй половине дня».

«На машине поедете?»

«Я бы не сел за руль этой развалины – продал бы её за пятьдесят долларов. Поеду на автобусе».

---

<sup>1</sup> Ольга Спесивцева (1895 – 1991) – русская балерина, эмигрировавшая из России в 1924 году. – *Прим. пер.*

После завтрака он пятнадцать минут полежал. Затем пошёл в кабинет и приступил к работе.

Проблема заключалась в рассказе для журнала, который так прохудился в середине, что его в любую минуту могло сдуть ветром. Сюжет был похож на карабканье по бесконечной лестнице, у него в запасе не было никакого элемента неожиданности, а герои, которые так смело ринулись в бой позавчера, не стоились бы и для газетного фельетона.

«Да, мне определённо нужно прогуляться, – подумал он. – Проехать бы по долине Шенандоа<sup>1</sup> или сесть на паром до Норфолка<sup>2</sup>».

Но обе затеи были непрактичными – они требовали времени и усилий, которых у него было немного – а всё, что имелось, надо было беречь для работы. Он пробежался взглядом по рукописи, подчёркивая удачные фразы красным карандашом, и, засунув эти страницы в папку, медленно порвал оставшуюся часть рассказа и бросил её в корзину для мусора. Потом он походил по комнате с сигаретой, время от времени разговаривая сам с собой.

«Ну чтооо ж, посмотрим –

«Тепееерь, дальше – будет –

«Теперь посмотрим, теперь –

Через какое-то время он сел, думая:

«Я просто залежался – не стоило пару дней братья за карандаш».

Он просматривал раздел «Идеи для рассказов» в своей записной книжке, пока горничная не пришла сказать ему, что звонит его секретарша – работающая на полставки с тех пор, как он заболел.

«Ничегошеньки, – сказал он. – Я только что порвал всё, что написал. Оно ни к чёрту не годилось. Собираюсь сегодня в город».

«Вам пойдёт на пользу. Сегодня хороший день».

«Приходите лучше завтра после обеда – накопилось много почты и счетов».

Он побрился, а затем из предосторожности пять минут отдохнул перед тем, как одеться. Он был приятно взволнован предстоявшей прогулкой – он надеялся, что лифтёры не станут говорить, как рады вновь видеть его на ногах, и решил воспользоваться лифтом у заднего входа, где его не знали. Он надел свой лучший костюм, с пиджаком и брюками разного цвета. За последние шесть лет он купил всего два костюма, но это были отменные костюмы – один лишь пиджак из этого комплекта стоил сто десять долларов. Поскольку ему нужна была цель – нехорошо было бесцельно бродить по городу, – он положил в карман тюбик шампуня для своего парикмахера и пузырёк люминола.

«Образцовый невротик, – сказал он, разглядывая себя в зеркале. – Побочный продукт идеи, осадок мечты».

---

<sup>1</sup> Шенандоа – долина на территории штатов Виргиния и Западная Виргиния в США. – Прим. пер.

<sup>2</sup> Норфолк – город-порт в штате Виргиния, США. – Прим. пер.

## II

Он зашёл на кухню и попрощался с горничной так, будто уезжал в Маленькую Америку<sup>1</sup>. Как-то раз во время войны он, блефуя нуждами армии, реквизирует целый поезд и настоял, чтобы его отвезли из Нью-Йорка в Вашингтон, лишь бы успеть вовремя вернуться из увольнения. А теперь он осторожно стоял на углу улицы и ждал, когда на светофоре загорится нужный свет, в то время как молодые люди пробегали мимо него с завидным равнодушием к уличному движению. На автобусной остановке под деревьями было зелено и прохладно, и он подумал о последних словах «Каменной Стены» Джексона<sup>2</sup>: «Давайте перейдём эту реку и отдохнём в тени деревьев». Эти командующие Гражданской войны, казалось, как-то внезапно осознавали свою усталость – Ли<sup>3</sup>, высохший до непохожести на самого себя, Грант<sup>4</sup>, бросившийся отчаянно писать мемуары под конец жизни.

Автобус оправдал все его ожидания – на верхнем, открытом этаже кроме него был всего один человек, и зелёные ветви постукивали об окна на протяжении целых кварталов. Эти ветви, наверное, придётся обрезать, и это казалось досадным. Было много на что посмотреть – он пытался определить цвет одного ряда домов, но в голову приходило лишь старое оперное манто его матери, в котором было множество оттенков, но вместе с тем никакого конкретного – простой отражатель света. Где-то церковные колокола играли «Venite adoremus»<sup>5</sup>, и ему было непонятно, почему, так как до Рождества было ещё восемь месяцев. Он не любил колокола, но тогда, на похоронах губернатора, они очень трогательно играли «Мэрилэнд, мой Мэрилэнд»<sup>6</sup>.

На университетском футбольном поле были рабочие с газонными катками, и ему в голову пришло название: «Хранитель газона» или же «Трава растёт», что-нибудь о мужчине, который годами работает на газоне и растит сына, чтобы тот поступил в колледж и играл там в футбол. Затем сын умирает в юности, а мужчина устраивается на работу на кладбище и укладывает газон на могиле сына, а не под его ногами. Это был бы рассказ из тех, что часто публикуют в сборниках, но не в его стиле – всего лишь раздутая антитеза, схематичная, как рассказ для популярного журнала, и даже проще для написания. Многие, однако, сочли бы

---

<sup>1</sup> Маленькая Америка (англ. Little America) – американская исследовательская база в Антарктике, существовавшая в период с 1929 по 1958 годы. – *Прим. пер.*

<sup>2</sup> Томас Джонатан Джексон (1824 – 1863) – американский генерал, один из командующих войсками Конфедерации (южных штатов) во время Гражданской войны в Америке. Получил прозвище «Каменная стена» за стойкость в сражениях. – *Прим. пер.*

<sup>3</sup> Роберт Эдвард Ли (1807 – 1870) – американский генерал, главнокомандующий армией Конфедерации во время Гражданской войны в Америке. – *Прим. пер.*

<sup>4</sup> Улисс С. Грант (1822 – 1885) – американский генерал, главнокомандующий армией Союза (северных штатов), впоследствии 18-й президент США (1869 – 1877). – *Прим. пер.*

<sup>5</sup> «Adeste fidelis» – католический рождественский гимн, известный также как «Venite adoremus» по словам из припева. – *Прим. пер.*

<sup>6</sup> «Мэрилэнд, мой Мэрилэнд» (англ. «Maryland, My Maryland») – официальный гимн американского штата Мэрилэнд. – *Прим. пер.*

историю превосходной, потому что в ней была меланхолия, было, в чём покопаться, и она была легка для понимания.

Автобус проехал мимо бледного железнодорожного вокзала в афинском стиле, оживлённого группой мужчин в голубых рубашках и красных бейсболках у входа. Улица сузилась при въезде в деловой центр, и внезапно появились ярко одетые девушки, все очень красивые – ему подумалось, что он никогда раньше не видел таких красивых девушек. Мужчины тоже были, но все они выглядели довольно глупо, как он сам в зеркале, были и старые невзрачные женщины, а вскоре обыденные и неприятные лица появились и среди девушек; но в целом они были хорошенькие, одетые по-настоящему ярко, разных возрастов от шести до тридцати, никаких планов или проблем во взгляде, лишь состояние сладкой подвешенности, соблазнительное и безмятежное. Он на минуту почувствовал ужасную любовь к жизни, совсем не желая от неё отступить. Он подумал, что, возможно, совершил ошибку, выйдя на улицу так скоро.

Он вышел из автобуса, осторожно держась за все поручни, и пошёл по кварталу до парикмахерской в отеле. Он прошёл мимо магазина спортивных товаров и заглянул в окно, но не впечатлился ничем, кроме бейсбольной перчатки-ловушки, у которой уже успел потемнеть карман<sup>1</sup>. Рядом был галантерейный магазин, и там он постоял довольно долго, глядя на тёмные оттенки рубашек и на те, что были в шотландскую клетку. Десять лет назад на летней Ривьере писатель и ещё несколько человек купили тёмно-голубые рубашки для рабочих, и, возможно, положили начало этому стилю. Рубашки в клетку смотрелись хорошо, яркие как униформы, и он захотел, чтобы ему было двадцать и чтобы он шёл в пляжный клуб, нарядный, как тёрнеровский<sup>2</sup> закат или рассвет Гвидо Рени<sup>3</sup>.

Парикмахерская была большой, сияющей и благоухающей – прошло несколько месяцев с тех пор, как писатель последний раз выбирался в город с подобной миссией, и он обнаружил, что его знакомый парикмахер слёг с артритом; однако он объяснил другому, как использовать шампунь, отказался от газеты и сидел вполне счастливый и довольный от ощущения сильных пальцев на своём скальпе, в то время как приятные разрозненные воспоминания обо всех парикмахерских, которые он когда-либо знал, проплывали у него в памяти.

Однажды он написал рассказ о парикмахере. В 1929 году владелец его любимой парикмахерской в городе, где он тогда жил, сделал состояние в \$300000 на чаевых от местного промышленника и собирался уйти на покой. У писателя тогда не было никаких контрактов; он вообще собирался отправиться на несколько лет в Европу на свои сбережения, и осенью новость о том, что парикмахер потерял всё своё состояние, побудила его написать рассказ,

---

<sup>1</sup> Карман – сетка между большим и указательным пальцем бейсбольной перчатки, помогающая игроку ловить мяч. – *Прим. пер.*

<sup>2</sup> Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер (1775 – 1851) – английский художник-романтик, особенно известный изображениями солнечного света и использованием ярких цветов. – *Прим. пер.*

<sup>3</sup> Гвидо Рени (1575 – 1642) – итальянский художник эпохи барокко. Одной из самых известных его работ является фреска «Рассвет» в садовом доме дворца Паллавичини-Роспильози в Риме. – *Прим. пер.*

тщательно замаскированный, но всё же завязанный на истории парикмахера, который возносится к успеху, но потом катится вниз; он слышал, однако, что в том городе эту историю опознали и это вызвало некоторую обиду.

Шампунь закончился. Когда он вышел в холл, в коктейльном баре напротив заиграл оркестр, и он минуту постоял в дверях, слушая. Как долго он не танцевал, наверное, пару раз за пять лет, а ведь один из отзывов на его последнюю книгу упоминал, что он любит ночные клубы; тот же отзыв ещё и окрестил его неутомимым. Что-то в мысленном звучании этого слова мгновенно его надломило, и, чувствуя наворачивающиеся на глаза слёзы слабости, он отвернулся. Это было как вначале, пятнадцать лет назад, когда ему приписали «фатальную непринуждённость», и он, как раб, корпел над каждым предложением, чтобы от неё избавиться.

«Я снова огорчаюсь, – сказал он сам себе. – Это нехорошо, нехорошо – надо ехать домой».

Автобуса долго не было, но он не любил такси и всё ещё надеялся, что ему что-нибудь придёт в голову на втором этаже, едущем сквозь зелёную листву бульвара. Когда он наконец пришёл, подъём по лестнице дался ему с некоторым трудом, но оно того стоило, так как первое, что он увидел, была парочка подростков, парень и девушка, сидевшие без всякого стеснения на высоком пьедестале статуи Лафайета, полностью поглощённые друг другом. Их обособленность тронула его, и он знал, что она поможет ему в работе, пусть лишь на контрасте с растущей замкнутостью его собственной жизни и увеличивающейся необходимостью перебирать уже порядком перебранное прошлое. Ему нужно было пустить новые побеги, и он это хорошо понимал и надеялся, что его почва выдержит ещё один посев. Эта почва изначально не была самой лучшей, так как он рано поддался слабости к позёрству вместо того, чтобы слушать и наблюдать.

Вот и его дом – он взглянул на свои окна на верхнем этаже перед тем, как войти.

«Резиденция успешного писателя, – сказал он себе. – Интересно, что за удивительные книжки он строчит там наверху. Наверное, здорово иметь такой талант – просто сиди себе с карандашом и бумагой. Работай когда хочешь – ходи куда хочешь».

Его ребёнка ещё не было дома, но горничная вышла из кухни и сказала:

«Хорошо прогулялись?»

«Идеально, – сказал он. – Я покатался на роликах, поиграл в боулинг, подурачился с «Человеком-Горой» Дином<sup>1</sup>, а под конец сходил в турецкую баню. Телеграммы были?»

«Ни одной».

«А принесите-ка мне стакан молока».

---

<sup>1</sup> Фрэнк Симмонс Ливитт (1891 – 1953) – американский профессиональный рестлер, известный также под прозвищем «Человек-Гора» (англ. Man Mountain). – *Прим. пер.*

Он прошёл через столовую и повернул в кабинет, ослеплённый на секунду блеском своих двух тысяч книг в свете заката. Он порядком устал – он приляжет на десять минут, а затем посмотрит, успеет ли начать новую вещь за два часа перед ужином.

*Перевод Елены Перминовой ([eyr002@bucknell.edu](mailto:eyr002@bucknell.edu)). Ей 31 год, живет в Москве. Закончила Институт истории и филологии в РГГУ (г. Москва) и магистратуру по филологии в университете Бакнелл (США). В настоящее время преподает историю и литературу на английском языке в частной школе. Мечтала с детства о художественном переводе, сейчас занимается им в качестве хобби. Перевод занял первое место в номинации «английская проза» (2018)*

### **Фрэнсис Скотт Фицджеральд. После полудня автора**

Проснувшись, он впервые за много недель почувствовал, что ему лучше, осознав факт от противного – он не чувствовал себя больным. С минуту он постоял, опершись о дверную раму между спальней и ванной, пока не убедился, что у него не кружится голова. Ничуть, даже когда он нагнулся за домашней туфлей под кроватью.

Было ясное апрельское утро, и он понятия не имел который час, потому что давно не заводил свои часы, но, пройдя через комнаты в кухню, увидел, что дочь позавтракала и ушла и почту принесли, а значит, было уже больше девяти.

– Пожалуй, выйду сегодня, – сказал он горничной.

– Ну и правильно, денек-то какой хороший.

Она была родом из Нового Орлеана и чертами лица и цветом кожи походила на арабку.

– Я буду два яйца, как вчера, тост, апельсиновый сок и чай.

Он ненадолго задержался в дочкиной части квартиры и просмотрел свою почту. Это была раздражающая почта, ничего бодрящего – в основном счета, реклама и ежедневный школьник из Оклахомы со своим жаждущим альбомом для автографов. Сэм Голдвин может запустить фильм о балете со Спесивцевой, а может, и нет – придется подождать, пока мистер Голдвин не вернется из Европы, откуда, вероятно, привезет полдюжины новых идей. Студия Парамант запрашивала о праве на стихотворение, напечатанное в одной из книг автора, так как не знала – это его собственное сочинение или цитата. Наверное, хотели взять строчку из него в название. В любом случае у него уже не было доли в этой собственности – много лет назад он продал право на немую экранизацию, а в прошлом году на звуковую.

– Вечно не везет с кино, – пробормотал он вслух. – Держись своего ремесла, парень.

Завтракая, он смотрел из окна на студентов, которые шли из класса в класс по кампусу колледжа на другой стороне улицы.

– Двадцать лет назад я ходил из класса в класс, – сообщил он горничной. Она засмеялась своим девичьим смехом.

– Мне нужен будет чек, – сказала она, – раз вы уходите.

– А, нет, я еще не уйду. У меня есть работа часа на два-три. Я имел в виду, попозже, днем.

– На машине покатаетесь?

– Нет, эту рухлядь я не поведу – ее давно пора продать долларов за пятьдесят. Поеду автобусом, на втором этаже.

После завтрака он прилег на пятнадцать минут. Затем перешел в кабинет и начал работать.

Проблема была с журнальным рассказом, который настолько истончился к середине, что грозил раствориться в воздухе. Сюжет походил на карабканье по бесконечным ступеням, в запасе у него не было интересного поворота, и персонажи, которые так браво начинали позавчера, теперь не годились и для газетного сериала.

– Да, мне явно нужно проветриться, – подумал он. – Можно съездить в долину Шенандоа или поплыть на корабле в Норфолк.

Но обе идеи были непрактичны – они требовали времени и энергии, а него едва хватало и того, и другого – и то, что осталось, необходимо было сохранить для работы. Он перечитал рукопись, подчеркивая удачные фразы красным карандашом, и, сложив отобранные страницы в папку, медленно порвал остальную рассказ и бросил в корзину для бумаг. Потом он ходил по комнате и курил, время от времени разговаривая вслух с самим собой.

– Та-ак, посмотрим...

– Не-а, после этого будет...

– А вот как теперь...

Некоторое время спустя он сел, думая:

– Я просто выдохся. Пару дней не стоило брать карандаш в руки.

Он смотрел на список “идеи для рассказа” в своем блокноте, пока не вошла горничная, чтобы сказать, что звонит его секретарша – со времени его болезни секретарша на полставки.

– Ничего, – сказал он. – Я только что порвал все, что написал. Оно гроша ломаного не стоило. Днем выйду погуляю.

– Вот и хорошо. Погода чудесная.

– Лучше приходите завтра, после полудня. Скопилось много почты и счетов.

Он побрился и на всякий случай передохнул пять минут, прежде чем одеться. Сборы подействовали на него возбуждающе – он надеялся, что лифтеры не скажут, что рады опять его видеть, и решил, что спустится задним лифтом, где его не знали. Он надел свой лучший костюм, пиджак и брюки которого не сочетались. За шесть лет он купил только два костюма, но зато очень хороших – один только пиджак, надетый на нем, стоил сто десять долларов. Так как ему необходима была цель – нехорошо бродить без цели, – он положил в карман тюбик лосьона, который использует его парикмахер, и еще пузырек люминала.

– Образцовый невротик, – сказал он, разглядывая себя в зеркале. – Побочный продукт идеи, отброс мечты.

## II

Он зашел в кухню и попрощался с горничной, как будто собирался на антарктическую станцию. Когда-то, во время войны, он на машине спустился с крутого обрыва и проехал на ней от Нью-Йорка до Вашингтона, чтобы не быть обвиненным в дезертирстве. Сейчас он благоразумно стоял на углу улицы, ожидая смены сигнала светофора, пока молодые люди торопливо шли мимо, небрежно игнорируя поток автомобилей.

На автобусной остановке, под деревьями, было зелено и прохладно, и он вспомнил последние слова Стоунволла Джексона: “Мы должны перейти реку и отдохнуть там в тени деревьев”. Эти вожди Гражданской войны как будто внезапно осознали, насколько они устали, – Ли, усохший до неузнаваемости, Грант с его отчаянным писанием мемуаров в конце жизни.

Автобус оправдал его ожидания – наверху, кроме него, только один пассажир и зеленые ветви, несколько кварталов подряд шелестевшие о каждое окно во время движения. Наверное, ветки подрежут, а жаль. Столько всего можно было увидеть – он постарался определить цвет одного ряда домов и вспомнил старый оперный плащ своей матери, который переливался множеством оттенков, хотя был одноцветным – просто отражение света. Где-то церковные колокола вызванивали “Приидите, поклонимся”, и он удивился, потому что до Рождества оставалось еще восемь месяцев. Он не любил колокола, но когда на похоронах губернатора они играли «Мэриленд, мой Мэриленд», было очень трогательно.

По футбольному полю колледжа двигались рабочие с катками, и ему в голову пришло название: “Газонщик” или еще “Трава растет”, что-нибудь о человеке, который много лет работает газонщиком и растит сына, который когда-нибудь поступит в колледж и будет там играть в футбол. Потом сын умирает молодым и отец идет работать на кладбище и укладывает дерн над головой своего сына, а не под его ногами. Получилась бы вещь из тех, что часто печатают в антологиях, но не его – прямолинейная раздутая антитеза, все разложено по полочкам, как в рассказе из популярного журнала, – такое писать нетрудно. Впрочем, многие нашли бы, что это превосходно – меланхолично, со смыслом и все понятно.

Автобус проехал блеклое здание железнодорожного вокзала, которое оживляли синерубашечные носильщики. Улица стала уже, когда начался деловой квартал и вдруг появились ярко одетые девушки, все очень красивые – он подумал, что никогда не видел таких красавиц. Там были и мужчины, но все они выглядели довольно глупо, как и он сам в зеркале, и еще были старые невыразительные женщины, да и среди девушек попадались некрасивые и несимпатичные; но, в общем, они были прелестны, все, и худые и полные, хорошо одеты, с лицами, на которых не отражались ни замыслы, ни борьба, только милое выжидание, провоцирующее и безмятежное. Целую минуту он безумно любил жизнь и не хотел с ней расставаться. Он подумал, что, наверное, совершил ошибку, выйдя так рано.

Крепко держась за поручни, он спустился по ступенькам автобуса и направился в сторону отельной парикмахерской, до которой оставался еще один квартал. Проходя мимо магазина спорттоваров, он глянул на витрину, оставшись равнодушным ко всему, кроме перчатки первого бейсмена с уже потемневшим карманом. Рядом находился галантерейный магазин, и возле него он простоял некоторое время, рассматривая насыщенные оттенки однотонных и клетчатых рубашек. Десять лет назад, на летней Ривьере, автор и еще несколько человек купили темно-синие рабочие блузы и, возможно, задали этот стиль. Клетчатые рубашки, яркие, как униформа, выглядели заманчиво, и он хотел, чтобы ему было двадцать и чтобы он шел в пляжный клуб, разодетый в цвета заката Тёрнера или рассвета Гвидо Рени.

Парикмахерская была большая, сияющая и наполненная запахами – прошло уже несколько месяцев с тех пор, как автор выходил в город с подобной миссией, и оказалось, что его знакомый парикмахер слег с артритом; однако он объяснил другому, как использовать лосьон, отказался от газеты и сидел вполне довольный, с наслаждением чувствуя сильные пальцы на своем черепе, в то время как приятные смешанные воспоминания обо всех парикмахерских, которые он знал, проходили через его голову.

Однажды он написал рассказ о парикмахере. Когда-то, в 1929 году, хозяин его любимого заведения в городе, где он тогда жил, сделал состояние в 300 000,00 долларов на подсказках от местного воротилы и хотел отойти от дел. Автор не владел акциями и вообще собирался на несколько лет отплыть в Европу со всеми сбережениями, которые у него были, и той осенью, услышав, что парикмахер потерял все свои деньги, он написал рассказ, тщательно замаскированный, но, несомненно, основанный на случае парикмахера, который вознесся и рухнул; он, впрочем, слышал, что в городе историю узнали и испытали недобрые чувства.

Лосьон закончился. Когда он вышел в холл, в коктейльном зале напротив заиграл оркестр, и он на минуту задержался в дверях, вслушиваясь. Он так давно не танцевал, разве что два вечера за пять лет, и все-таки в рецензии на его последнюю книгу было упомянуто, что он любитель ночных клубов; в той же рецензии его называли неутомимым. Что-то в мысленном звучании этого слова мгновенно сломало его, и, почувствовав слезы слабости на глазах, он отвернулся. Это было как вначале, пятнадцать лет назад, когда говорили, что ему свойственна “пагубная легковесность” и он трудился, как раб, над каждым предложением, чтобы опровергнуть это.

– Я снова ожесточаюсь, – сказал он себе. – Это нехорошо, нехорошо – мне нужно домой.

Автобуса долго не было, но он не любил такси и все еще надеялся, что с ним что-нибудь случится на верхнем этаже, плывущем сквозь зеленые листья бульвара. Когда автобус наконец пришел, он с некоторым трудом взобрался по ступенькам, но оно того стоило, потому что первое, что он увидел, была пара старшекласников, юноша и девушка, сидевшие в полном самозабвении на высоком пьедестале статуи Лафайета, поглощенные друг другом. Их отделенность тронула его, и он знал, что сможет извлечь из этого что-нибудь

профессионально полезное, хотя бы по контрасту с растущей изолированностью собственной жизни и все более давящей необходимостью брать из уже достаточно обобранного прошлого. Он должен был заново засеять почву и знал это и надеялся на еще один урожай. Эта почва всегда была с изъяном, слишком рано он стал потакать своей склонности к позерству вместо того, чтобы слушать и наблюдать.

Вот и дом – он взглянул на свои окна на верхнем этаже, прежде чем войти в подъезд.

– Резиденция успешного писателя, – сказал он себе. – Воображаю, какие дивные книжки он там строчит. Вот здорово иметь такой талант – просто сиди себе с карандашом и бумагой. Работай когда захочется, иди куда вздумается.

Дочка еще не вернулась, но из кухни вышла горничная и спросила:

– Хорошо провели время?

– Замечательно, – ответил он. – Я катался на роликах, играл в боулинг, боролся с Мэн Маунтин Дином и закончил в турецких банях. Есть телеграммы?

– Ни одной.

– Принесите мне, пожалуйста, стакан молока.

Он пересек столовую и вошел в своей кабинет, ослепленный на мгновение сиянием двух тысяч книг в уже уходящем солнечном свете. Он очень устал – вот полежит десять минут, а потом посмотрит, придет ли ему в голову идея за те два часа, что остались до обеда.

*Перевод Анны Сухой ([tierra2000@yandex.ru](mailto:tierra2000@yandex.ru)), живет в г. Запорожье (Украина). По специальности бухгалтер, интересуется английским языком. Перевод занял второе место в номинации «английская проза» (2018)*

## **Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Послеполуденный отдых писателя «Эсквайр» (август 1936 г.)**

### 1

Проснувшись, он впервые за несколько недель почувствовал себя лучше, и с неохотой пришлось признать: он не болен. Он немного постоял, прислонившись к дверному косяку у входа в ванную, пока не удостоверился, что голова не кружится. Совсем не кружится, даже если нагнуться и поискать под кроватью домашнюю туфлю.

Было солнечное апрельское утро. Точного времени он не знал, поскольку часы давно встали, но по дороге на кухню он обнаружил, что дочь уже позавтракала и ушла из дома; в её комнате лежала свежая почта, а значит, шел десятый час.

– Пожалуй, прогуляюсь сегодня, – сообщил он горничной.

– Это вам очень полезно. Погода славная. – Горничная была родом из Нового Орлеана, со смуглой кожей и арабскими чертами лица.

– Я буду два яйца, как вчера, а ещё тост, апельсиновый сок и чай.

Он ненадолго задержался в комнате дочери, чтобы просмотреть почту.

Почта была раздражающе скучна: в основном счета, рекламные буклеты и, конечно же, очередной школьник из Оклахомы, жаждущий автографа. Вот Сэм Голдвин<sup>1</sup> пишет, что, может быть, займется фильмом о балете со Спесивцевой – а может, и не займется; дела подождут, пока мистер Голдвин не вернется из Европы с десятком свежих идей. Компания «Парамаунт» на всякий случай просит разрешения на публикацию поэмы из его книги, поскольку они не уверены, цитата это или оригинальное произведение. Возможно, строки из поэмы станут названием для фильма. Как бы там ни было, эта книга ему уже не принадлежит: он продал права на немую экранизацию книги давным-давно, а год назад продал права и на звуковую.

«Одна беда с этими фильмами, – подумал он про себя. – Не связывайся с ними, дружище».

За завтраком он смотрел в окно. Через дорогу был кампус, который на время перерыва заполнили студенты колледжа.

– Двадцать лет назад я сам был студентом, – сказал он, обращаясь к горничной. Та неискренне рассмеялась.

– Мне бы чек на покупки, раз вы уходите, – сказала она.

– Так ведь я ещё не ушел. Надо поработать два-три часа. Ближе к вечеру пойду.

– На машине поедете?

– На этой развалухе?.. Да я бы с радостью её продал долларов за пятьдесят. Нет, я прокачусь на верхней площадке автобуса.

После завтрака он прилег на пятнадцать минут. Затем уселся за стол в своем кабинете и принялся за работу.

Новый рассказ для журнала выходил таким неубедительным, что не выдержал бы никакой критики. Писать его было всё равно что карабкаться по какой-то бесконечной лестнице, в голову не приходило ни единого интересного поворота, а герои, которые так хорошо начинали позавчера, теперь не годились даже для бульварного романа.

«М-да, мне решительно необходим перерыв, – подумал он. – Можно съездить в долину Шэнандоа или сесть на лодку до Норфолка<sup>2</sup>».

Оба замысла были непрактичны, поскольку требовали времени и усилий, а он не располагал в достаточном количестве ни тем, ни другим. Все имевшиеся ресурсы следовало сохранить для работы. Он пролистал свою рукопись, подчеркивая мало-мальски стоящие фразы красным карандашом, после чего сложил нужные страницы в папку и медленно разорвал все остальное. Ключки бумаги отправились в мусорное ведро. Затем он принялся мерить комнату шагами, покуривая и бормоча себе под нос:

– Та-ак, поглядим...

– Что ж, да-алее...

---

<sup>1</sup> Сэмюэл Голдвин (1879 – 1974) – один из самых успешных кинопродюсеров в истории США. – *Прим. пер.*

<sup>2</sup> В годы Гражданской войны в США (1861 – 1865) долина Шенандоа и Норфолк были крупными театрами военных действий. – *Прим. пер.*

– Ну-ка, а что если...

Через некоторое время он снова сел.

«Совсем нет сил, – подумал он. – Ещё пару дней не стоило притрагиваться к перу».

Он долго листал раздел «Идеи для рассказа» в своем блокноте, пока не вошла горничная, сообщившая, что секретарь просит его к телефону – уточнить, не нужно ли приехать.

– Ничего не выходит, – сообщил он секретарю. – Я разорвал в клочья все, что написал. Этот бред ни гроша не стоит. Сегодня пойду прогуляться.

– Вам будет полезно. Погода славная.

– Так что лучше приезжай завтра. Почты и счетов полно...

Он побрился и на всякий случай передохнул минут пять, прежде чем начать одеваться. Выход из дома был для него волнительным событием. Он решил, что сегодня спустится на другом лифте: а то знакомые лифтеры, чего доброго, пристанут к нему, выражая радость по поводу его выздоровления. Он надел свой лучший костюм. Пиджак был одного цвета, а брюки – другого. За последние шесть лет он купил всего два костюма, но они были просто отличные: один только пиджак, который теперь был на нем, стоил сто десять долларов. Чтобы у прогулки появилась цель – бесцельные прогулки он не любил, – он положил в карман флакон с бальзамом для волос, которым должен был воспользоваться его парикмахер, а также пузырек «Люминала».

– Конченный неврастеник, – произнес он, разглядывая себя в зеркале. – Идеи – полуфабрикаты, вместо мечты – зола.

## 2

Он заглянул в кухню и попрощался с горничной таким тоном, будто отправлялся на базу полярников в Антарктиде.

Как-то раз, в военные годы, он дерзким обманом заставил машиниста гнать поезд из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы успеть вернуться до окончания срока увольнения. Теперь он стоял на тротуаре и смиренно ожидал разрешающего сигнала светофора, а молодежь неслась поперек дороги, полностью презирая правила дорожного движения. Автобусная остановка располагалась в прохладной тени зеленых деревьев. На ум сразу пришли последние слова генерала Джексона: *«Переправимся и отдохнем там, за рекой, в тени деревьев»*<sup>1</sup>. Вероятно, после этих слов лидеры Гражданской войны неожиданно осознали степень своей усталости: и генерал Ли, который после поражения сделался совсем другим человеком, и генерал Грант, который под конец принялся отчаянно строчить мемуары<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Томас Джонатан Джексон «Каменная стена» (1824 – 1863) – генерал Конфедеративных Штатов Америки в годы Гражданской войны. Скончался от пневмонии вскоре после Сражения при Чанселорсвилле. – *Прим. пер.*

<sup>2</sup> Генерал войск Конфедерации Роберт Ли (1807 – 1870) и генерал Союзных войск Улисс Грант (1822 – 1885) продолжили политическую деятельность по окончании Гражданской войны. Грант, став

Поездка на автобусе вполне соответствовала его ожиданиям: на верхней площадке был только один пассажир, и зеленые ветви деревьев всю дорогу постукивали по окнам. Наверное, эти ветви скоро спилят – вот будет досадно... Когда он попытался мысленно описать цвет домов на одной из улиц, то вспомнил старый плащ своей матери, в котором она ходила в театр. Плащ пестрил всеми возможными оттенками и в то же время не имел ни одного определенного: он только отражал свет. Где-то вдалеке зазвонили колокола; к его удивлению, это был рождественский гимн «Придите, верные», хотя до Рождества оставалось еще восемь месяцев. Он не любил колоколов, однако, помнится, был глубоко тронут, когда на похоронах губернатора звонили «Мэриленд, мой Мэриленд».

Футбольное поле рядом с колледжем выравнивали газонными катками, и в мыслях у него родилось заглавие: «Дёрн». Или: «Трава растет». История о человеке, который годами трудится, ухаживая за футбольным полем, чтобы его сын мог пойти в колледж и играть там в футбол. А когда сын умирает молодым, отец устраивается работать на кладбище и сажает дерн уже не под ногами сына, а на его могиле. Это могло бы войти в школьную программу... Но он не станет писать подобное. Он не пишет шаблонные рассказы, которые строятся на чистой антитезе и которые гораздо легче облечь в словесную форму. Многие, впрочем, сочли бы историю превосходной из-за её элегичного настроения, трогательности и простоты.

Автобус проехал мимо унылого здания вокзала, напоминавшего греческий храм; эту картину оживляли только носильщики в синих рубашках и красных кепках. В бизнес-квартале проезжая часть стала уже, а на тротуарах внезапно появились ярко одетые девушки, все красавицы, как на подбор. Кажется, он никогда не видел такой красоты. Там были и мужчины, но выглядели они столь же нелепо, как его собственное отражение в зеркале; иногда попадались и непривлекательные пожилые леди, и молоденькие дурнушки... Однако в большинстве своем женщины были очаровательны, и на их лицах не было сосредоточенности или беспокойства – лишь выражение весенней эйфории, дразнящее и в то же время безмятежное. На минуту он вновь страстно влюбился в жизнь, вновь захотел держаться за неё. Возможно, он поторопился, слишком рано добившись известности?..

Он сошел с автобуса, осторожно держась за поручни, и направился в сторону отеля, в котором располагалась парикмахерская. Нужно было пройти один квартал. Проходя мимо магазина спортивных товаров, он безучастно взглянул на витрину; из представленных там вещей его заинтересовала только бейсбольная перчатка, уже потемневшая от времени. Далее располагалась галантерея, и он долго рассматривал мужские рубашки за стеклом – однотонные и разноцветные, в крупную и мелкую клетку. Лет десять назад, отдыхая в Ривьере, они с друзьями приобрели темно-синие рубашки – вроде тех, что носят рабочие. Может, именно от их компании пошла эта мода. Разноцветные клетчатые рубашки ему очень приглянулись, и он подумал: вот бы вернуть свои двадцать

---

Президентом США, написал мемуары, которые были опубликованы после его смерти и пользовались большим успехом у читателей. – *Прим. пер.*

лет и отправиться на пляж этаким франтом – ярким, будто закат Тернера или «Восход» Гвидо Рени.

В парикмахерской было просторно, светло и приятно пахло. Уже несколько месяцев писатель не совершал вылазок в центр города – и тут оказалось, что его парикмахер слег с артритом. Однако он сумел втолковать другому парикмахеру, как использовать бальзам, и устроился в кресле, отказавшись от предложенной ему газеты. Когда сильные пальцы начали массировать кожу на голове, он почувствовал себя почти счастливым. Память подбрасывала ему беспорядочные, но приятные воспоминания обо всех парикмахерских, в которых он побывал за свою жизнь.

Однажды он написал рассказ о парикмахере. В 1929-ом он жил в другом городе, и владелец его любимой парикмахерской сколотил целое состояние на чаевых от местного промышленника, после чего решил отойти от дел. Писатель в то время не испытывал проблем с деньгами: он собирался плыть в Европу и задержаться там на несколько лет. Той осенью он услышал, что парикмахер разом лишился всех сбережений, и написал рассказ; реальные факты были тщательно завуалированы, однако главным героем представал именно парикмахер, который сумел высоко подняться и опалил крылья. Впоследствии до писателя дошли слухи, что участники истории узнали себя в рассказе и страшно обиделись.

Процедуры закончились. Когда он вышел в вестибюль, из соседнего зала донеслись звуки оркестра, и он остановился в дверях, заслушавшись. Он так давно не танцевал! – за пять лет, кажется, посвятил танцам не более двух вечеров. При этом в рецензии на его последнюю книгу говорилось, что он ведет разгульную ночную жизнь; в той же рецензии его называли «неиссякаемым». Что-то в этом слове заставило его моментально пасть духом. Чувствуя, как глаза жжет от слез, он отвернулся и пошел прочь. Точно такие чувства он испытал пятнадцать лет назад, в самом начале карьеры, когда его называли «писателем от Бога». С тех пор он корпел, словно раб на галере, над каждой строчкой: лишь бы доказать, что добился успеха не только благодаря дару свыше.

– Снова начинаешь хандрить, – сказал он себе. – Скверно, скверно... Пора домой.

Пришлось долго дожидаться автобуса, но он не любил такси. Кроме того, он лелеял надежду, что его посетят новые мысли, пока он будет ехать вдоль зеленого бульвара на верхней площадке. Когда автобус, наконец, прибыл, он вскарабкался по ступеням наверх. И усилие того стоило: он сразу увидел пару – мальчика и девочку. Они сидели на высокой колонне у ног статуи Лафайета, полностью поглощенные друг другом; их уединение было совсем иного рода, нежели его затворническая жизнь, и он был тронут до глубины души. Об этом можно что-нибудь написать... Следовало признать: он уже не мог черпать вдохновение из собственного полузабытого прошлого. Он прекрасно понимал, что нуждается в восстановлении, как выгоревший лес; и очень надеялся, что почва еще сгодится для нового посева. Если подумать, эта почва с самого начала была не лучшего сорта: ведь с ранних лет он предпочитал выставлять напоказ свои таланты вместо того, чтобы слушать и созерцать.

Вот и дом. Прежде чем войти, он отыскал взглядом свои окна на верхнем этаже.

– Обитель успешного писателя, – произнес он. – Любопытно, что за чудесную книгу он сейчас сочиняет там, наверху? Должно быть, приятно быть одаренным. Просто сидишь себе с бумагой и карандашом в руках... Работаешь, когда захочется... Гуляешь, где вздумается.

Дочь еще не вернулась, но навстречу ему из кухни вышла горничная.

– Хорошо ли прогулялись? – спросила она.

– Великолепно, – ответил он. – Покатался на роликовых коньках, сыграл в боулинг, подурачился немного с Человеком-горой<sup>1</sup>, а напоследок заехал в турецкие бани. Телеграммы были?

– Ни одной.

– Налей-ка мне стакан молока.

Миновав столовую, он свернул в свой кабинет, и на мгновение его ослепило заходящее солнце, отразившееся от застекленного шкафа с двумя тысячами его книг. Всё же прогулка его утомила... Он решил, что приляжет на десять минут. А после, в оставшиеся до ужина два часа, попробует ухватиться за новую идею.

*Перевод Марии Малютиной ([malyutina.m.al@gmail.com](mailto:malyutina.m.al@gmail.com)), студентки Института иностранных языков РУДН (г. Москва), специальность – «Перевод и переводоведение». Перевод занял третье место в номинации «английская проза» (2018)*

### **Robert Graves. My Best Christmas**

‘QUEEN VICTORIA WAS still alive that Christmas, and I was four and a half years old.’

‘Who was she exactly? Queen Elizabeth’s grandmother?’

‘No: great-great-grandmother.’

‘Wow ! Do you remember her?’

‘Yes: a fat little lady in black riding through the Park with an escort of Lifeguardsmen – her open barouche drawn by two splendid high-stepping grey horses, and the band playing: “Make way, make way, for the rowdy-dowdy boys”.’

‘Barouche?’

‘Yes: no cars in those days. The streets cobbled, and so filthy with horse-droppings and mud that everyone wore boots. Ragged boys with dirty faces used to sweep the crossings with brooms, and beg for halfpennies. Sometimes they turned cartwheels to attract attention.’

‘Wow! How ancient you are! Where did you spend that Christmas?’

‘At home, near Wimbledon Common. A big house with twenty-five rooms and a coal cellar. But no electric light or lift, or vacuum cleaner, or refrigerator, or radio, or telly. Only rather dim gas-lamps, and coal fires, and a grand piano.’

‘Were Christmas trees invented then?’

‘Yes, Queen Victoria’s husband, Prince Albert the Good, brought them in from

---

<sup>1</sup> Дин «Человек-гора» – псевдоним американского профессионального бойца Фрэнка Симмонса Левитта (1891-1953). – *Прим. пер.*

Germany... We always had a big one in the drawing room. The same coloured glass decorations lasted year after year – never got broken. Things were made to last in those days and people treated them more carefully... We children always waited outside in the dark, cold hall for an hour or so, telling ghost stories, while Mother and Father dressed the tree and sorted out the presents.’

‘Were they hung on the tree?’

‘No: each of us had a chair or a sofa or small table, covered with a white linen cloth, and the presents laid out on it. But when at last the door opened and we rushed in and the tree blazed out at us like the Jewelled Garden of Paradise, we had to join hands first and sing: “O Come All Ye Faithful”. Mother accompanied us on the piano with the loud pedal pressed hard down. At the foot of the tree was a Crypt – with St Joseph and the Virgin and the Christ Child and the ox and ass, and the Three Wise Men. Then Father Christmas knocked at the French window leading to the garden, and came in. He waved his hand at us and told us his reindeer were stabled at the “Swan” just across the road and wished us a happy Christmas. He complained of the cold so much that my father poured him a glass of cherry brandy. He drank it noisily and went out again into the thick fog, shouting: “See you again next century!” That’s how I can fix the date: 1899!’

‘Tell me about your presents.’

‘I got a musical box that played “Home Sweet Home”, and two boxes of soldiers – the Royal Fusiliers and the Egyptian Camel Corps – and a toy helmet and a toy drum, and a prayer-book in red morocco leather, and a painting book, and a clockwork horse.’

‘You’re making it up, aren’t you?’

‘No; I remember the list because soon afterwards I was taken away to a scarlet-fever hospital and my mother had most of my toys burned. The doctor said they were infectious for the baby. But my favourite sister hid the helmet and drum in the tool shed, and used to play with them sadly when her nurse wasn’t about.’

‘Did you believe in Father Christmas?’

‘Yes, until the Mix-up Christmas (I’ll tell you about that later), although he wore the same boots as Uncle Charles. But he hadn’t such importance in those days as the advertisements have built up now. Christmas wasn’t just fun and games. It was Jesus’s Birthday, on which we gave one another birthday presents – a day of thanking God and being especially kind to everyone. We emptied out our money-boxes for the presents. I remember we always used to give the cook and the parlour-maid scented soap, at 2d. a cake... We got a penny a week in those days, and occasional tips from uncles and aunts.’

‘A penny a week; sounds sort of stingy... Did you hang up your stockings?’

‘We did, and anyone who had been naughty that winter got coal instead of almonds, raisins, apples, tangerines, a negro-teeth puzzle, and white sugar mice with pink eyes and string tails.’

‘Wow! Did you often get coal?’

‘Never. I was always as good as Prince Albert.’

‘Ha, ha! What happened on Christmas Day?’

‘We dressed up and went to church, which was decorated with chrysanthemums and holly. But the vicar wouldn’t allow mistletoe; he said it was frivolous. Then back to

Christmas dinner. The whole family was there: five boys (counting the baby), four girls, and Uncle Charles who couldn't spend Christmas at home because Aunt Alice had left him. Yes, turkey, plum-pudding and mince pies had been invented. In fact our cook had once been cook to General Gordon and used a plum-pudding recipe in his own handwriting.'

'Who was General Gordon?'

'The Dervishes killed him at Khartoum. I once showed you the scene at Madame Tussaud's.'

'Did you? I don't remember. Go on with the story.'

'Then we pulled crackers, and put on coloured caps and asked one another riddles...'

'Such as?'

'Such as: "Why did Kruger wear thick boots?"'

'Who was Kruger?'

'President of the South African Republic. The Boer War had been on for two years that Christmas and every streetboy was whistling the song:

Good bye, Dolly, I must leave you

Though it breaks my heart to go

– Something tells me I am needed,

At the Front to fight the foe.

But nobody got called up; and it wasn't much of a war. Life went on as usual. Bombs and tanks and planes hadn't been invented yet.'

'But why did Kruger wear thick boots?'

'To keep De Wet off defeat.'

'I don't dig you.'

'De Wet was one of Kruger's generals.'

'Anyhow, what did you do that evening?'

'We went to a special children's service at the Parish Church: cinemas hadn't been invented, you see.'

'Then why was it your best Christmas?'

'Because it was the realest.'

'Oh!... What's happened to the Wimbledon house?'

'Sold and cut up into six flats... I suppose six small families live in them now, and on Christmas Eve there'll be six tiny Christmas trees lighted – probably the artificial wire-and-grocer's-grass sort that fold up, with a little string of coloured electric light bulbs tied on... And a couple of elderly baby-sitters will be drinking sherry there and listening to the carol-singers on TV, while the young folk go off somewhere to dance.'

'Well, I daresay that's a bit more fun than singing hymns to a grand piano and asking riddles. By the way: if I'm still on your Santa list what I want is a really good set of bongo-drums... Oh, and you had something to say about a Mix-up?'

'Yes, two years later – when Uncle Charles came in by one door and said he was Father Christmas, and Uncle Bob came in by the other, just after Uncle Charles had gone, and said he was Santa Claus.'

'Wow!'

## Роберт Грейвз. Мое лучшее Рождество

– В то Рождество еще была жива королева Виктория, а мне было четыре с половиной года.

– А кем она была? Бабушкой королевы Елизаветы?

– Нет. Пра-пра-бабушкой.

– Ух ты! И ты ее помнишь?

– Да. Помню маленькую тучную даму в черном, как она ехала через парк в сопровождении королевской стражи. Открытое ландо ее везла великолепная пара быстроногих серых лошадей, а оркестр играл «Дорогу, дорогу, дорогу веселым парням».

– Ландо?

– Да. В ту пору автомобилей еще не было. Улицы были вымощены камнем, и так густо покрыты лошадиным навозом и грязью, что всем приходилось носить сапоги. Помню, оборванные мальчишки с чумазыми лицами подметали перекрестки и выпрашивали у прохожих полпенсовики. А иногда, чтобы привлечь внимание, они начинали ходить колесом.

– Ого, какой ты старый! А где ты встречал то Рождество?

– Дома, рядом с Уимблдон Коммон. У нас был большой дом, где было двадцать пять комнат и подвал для угля. Но ни электричества, ни лифта, ни пылесоса, ни холодильника, ни радио, ни телевизора у нас не было. Только тускловатые газовые лампы да каминные на углях. А еще огромный рояль.

– Это тогда придумали рождественскую ель?

– Да. Муж королевы Виктории, принц Альберт, которого еще прозвали Хорошим, привез их из Германии... Мы всегда ставили в гостиной большую ель. Каждый год на нее вешали одни и те же украшения из цветного стекла, и ни одно, заметь, не разбилось. Тогда вещи еще делались на совесть, да и люди обращались с ними более аккуратно... Мы, дети, обычно ждали снаружи в холодном темном коридоре, рассказывая друг другу страшные истории о привидениях. Ждать приходилось долго, час или даже больше, пока папа с мамой украшали ель и распределяли подарки.

– Они вешались на елку?

– Нет. У каждого из нас был свой стул или кушетка, или столик, которые покрывали белой льняной тканью, а на нее уже клали подарки. Но когда в конце концов дверь открывалась, и мы все вбегали в комнату, где сияла ель, словно усыпанное драгоценностями райское дерево, мы сначала должны были сложить руки в молитве и спеть «О верные Богу, радостно ликуйте!». Мама аккомпанировала нам на рояле и сильно нажимала на педаль, чтобы музыка играла еще громче. Под елью были сооружены ясли: со Святым Иосифом и Девой Марией, с Младенцем Иисусом, волком и ослом, и тремя волхвами. Потом во французское окно, которое выходило в сад, постучал Отец Рождество. Он вошел, помахал нам и сказал, что оставил своего оленя на конюшне в «Лебеде», что через дорогу, а потом пожелал нам счастливого Рождества. Он так жаловался на холод, что мой отец налил ему целый стакан вишневого бренди. Он выхлебал его

большими глотками и ушел обратно в густой туман, крича: «До встречи в новом веке!». Так я и запомнил дату – 1899 год!

– Расскажи, какие у тебя были подарки.

– Я получил музыкальную шкатулку, которая играла «Дом, милый дом», и две коробки солдатиков: «Королевские Фузилеры» и «Египетская верблюжья кавалерия», а еще игрушечный шлем и барабан, молитвенник в переплете из красного сафьяна, книгу раскрасок и заводную лошадку.

– Ты не обманываешь?

– Нет. Я помню весь список, потому что вскоре я попал в больницу со скарлатиной, и маме пришлось сжечь большую часть моих игрушек. Доктор сказал, что для малыша они заразны. Но моя любимая сестричка спрятала шлем и барабан в сарае с садовыми инструментами, и порой невесело так играла с ними, когда ее няни не было поблизости.

– А ты верил в Отца Рождество?

– Да, до того Путанного Рождества (о нем я расскажу позже), хотя он и носил такие же ботинки, как и дядя Чарльз. Но тогда ему не придавали такого большого значения, как это сейчас делает реклама. Рождество было не только весельем и играми. Это был день рождения Иисуса, в который мы все дарили друг другу подарки. В этот день полагалось благодарить Бога и быть особенно добрым ко всем вокруг. Ради подарков мы опустошали свои копилки. Помню, мы всегда дарили повару и горничной по парфюмированному мылу, по двухпенсовику кусок... В те дни нам выдавали по пенни в неделю, а еще иногда перепали монетки от дядьев с тетками.

– Пенни в неделю. Что-то маловато... А ты вешал носки?

– Мы все вешали, а тот, кто в ту зиму плохо себя вел, получал уголь вместо миндаля, изюма, яблок, мандаринов, игрушки «Беззубый негр» и белых сахарных мышей с розовыми глазками и веревочными хвостами.

– Ого! А ты часто получал уголь?

– Никогда. Я всегда был хорошим, как наш принц Альберт.

– Ха-ха! Ну и что было в то Рождество?

– Мы принарядились и отправились в церковь, которая была украшена к празднику хризантемами и остролистом. А омелу вешать викарий не разрешил, он считал ее фривольной. Потом мы вернулись домой на рождественский обед. На него собралась вся семья: пять мальчиков (включая малыша), четыре девочки, и дядя Чарльз, который не мог провести Рождество дома, потому что от него ушла тетя Элис. Да, так вот, тогда подали индейку, рождественский пудинг и пирожки. Более того, наш повар когда-то служил у самого генерала Гордона и приготовил рождественский пудинг по рецепту, записанному его собственной рукой.

– А кто такой генерал Гордон?

– Его убили дервиши под Хартумом. Я как-то показывал тебе эту сцену в музее Мадам Тюссо.

– Правда? Не помню. Но давай, рассказывай дальше.

– Потом мы лопали хлопучки, надели короны из цветной бумаги и загадывали друг другу загадки...

– Какие?

– Например, «Почему Крюгер носил карманные часы»?

– Кто такой Крюгер?

– Президент Южно-Африканской Республики. В то Рождество уже два года шла англо-бурская война, и каждый уличный мальчишка насвистывал песенку:

*«Долли, милая, простимся,*

*Расставанье душу рвет.*

*Но нужнее я на фронте,*

*Там, где бой сейчас идет...»*

Но никого на самом деле не призывали, и эта война не особо чувствовалась. Жизнь текла как обычно. Бомб, танков и самолетов тогда еще не изобрели.

– А почему Крюгер носил карманные часы?

– Чтобы всегда знать, когда будет бить Де Вет.

– Не понял.

– Де Вет был одним из генералов Крюгера.

– Ну ладно, а что же ты делал вечером?

– Мы отправились в приходскую церковь на специальную службу для детей. Кино, как ты понимаешь, тогда еще не изобрели.

– Тогда почему ты говоришь, что это было самое лучшее Рождество?

– Потому что оно было самым настоящим.

– О!.. А что стало с домом в Уимблдоне?

– Его продали и поделили на шесть квартир... Думаю, теперь в нем живет шесть маленьких семей, и в Рождественский Сочельник там зажигается шесть крошечных елочек, скорее всего, искусственных, из проволоки и пластмассовой травы, с маленькими гирляндами разноцветных лампочек... И парочка стареющих няnek сидят там, потягивая шерри, и слушают рождественские песни по телевизору, пока молодежь танцует где-нибудь на праздничной вечеринке.

– Ну, я так скажу, это все же повеселее, чем петь гимны под рояль и загадывать загадки. Кстати, если я все еще в твоём списке хороших детей, что я действительно хочу на Рождество, так это парочку отличных барабанов бонго... А! И ты хотел что-то рассказать о том Путанном Рождестве.

– Да, это было двумя годами позже, когда дядя Чарльз постучал в одну дверь и сказал, что он – Отец Рождество, а сразу после того, как он ушел, в другую постучал дядя Боб и сказал, что он – Санта Клаус.

– Да ну!

*Перевод выполнен переводчиком-любителем под псевдонимом Mr. K.P., занял второе место в номинации «английская проза» (2019)*

### **Роберт Грейвс. Лучшее Рождество**

«Мне четыре с половиной года и Королева Виктория еще здравствует».

«Кем она приходилась королеве Елизавете? Бабушкой?»

«Нет, пра-пра-бабушка.»

«Ух ты! Ты ее помнишь?»

«Да: невысокая полная дама в черном катается по парку в сопровождении личной охраны, её открытый ландо, запряжен двумя роскошными, величественными серыми лошадьми, а оркестр играет мелодию: «Хулиганам уступите дорогу!»»

«Ландо?»

«Да, в те времена машин не было. Мощенные улицы были грязными от слякоти и навоза, поэтому все носили ботинки. Мальчишки в лохмотьях и с грязными лицами подметали метлами перекрестки и клянчили полпенса. Иногда тусовались, чтобы привлечь внимание».

«Вот это да! Какой ты древний! И где ты праздновал то Рождество?»

«Дома, недалеко от Уимблдон Коммон. Большой дом с двадцатью пятью комнатами и подвалом для хранения угля. Не было ни электрического освещения, ни лифта, ни пылесоса, ни холодильника, ни радио, ни телевизора. Только тусклые газовые лампы, камин и рояль».

«Оттуда берет начало история рождественской ёлки?»

«Да, муж королевы Виктории, принц Альберт, привёз эту традицию из Германии... У нас всегда стояла большая рождественская ель в гостиной. Одни и те же цветные украшения из стекла использовались из года в год и никогда не ломались. Тогда вещи делались на века и люди относились к ним очень бережно. Мы, дети, всегда час или около того ждали снаружи в темном холодном зале, рассказывая истории о привидениях, в то время как Мать и Отец наряжали елку и раскладывали подарки».

«Подарки вешали на ёлку?»

«Нет, у каждого из нас был стул или диван или маленький столик, накрытый белой льняной тканью, и подарки располагались там. Но когда дверь наконец открылась, и мы врвались внутрь, то рождественская ель светила нам как Драгоценный Райский Сад. Мы должны были сначала взяться за руки и пропеть: «*О, Придите, Все Верующие*». Мать аккомпанировала нам на фортепьяно с правой педалью, которая плохо нажималась. У подножия ёлки был Рождественский Вертеп – со Святым Иосифом и Девой Марией, младенцем Христом, волком, ослом и тремя волхвами. А потом неожиданно Дед Мороз постучал во французское окно, ведущее в сад, и вошёл. Он махнул нам и сказал, что его олени стоят в хлеву через дорогу у паба «Лебедь» и пожелал нам счастливого Рождества. Он так искренне сетовал на холод, что мой отец налил ему стакан вишневого бренди. Он шумно выпил его и ушёл в густой туман, крича: «Увидимся в следующем столетии!» Вот так я могу определить дату: 1899!»

«Расскажи мне о своих подарках».

«Я получил музыкальную шкатулку, которая играла мелодию «*Дом, милый дом*», две коробки игрушечных солдатиков – Королевские стрелки, ещё караван египетских верблюдов, игрушечный шлем, игрушечный барабан, сафьяновый молитвенник, и раскраску, а также заводную лошадку».

«Ты сам составлял список подарков, да?»

«Нет, я помню список, потому что вскоре после этого я заболел скарлатиной и попал в больницу, моя маме пришлось сжечь большинство игрушек. Доктор

сказал, что они заразны для ребенка. Но моя любимая сестра спрятала шлем и барабан в сарае и с опаской играла с ними, пока её няня не видела».

«Ты верил в Деда Мороза?»

«Да, до одного случая (я расскажу об этом позже). Дед Мороз носил те же ботинки, что и дядя Чарльз. В те дни этот праздник не имел такого значения, как это сейчас об этом рассказывают. Рождество было не просто забавой и игрой. Это был день рождения Иисуса, в честь этого праздника мы обменивались подарками – в этот день мы благодарили Бога и были особенно добры ко всем. Мы опустошали наши копилки для подарков. Я помню, мы всегда давали повару и горничной душистое мыло и пирог за два пенса ... В те дни мы получали пенс в неделю, а иногда ещё и карманные деньги от дядюшек и тетюшек».

«Пенс в неделю; не густо ... А ты вешал Рождественский носок?»

«Да, и те, кто был непослушным в ту зиму, получали уголь вместо миндаля, изюма, яблок, мандаринов, конфет из лакрицы и сахарных конфет в виде мышек с розовыми глазками и хвостиком из ниток».

«Вот это да! Ты часто получал уголь?»

«Никогда. Я всегда был таким же хорошим, как и принц Альберт».

«Ха - ха! И как прошло то Рождество?»

«Мы оделись и пошли в церковь, которая была украшена хризантемами и остролистом. Священник не разрешил использовать оmelу; он сказал, что это слишком легкомысленно. Затем был рождественский ужин. Вся семья была в сборе: пять мальчиков (включая младенца), четыре девочки и дядя Чарльз, он не мог праздновать Рождество дома, потому что тетя Алиса ушла от него. Да, индейка, сливовый пудинг и сладкие пирожки тогда были приготовлены впервые. Наш повар однажды готовил для генерала Гордона сливовый пудинг по рецепту, собственноручно написанным генералом».

«Кто такой генерал Гордон?»

«Махдисты убили его в Хартуме. Однажды я показывал вам эту экспозицию в музее мадам Тюссо».

«Правда? Я не помню. Продолжай рассказ».

«Затем мы взяли по печенью с пожеланиями, надели цветные колпачки и стали загадывать друг другу загадки...»

«Какие?»

«Например: «Почему Крюгер носил толстые ботинки?»

«Кто такой Крюгер?»

«Он был президентом Южно-Африканской Республики. К тому самому Рождеству Англо-бурская война длилась второй год, и каждый уличный мальчишка насвистывал песню:

*«Прощай, Долли, я должен тебя покинуть, хотя это и разбивает мне сердце,  
Но что-то мне подсказывает, что я нужен на фронте, чтобы сразиться с врагом».*

Но никого не призывали в армию; и это была небольшая война. Жизнь продолжалась как обычно. Бомбы, танки и самолеты еще не были изобретены».

«Но почему Крюгер носил толстые ботинки?»

«Чтобы не допустить поражения Девета».

«Я тебя не понимаю».

«Девет был одним из генералов Крюгера».

«Непонятно. Но вернемся к Рождеству».

«Мы были на специальной детской службе в приходской церкви: видишь ли, кинотеатры ещё не были изобретены».

«Тогда почему это было лучшее Рождество?»

«Потому что оно было настоящее».

«А что сейчас с твоим домом?»

«Дом продали и разделили на шесть квартир... Я думаю, шесть маленьких семей живут в них сейчас, и в канун Рождества будут зажжены шесть небольших рождественских ёлок – возможно, с искусственным проводом искусственно-зелёного цвета, с привязанными цветными электрическими лампочками.... А пара пожилых нянь будет там пить херес и слушать рождественские песни по телевизору, пока молодежь будет на танцах».

«Ну, осмелюсь заметить, это немного веселее, чем петь церковные гимны у рояля и отгадывать загадки. Между прочим, если я все еще в вашем списке Санты, то моё самое заветное желание — это получить барабаны Бонго».

«А что ты хотел рассказать насчёт того случая на Рождество?»

«Да, два года спустя, дядя Чарльз вошел в одну из дверей и сказал, что он Дед Мороз, а дядя Боб вошел через другую дверь, сразу после того, как дядя Чарльз ушел, и сказал, что он Санта-Клаус».

«Вот это да!»

*Перевод Дарьи Якубенко (ydasha@bk.ru), студентки 2 курса факультета филологии Вильнюсского университета. Перевод занял второе место в номинации «английская проза» (2019)*

### Роберт Грэйвз. Лучшее Рождество в моей жизни

– В то Рождество королева Виктория была еще жива, а мне было четыре с половиной года.

– Кем она приходилась королеве Елизавете? Её бабушкой?

– Нет, прапрабабушкой.

– Потрясающе! Ты ее помнишь?

– Да. Это была полная женщина невысокого роста в черном, проезжавшая через парк с эскортом лейб-гвардейцев в открытом ландо, запряженном двумя роскошными серыми лошадьми, которые высоко вскидывали ноги, и музыканты играли: «Расступитесь, дайте дорогу хулиганистым мальчишкам».

– Ландо?

– Да, в те времена не было машин. Дороги на улицах были вымощены булыжником и были такими грязными от конского навоза и слякоти, что всем приходилось надевать сапоги. Мальчишки с грязными лицами, одетые в лохмотья, подметали переходы метлами и клячили полпенни у прохожих. Иногда они даже делали кувырки колесом, дабы привлечь к себе внимание.

– Ничего себе! Какой ты древний! Где ты встречал то Рождество?

– Дома, неподалеку от Уимблдона. В большом доме с двадцатью пятью комнатами и угольным погребом. Там не было ни электричества, ни лифта, ни пылесоса, ни холодильника, ни радио, ни телевизора. Были лишь тускло светящиеся газовые лампы, угольное отопление и рояль.

– Тогда уже были рождественские ёлки?

– Да, муж королевы Виктории, принц Альберт, привез эту традицию из Германии ... Мы всегда ставили большую елку в гостиной. Каждый год мы вешали на елку одни и те же цветные стеклянные украшения: ни одна фигурка ни разу не разбилась. В те времена вещи делались на совесть, и люди относились к ним бережнее... Мы, дети, всегда ждали около часа за дверью в темном холодном зале, рассказывая друг другу истории о привидениях, пока мама и папа наряжали елку и готовили подарки.

– Их вешали на ёлку?

– Нет. У каждого из нас был стул или софа, или маленький столик, накрытый белой льняной тканью, и подарки раскладывали там. Наконец, дверь открывалась, и мы врвались в гостиную; ёлка сияла, как Райский Сад, усыпанный драгоценными камнями. Мы должны были сначала взяться за руки и петь: «Придите, все вы, верные». Мама аккомпанировала нам на рояле, нажимая до упора правую педаль. Под елкой была пещера Рождества со святым Иосифом и Богородицей, младенцем Христом, волком, ослом и тремя волхвами. Помню, как потом постучал рождественский дед в остекленную дверь, ведущую в сад, и вошел. Он махнул нам рукой и сказал, что оставил своих оленей у «Лебеда» на другой стороне дороги, и пожелал нам счастливого Рождества. Он так сильно сетовал на холод, что мой отец налил ему стакан вишневого бренди. Он шумно его выпил и снова ушел в густой туман, крича: «Увидимся в следующем столетии!». Вот почему я запомнил тот год: это был 1899-й!

– Расскажи мне о своих подарках.

– У меня была музыкальная шкатулка, которая играла «Милый сердцу дом родной», две коробки с солдатиками (это были Королевские стрелки и египетская кавалерия на верблюдах), игрушечный шлем, игрушечный барабан, молитвенник с переплетом из красного сафьяна, альбом для рисования и заводная лошадка.

– Ты все выдумал, верно?

– Нет. Я помню все подарки, потому что вскоре после Рождества меня отвезли в больницу со скарлатиной, и моя мама сожгла почти все мои игрушки. Врач сказал, что они заразны для детей. Но моя любимая сестричка спрятала шлем и барабан в сарае и с грустью играла с ними, когда ее няни не было дома.

– Ты верил в рождественского деда?

– Да, но только до путаницы на Рождество (я расскажу тебе об этом позже), несмотря на то, что рождественский дед носил такие же ботинки, что и дядюшка Чарльз. Но в те времена рождественский дед не имел такого значения, как сейчас. Рождество не было настолько веселым и хлопотным делом. Его отмечали как день рождения Иисуса, в который мы дарили друг другу подарки в знак благодарения Бога и особой доброты ко всем. Мы тратили все деньги из наших копилочек, чтобы

купить подарки. Я помню, что мы всегда дарили повару и горничной душистое мыло по два пенса за кусок ... В те времена у нас был один пенс в неделю, а иногда нам давали немного денег наши дядюшки и тетушки.

– Пенс в неделю? Но это же так мало ... Ты развешивал чулки?

– Да, мы развешивали чулки, и всякий, кто был непослушным в том году, получал угольки вместо миндаля, изюма, яблок и мандаринов, маленькую игрушку-головоломку, где была изображена темнокожая девочка, и нужно было постараться закатить бусинки ей в рот, и сахарную мышь с розовыми глазами и хвостом из веревки.

– Вот это да! Тебе часто доставались угольки?

– Никогда. Я всегда был таким же прелестным, как и принц Альберт.

– Ха-ха! Так что же случилось в то Рождество?

– Мы нарядно оделись и пошли в церковь. Она была украшена хризантемами и падубом. Помню, священник не хотел пускать нас с омельой в церковь. Он говорил, что это пустая затея. Затем мы вернулись домой к рождественскому ужину. За столом собралась вся семья: пять мальчиков (вместе с младенцем), четыре девочки и дядюшка Чарльз, который не мог встретить Рождество дома, потому что тетя Алиса бросила его. Да, на столе были индейка, рождественский пудинг и пироги. Кстати, наш повар когда-то был поваром у генерала Гордона и готовил сливовый пудинг по рецепту, собственноручно записанному самим генералом».

– Кто такой генерал Гордон?

– Дервиши убили его в Хартуме. Однажды я показывал тебе его фигуру в музее мадам Тюссо.

– Да? Я не помню. Продолжай рассказ.

– Затем мы вытащили хлопушки, надели цветные колпачки и стали загадывать друг другу загадки...»

– Какие загадки?

– Например: «Почему Крюгер носил большие ботинки?»

– Кто такой Крюгер?

– Президент Южно-Африканской Республики. На тот момент англо-бурская война длилась уже два года, и все парни на улице насвистывали песню:

*«Прости меня, Долли, я должен уехать,  
Пускай разрывается сердце мое.  
И песню поет мне душа об успехе,  
На фронте противников всех перебьем».*

Но никого не призывали на фронт. Да и это была не такая уж страшная война. Жизнь шла своим чередом. Бомбы, танки и самолеты еще не были изобретены.

– Но почему Крюгер носил большие ботинки?

– Чтобы не допустить поражения Де Вета.

– Я не понимаю, о чем ты.

- Де Вет был одним из генералов Крюгера.
- Неважно, так что же ты делал в тот вечер?
- Мы отправились на специальную детскую службу в приходской церкви.

Как ты понимаешь, кинотеатров тогда еще не было.

- Тогда почему это было лучшее Рождество в твоей жизни?
- Потому что оно было настоящим.
- О! ... А что стало с домом в Уимблдоне?

– Его продали и поделили на шесть квартир ... Я предполагаю, что в них сейчас живут шесть небольших семей, и в канун Рождества там зажгутся шесть крошечных рождественских ёлок: вероятно, это будут искусственные складные ёлки, купленные в бакалейной лавке, увешанные гирляндами... А парочка пожилых нянь будет пить херес и слушать славильщиков по телевизору, пока молодые люди отправятся куда-нибудь потанцевать.

– Осмелюсь сказать, что это будет повеселее, чем пение церковных гимнов под рояль и загадывание загадок. Но, тем не менее, если я все еще нахожусь в твоём списке Санты, то я хочу получить хороший набор бонго-барабанов... Да, чуть не забыл, ты хотел что-то рассказать про путаницу на Рождество?

– Да. Два года спустя, когда пришел дядюшка Чарльз и сказал, что он был рождественским дедом, а следом пришел дядя Боб, сразу после того, как дядя Чарльз ушел, и сказал, что он был Санта-Клаусом.

– Ну и ну!

*Перевод Ирины Обрезановой (irina\_ob\_2014@mail.ru). Живет в г. Омск, физик по образованию и переводчица в области физики, химии и медицины. Языковые пары английский-русский, русский-английский. Дебютант в сфере художественного перевода. Перевод занял третье место в номинации «английская проза» (2019)*

### Роберт Грейвс. Моё лучшее Рождество

– В то Рождество мне было 4,5 года, и королева Виктория в то время была ещё жива.

– Кем именно она была? Бабушка королевы Елизаветы?

– Ой, нет. Она её прапрабабушка.

– Здорово! Ты помнишь её?

– Да, это была маленькая полная женщина в черном, любящая езду на лошадях через Парк в сопровождении лейб-гвардейцев – её открытое ландо было запряжено двумя прекрасными серыми лошадьми, и музыканты пели: «Расступитесь, расступитесь, мальчишки-хулиганы».

– Ландо?

– Да, в то время не было машин. Улицы были мощёными, повсюду находились грязь и лошадиный помёт, поэтому каждому человеку приходилось обувать ботинки. Сироты с грязными лицами, подметавшие мостовую, просили милостыню, равную половине пенни. Иногда они бросались под колёса, дабы привлечь к себе внимание.

– Круто! Какой ты всё же старый! Расскажи мне, где вы провели то Рождество?

– Дома, поблизости от Уимблдон-Коммон. Это был большой дом с двадцатью пятью комнатами и угольным подвалом. Там не было электричества, лифта, холодильника, пылесоса, радио и телевизора, были только газовые лампы, факелы и великолепный рояль.

– Там были рождественские ёлки?

– Да, муж королевы Виктории, принц Альберт Добрый, привёз их из Германии. У нас всегда стояла одна ёлка в гостиной. Одни и те же стеклянные игрушки развешивались год за годом и никогда не бились. Такие вещи делались обычно в последние дни, и люди относились к ним наиболее осторожно. Пока мама и папа украшали ёлку и расставляли подарки, мы, дети, всегда ждали их в темном холодном коридоре, рассказывая истории о привидениях.

– Они, подарки, лежали под ёлкой?

– Нет, у каждого из нас были своё креслице, диван и маленький столик, покрытый белой льняной тканью, и подарки чаще всего клались на неё. Когда последняя из дверей открывалась и мы вбегали в комнату, где ёлка мигала своими огнями, как райский сад, украшенный драгоценными камнями, мы начинали петь: «Придите, все верные, сюда». Мама аккомпанировала нам на рояле, нажимая на громкие клавиши. У ёлки был тайник со святым Джозефом, Богородицей с младенцем Христом, вол, осел и три мудреца. Затем Дед Мороз стучал в застеклённую дверь, которая вела в сад, и входил в комнату. Он отряхивал руки в варежках и говорил нам, что его северный олень Свон стоит в конюшне неподалёку от дороги и желает нам «Счастливого Рождества!». Он жаловался на холод, пока мой папа не приносил ему бокал вишнёвого бренди. Он шумно выпивал и выходил в густой туман, произнося «Встретимся в следующем веке». Так я запомнил 1899 год.

– Расскажи мне о своих подарках.

– В тот год я получил музыкальную шкатулку, которая пела: «Дом, милый дом» и две коробки игрушечных солдатиков – Королевских Фузилеров и Египетский Верблюжий Корпус, игрушечные шлемы и барабан, альбом для рисования и заводную лошадь.

– Ты всё выдумываешь?

– Нет, я всё помню, потому что вскоре меня положили в больницу со скарлатиной, и моя мама сожгла большую часть игрушек. Доктор говорил, что они могут быть вредными для ребёнка. Но моя любимая сестра спрятала шлем и барабан в сарай и с грустью играла в них, когда няня не знала об этом.

– Вы верили в Деда Мороза?

– Да, до Спутанного Рождества (я расскажу об этом немного позже), несмотря на то, что Дед Мороз обувал те же самые ботинки, что и дядюшка Чарльз. Но в то время это не было столь важным, как сейчас в рекламе. Рождество не было просто развлечением или игрой. Это был день рождения Христа, в который мы дарили друг другу подарки на день рождения, – День Благодарения Богу был особенно важным для каждого из нас. Мы освобождали наши копилки

от денег, чтобы купить подарки. Я помню, что мы всегда давали кухарке и горничной по куску душистого мыла каждой. В те дни мы могли получать по пенни в неделю, а иногда мелкие деньги на личные расходы от тётушек и дядюшек.

– Пенни в неделю. Это звучит достаточно скупо. Вы подвешивали чулок над камином?

– Да, мы делали это, и любой, кто плохо вёл себя той зимой, мог получить уголь вместо миндаля, изюма, яблок, мандаринов, палочек из лакрицы и мыши из сахара, у которой розовые глаза и тонкий длинный хвост.

– Здорово! Ты часто получал уголь?

– Никогда, я всегда был таким же послушным, как и принц Альберт.

– Ха-ха. Что вы делали в то Рождество?

– Мы одевались в праздничную одежду, шли в церковь, украшенную хризантемами и падубом. Приходской священник не разрешил омелу, он говорил, что это слишком легкомысленно. После всего мы возвращались домой, чтобы съесть рождественский ужин. Вся семья была за столом: пять мальчишек, включая младенца, четыре девочки и дядюшка Чарльз, который не мог провести Рождество в своем доме из-за того, что тётушка Элис ушла от него. Да, были приготовлены прекрасные индейка, сливовый пудинг и сладкий пирог. На самом деле, наш повар до этого работал у самого генерала Гордона и там написал свой рецепт сливового пирога.

– Кто такой генерал Гордон?

– Дервиши убили его в Хартуме. Я когда-то рассказывал тебе о нем у мадам Тюссо.

– Правда? Я не помню этого. Но ладно, продолжай историю.

– После всего мы вытаскивали сухарики, надевали цветные кепки и начинали задавать друг другу загадки.

– Например?

– Например: «Почему Крюгер обул широкие сапоги?»

– Кем был Крюгер?

– Он был президентом Южной Африканской Республики. В то Рождество Бурская война продолжалась уже два года, поэтому каждый мальчик на улице пел:

«Прощай, Долли, я должен покинуть тебя,

Хотя это разбивает мне сердце –

Что-то подсказывает, что я нужен

На фронте, чтобы сражаться с врагом».

Но никого не призвали тогда: это не было войной. Жизнь шла своим чередом. В то время бомбы, танки и самолёты ещё не были изобретены.

– Но всё же почему Крюгер надел широкие сапоги?

– Чтобы уберечь Де Вета от поражения.

– Ты лжешь.

– Де Вет был одним из генералов Крюгера.

– Тогда, что вы делали тем вечером?

– Как ты знаешь, кинотеатров тогда ещё не было, поэтому мы пошли на специальное детское богослужение в приходскую церковь.

– Скажи, почему же это твоё лучшее Рождество?

– Наверное, потому что оно было самым настоящим Рождеством

– Ох! Что же произошло с домом в Уимблдоне?

– Дом был продан и разделён на 6 квартир. Мне кажется, что в них теперь живёт 6 маленьких семей, и в канун Нового года 6 крошечных рождественских ёлок, сделанных из искусственной проволоки и травы из бакалеи, сверкают цепочкой цветных электрических лампочек. Несколько стареньких нянь будут пить херес и слушать колядующих по телевизору, пока молодые люди пойдут танцевать.

– Хорошо, но я считаю, что это гораздо лучше, чем петь песнопения под сопровождение старого рояля и играть в загадки. В любом случае, если я всё ещё есть в вашем списке подарков от Санта-Клауса, то всё, что я действительно хочу, так это набор барабанов Бонго. Ой, кажется, ты хотел рассказать что-то о Спутанном Рождестве?

– Да, два года спустя дядюшка Чарльз вошёл в одну из дверей и сказал, что все это время он был Дедом Морозом, а после его ухода в другую дверь вошёл дядюшка Боб и сказал, что он был Санта-Клаусом.

– Здорово!

*Перевод Анастасии Романенко (oksana2015.romanenko@yandex.ru), учащейся 10 «Б» класса МАОУ «СОШ №16» г. Губкина (Белгородская область). Перевод занял третье место в номинации «английская проза» (2019)*

## Роберт Грейвз. Моё лучшее Рождество

В то Рождество королева Виктория ещё жила и здравствовала, а мне было четыре с половиной года.

– А кто же она? Бабушка королевы Елизаветы?

– Нет, пра-прабабушка.

– Надо же! Неужели ты её помнишь?

– Конечно. Низенькая дама в теле, вся в чёрном, ехала по парку. Её сопровождали лейб-гвардейцы, открытую коляску везли два великолепных резвых серых коня, а оркестр играл: «Пропустите, пропустите дерзких молодцев скорей!».

– Коляску?

– Именно: в то время автомобилей ещё не изобрели. Улицы были вымощены булыжником и так испачканы конским навозом и грязью, что приходилось носить ботинки. Бывало, чумазые мальчишки в лохмотьях подметали перекрёстки и просили полпенни. Иногда, чтобы обратить на себя внимание, они проходились колесом.

– Ух ты! Как много тебе лет! А где ты праздновал то Рождество?

– Дома, неподалёку от Уимблдон Коммон. В особняке на двадцать пять комнат и с угольным сараем. Но не было там ни электричества, ни лифта, ни пылесоса, ни холодильника, ни радио, ни телевизора. Вместо этого – тусклые газовые лампы, камин, которые топились углём, и рояль.

– Тогда ведь уже придумали рождественские ёлки?

– Да, муж королевы Виктории, принц Альберт Добрый, привёз этот обычай из Германии... В гостиной у нас всегда стояла большая ёлка. Из года в год мы наряжали её одними и теми же стеклянными игрушками – ни одна из них не разбилась. В те времена делали вещи на славу, и служили они долго. Да и люди бережнее относились к ним... Мы, детвора, всегда ждали часок-другой в тёмном холодном холле и рассказывали друг другу истории о привидениях. Родители же в это время украшали ёлку и раскладывали подарки.

– А их на ёлку вешали?

– Нет. У каждого из нас был стульчик, диванчик или маленький столик, покрытый белой льняной скатертью. Там и лежали наши подарки. А когда, наконец, открывалась дверь, мы вбегали в комнату. Перед нами сверкала ёлка, прямо как Райский сад в драгоценных камнях. Сперва нам нужно было сложить ладошки в молитве и спеть: «О, придите все верующие!». Мама аккомпанировала нам, усердно нажимая правую педаль рояля. Под ёлкой стоял вертеп со Святым Иосифом, Богородицей, младенцем Христом, волком и осликом, а ещё – тремя волхвами. Затем кто-то стучал в стеклянную дверь, ведущую из сада. Это был Рождественский Дед. Он махал нам рукой и говорил, что оставил своих северных оленей прямо через дорогу – в гостинице «Лебедь». А после – желал нам счастливого Рождества. Гость так сильно жаловался на мороз за окном, что отец наливал ему стаканчик вишнёвого ликёра. Тот шумно его выпивал и растворялся в густом тумане с возгласами: «Увидимся в следующем столетии!». Вот таким было моё Рождество 1899 года!

– Расскажи-ка мне о подарках.

– Мне достались музыкальная шкатулка с мелодией «Дом, милый дом», две коробки игрушечных солдатиков из Королевского фузилёрного полка и Египетского верблюжьего корпуса, игрушечный шлем и барабан, молитвенник в красном сафьяне, альбом для рисования и заводная лошадка.

– Ты всё выдумываешь, да?

– Ну что ты! Я помню этот список, потому что вскоре после Рождества меня увезли в больницу со скарлатиной, и мама приказала сжечь большинство моих игрушек. Врач сказал, что они заразны для малыша. Но моя любимая сестрёнка спрятала шлем и барабан в сарай для инструментов и, бывало, грустно играла с ними, когда няня занималась своими делами.

– А ты верил в Рождественского Деда?

– Да, хотя он носил такие же ботинки, как и дядюшка Чарльз. Но однажды на Рождество произошла путаница (я расскажу тебе об этом позже). Начну с того, что в те времена Санта-Клаус не был так разрекламирован, как сейчас. К Рождеству не относились, как к забаве. В этот день родился Иисус, и по этому

случаю мы дарили друг другу подарки. Тогда мы благодарили Бога и с особенной нежностью относились к каждому. Мы тратили все наши накопленные деньги на подарки. Помню, мы раньше всегда дарили повару и горничной душистое мыло, а на второй день угощали их тортом... Тогда мы получали пенни в неделю, и время от времени дядюшки и тётушки давали нам мелкие деньги на карманные расходы.

– Пенни в неделю<sup>1</sup>. Негусто... А вы вешали рождественские чулки?

– Конечно. Проказники получали уголёк вместо миндаля, изюма, яблок, мандаринов, чёрно-белых конфет из лакрицы и белых сахарных мышек с розовыми глазками и тоненькими хвостиками.

– Здорово! Тебе часто доставался уголёк?

– Никогда. Я всегда был добрым мальчиком, старался вырасти похожим на Альберта.

– Ха-ха! А как праздновали само Рождество?

– Мы надевали нашу лучшую одежду и шли в церковь, которая была вся в хризантемах и остролисте... Викарий не позволял украшать её омелой, потому что считал это легкомысленным. Затем мы возвращались к обеду. Вся семья собиралась вместе: пятеро мальчиков (вместе с самым маленьким), четыре девочки и дядюшка Чарльз, который не мог праздновать Рождество дома, потому что тётушка Элис его покинула. Да, тогда уже готовили индейку, сливовый пудинг, рождественские пироги с мясной начинкой. Кстати, когда-то наш повар работал у генерала Гордона и пользовался рецептом сливового пудинга, написанным рукой самого Его Превосходительства.

– А кем был генерал Гордон<sup>2</sup>?

– Его убили дервиши в Хартуме<sup>3</sup>. Когда-то я тебе показывал композицию в музее мадам Тюссо.

– Неужели? Я не помню. Ну, а дальше что?

– Потом мы вытаскивали хлопушки, надевали разноцветные рождественские колпаки и загадывали друг другу загадки.

– Например?

– Что-то вроде: «Зачем Крюгер<sup>4</sup> носил тяжёлые сапоги?».

---

<sup>1</sup> На рубеже XIX–XX вв. за пенни «можно было добраться на пароходе от Вулиджа до Лондонского моста, или проехать мило на парламентском поезде, или заплатить за ванну и стирку в бане и прачечной в Смитфилде, или купить три устрицы, или посетить балаган, или позавтракать «кофе» и хлебом с маслом в Биллинсгейте, или купить воробья у уличного торговца, или заплатить за пользование туалетом на Всемирной выставке» ([https://www.e-reading.club/chapter.php/1014384/127/Pikard\\_-\\_Viktorianskiy\\_London.html](https://www.e-reading.club/chapter.php/1014384/127/Pikard_-_Viktorianskiy_London.html)). За XX в. вследствие инфляции пенни практически утратил покупательную способность и сейчас является самой мелкой монетой Великобритании.

<sup>2</sup> Чарльз Джордж Гордон (1833–1885) — один из самых знаменитых британских генералов XIX века, известный под именем «Китайского Гордона», «Гордона Хартумского» или «Гордона-Паши». Ключевая фигура осады Хартума. – *Прим. пер.*

<sup>3</sup> Хартум – столица Судана.

<sup>4</sup> Стефанус Йоханнес Паулус Крюгер, или Пауль Крюгер (1825–1904) – президент Южно-Африканской республики в 1883–1900 годах. Участник военных операций буров против африканского населения. Известен по почтительному прозвищу «Дядюшка Пауль». *Прим. пер.*

– Кто этот Крюгер?

– Президент Южно-Африканской Республики. В то Рождество англо-бурская война шла уже два года, и уличные мальчишки насвистывали песенку<sup>1</sup>:

Долли Грэй, мы расстаёмся.

Не могу я не уйти.

Вот уж так сложились звёзды,

Фронт зовёт, как ни крути.

Но никого не призывали. Да и на войну это было мало похоже. Жизнь шла своим чередом. А бомбы, танки и самолёты ещё не придумали.

– А, правда, зачем Крюгер носил тяжёлые сапоги?

– Да затем, чтобы когда де Ветт с треском проиграет битву, у Дядюшки Пауля не подкосились ноги.

– Не понимаю...

– Де Ветт – один из генералов Крюгера.

– А всё-таки, что ты делал тем вечером?

– Мы посетили особую детскую службу в приходской церкви: понимаешь, кинотеатров ещё не придумали.

– Тогда почему ты считаешь это Рождество лучшим?

– Потому что оно было самым что ни на есть настоящим.

– Ах да! А что там случилось с домом в Уимблдоне?

– Его продали и разделили на шесть квартир. Скорее всего, в них сейчас живут шесть небольших семей. А на Рождество, возможно, там зажгут шесть складных искусственных ёлок-коротышек и повесят на них электрогирлянды. И нянюшки в возрасте будут распивать херес и слушать рождественские песни по телевизору, в то время как молодёжь побежит на танцульки.

– Что ж, думаю, это немного повеселее, чем петь гимны под аккомпанемент рояля и загадывать загадки. В любом случае, если я ещё могу рассчитывать на рождественский подарок, то очень хотелось бы хороший набор барабанов-бонго. Ах да, ты собирался рассказать о путанице?

– Точно! Спустя два года дядюшка Чарльз пришёл и сказал, что он и есть Рождественский Дед. После его ухода не замедлил с визитом дядюшка Боб и признался, что он Санта-Клаус.

– Вот это поворот!

*Перевод Александры Остриковой (alya.ostrikova@bk.ru), студентки 3 курса (специальность «Перевод и переводоведение», специализация «Письменный и устный перевод (английский язык)») факультета иностранных языков Донецкого национального университета*

---

<sup>1</sup> “Goodbye, Dolly Gray” (слова Уилла Кобба, музыка Пола Барнса) – песня времён англо-бурской войны». – *Прим. пер.*

## Роберт Грейвз. Мое лучшее Рождество

Тем Рождеством, когда мне исполнилось четыре с половиной года, королева Виктория ещё царствовала.

– А кто же она? Это бабушка королевы Елизаветы?

– Нет: прапрабабушка.

– Ух ты! И ты её помнишь?

– Конечно: низенькая, полноватая леди в черном платье...она проезжала по Парку в сопровождении Дворцовой кавалерии в своей четырехместной открытой коляске, в которую была впряжена пара прекрасных, резвых серых лошадей, и оркестр исполнял марш<sup>1</sup>: «Уступите же дорогу, пропустите их скорей, озорных ребят, быстрее!»

– В коляске?

– Да-а, в те времена и не слыхали об автомобилях. Ужасно грязные вымощенные улицы, повсюду конский помёт, всем приходилось носить сапоги. Чумазные мальчишки в лохмотьях вычищали метлами перекрёстки дорог. Они просили за это полпенни. А бывало, чтоб привлечь внимание, проходились колесом.

– Ух! Какой же ты древний! А где ты провел то Рождество?

– Дома, неподалёку от Уимблдон Коммон. Большой особняк на двадцать пять комнат с подвалом, где обычно хранили уголь. Но ни электричества, ни лифта, ни пылесоса, ни холодильника, радио или телевизора. Только тусклые газовые лампы, мерцание огня в камине и рояль.

– А рождественские ёлки тогда уже придумали?

– Как же, муж королевы Виктории, Принц Альберт Добрый, привез их из Германии. У нас рождественская ель всегда стояла в гостиной. Из года в год для украшения использовались одни и те же стеклянные игрушки, и они никогда не бились. В то время вещи делали на года, и люди дорожили ими. Мама с папой украшали ёлку и раскладывали подарки, а мы, ребяташки, всегда ждали часок-другой в холодном тёмном коридоре и рассказывали истории о привидениях.

– Подарки на ёлку вешали?

– Нет, у каждого из нас был свой стульчик, или диванчик, или маленький столик, покрытый белой льняной скатертью, где и лежали наши подарки. Вот наконец дверь отворялась, и мы вбегали, ель сияла для нас, прямо, как Райский Сад, украшенный драгоценными камнями; сперва мы складывали ладони у груди и пели рождественскую песнь «Придите, о верные Господу»<sup>2</sup>. Мама подыгрывала нам на рояле, сильно нажимая ногой на правую педаль. Под ёлкой стоял Вертеп – вместе с Иосифом Обручником, Девой Марией и Младенцем Иисусом, волом,

---

<sup>1</sup>«Озорные ребята» (ориг. англ. “The Rowdy-dowdy boys”) – английский марш, авторами которого являются Том Конли и Феликс Макгленнон, 1892 г. – *Прим. пер.*

<sup>2</sup>«Придите, о верные Господу» – католический рождественский гимн, известный со второй половины XVIII века. Язык оригинала – латынь «Adeste fideles». Ныне гимн исполняется католиками разных стран в переводе на родной язык, например, у англоязычных англ. «Come, all ye faithful». – *Прим. пер.*

осликом и Тремя Волхвами. Вот в стеклянную дверь, ведущую из сада, сперва стучался, а потом входил Рождественский дед. Он махал нам рукой и рассказывал, что оставил своих северных оленей в гостинице «Лебедь» – прямо через дорогу, и желал нам счастливого Рождества. Он так жаловался на холод, что отец наливал ему стаканчик вишнёвого ликёра. Громко хлюпая, дед выпивал его и снова нырял в густой туман с восклицанием «Увидимся снова в следующем столетии!». Вот таким я помню этот год – 1899-й».

– Расскажи мне, что же тебе подарили.

– Мне достались музыкальная шкатулка с мелодией «Дом, милый дом»<sup>1</sup> и две коробки солдатиков – Королевские стрелки и Египетские верблюжьи корпуса, а ещё игрушечный шлем и барабан, молитвенник в красном сафьяновом переплёте, альбом для рисования и заводная лошадка.

– Ты это всё выдумываешь, да?

– Вовсе нет: я помню все свои подарки, потому что вскоре после этого я заболел скарлатиной, меня забрали в больницу, и матушка велела сжечь все мои игрушки. Доктор сказал, они заразны для малыша. Но моя любимая сестрёнка спрятала шлем и барабан в сарае для инструментов и, грустя в одиночестве, играла с ними, а няня об этом и не догадывалась.

– А ты верил в Рождественского деда?

– О да-а...до Рождественской путаницы (об этом я расскажу тебе позже), хотя он и носил такие же ботинки, что и у дядюшки Чарльза. В то время Рождественский дед не был так разрекламирован, как сегодня. Рождество не сводилось лишь к веселью и забавам. Это был день появления на свет Иисуса – день благодарения Господа и проявления безмерной доброты к каждому. В этот день мы дарили друг другу подарки. Чтоб купить их, мы тратили всё содержимое своих копилочек. Я помню, повару и горничной мы всегда вручали пахучее мыло, а на второй день угощали пирогом. Тогда нам давали пенни<sup>2</sup> в неделю, ну, и ещё время от времени мы получали денежку от дядюшек и тётушек.

– Пенни в неделю...не густо. А ты подвешивал рождественские чулки?

– Мы и это делали, а каждый, кто проказничал, находил в них уголь вместо миндаля, изюма, яблок, мандаринов, лакричных конфеток и белых сахарных мышат с розовыми глазами и хвостиками, тонкими, как ниточка.

– Ух ты! А ты частенько получал уголь?

– Никогда. Я всегда вел себя хорошо, чтоб походить на Принца Альберта Доброго.

– Ха-ха-ха! Так как же проводили Рождество?

– Мы наряжались и шли в церковь, украшенную хризантемами и остролистом. Викарий не позволял использовать омелу, говорил, это не

---

<sup>1</sup>«Дом, милый дом» (ориг. англ. «Home Sweet Home») – популярная английская песня. – *Прим. пер.*

<sup>2</sup>Пенни – английская, позже британская монета. До февраля 1971 г. пенни был равен 1/240 фунтов стерлингов. К примеру, в 1860–х годах буханка хлеба стоила 7 пенсов. За 1 пенни можно было купить 3 устрицы. В настоящее время 1 пенни равен 1/100 фунтов стерлингов. За 1 фунт (1 фунт = 100 пенсов) сейчас можно купить 6 куриных яиц. – *Прим. пер.*

по-христиански. К Рождественскому ужину мы возвращались. Вся семья была в сборе: пятеро мальчишек (считая и малыша), четыре девочки и дядюшка Чарльз, который не мог проводить Рождество дома, потому что тётушка Элис его покинула. Да-да, индейка, сливовый пудинг и мясные пироги – всё это уже тогда было. Вообще-то наш повар работал как-то у генерала Гордона<sup>1</sup> и использовал рецепт сливового пудинга, написанный рукой самого Его Превосходительства.

– Кто такой генерал Гордон?

– Его убили дервиши<sup>2</sup> в Хартуме<sup>3</sup>. Я как-то показывал тебе эту сцену в «Мадам Тюссо».

– Да?! Я не помню. Ну, не томи...

– Потом мы вытаскивали хлопушки, надевали цветные колпаки и загадывали друг другу загадки.

– Например?

– Ну, допустим: Почему Крюгер<sup>4</sup> носил толстые кожаные сапоги?

– А кто такой Крюгер?

– Президент Южно-Африканской Республики. В то Рождество Англо-бурская война<sup>5</sup> шла уже два года, и каждый мальчишка на улице насвистывал песенку<sup>6</sup>:

Долли, нам пора проститься!

В бой иду – ведь я солдат, –

Чтоб с победой возвратиться!

Скоро жди меня назад.

Но никого не призывали, это и войной-то назвать нельзя было. Жизнь шла своим чередом. К тем годам бомбы, танки, самолеты ещё не придумали.

– Так почему же Крюгер носил толстые кожаные сапоги?

– Ну, не в галошу же ему садиться, когда Де Вет<sup>7</sup> продует сражение.

– Я не понимаю тебя.

– Де Вет был одним из генералов Крюгера.

– Ладно, а чем ты занимался в тот вечер?

– Мы отправились в приходскую церковь на особую детскую службу: видишь ли, мир ещё не знал ничего о кино.

– Тогда почему ты называешь это своим лучшим Рождеством?

---

<sup>1</sup>Чарльз Джордж Гордон – один из самых знаменитых британских генералов XIX века. Ключевая фигура осады Хартума. – *Прим. пер.*

<sup>2</sup>Дервиш – мусульманский нищенствующий монах.

<sup>3</sup>Хартум – ныне столица Судана.

<sup>4</sup>Пауль Крюгер – президент Южно-Африканской республики в 1883–1900 годах. Участник военных операций буров против африканского населения (*прим. пер.*).

<sup>5</sup>Англо-бурская война (1899-1902 гг.) – война бурских республик – Южно-Африканской республики и Оранжевого Свободного государства против Британской империи, закончившаяся победой последней. – *Прим. пер.*

<sup>6</sup>«Прощай, Долли Грей» (ориг. англ. “Goodbye, Dolly Gray”) – популярнейшая песня времени Англо-бурской войны. – *Прим. пер.*

<sup>7</sup>Кристиан Рудольф Девет (Де Вет) – политический деятель Оранжевого Свободного государства, предводитель бурских повстанцев, один из генералов Пауля Крюгера. – *Прим. пер.*

– Потому что оно было самым настоящим.

– А что произошло с домом в Уимблдоне?

– Его продали и разделили на шесть квартир. Полагаю, сейчас там живут шесть небольших семей, и в канун Рождества там зажгут шесть крошечных ёлочек, вероятно, искусственных и складных, из покрытой иголочками проволоки, с небольшой гирляндой. И пожилые няньки будут пить там херес и слушать по телевизору рождественские песни, пока молодежь пойдёт куда-нибудь повеселиться.

– Что ж, по-моему, это повеселее, чем петь гимны под аккомпанемент рояля или загадывать загадки. Кстати: если Санта ещё готовит список подарков, то я мечтаю о классном комплекте барабанов бонго... О, ты же хотел рассказать что-то о путанице.

– Да-а, это было два года спустя – когда дядюшка Чарльз вошел через одну дверь и сказал, что он Рождественский дед, и сразу после него наведалься дядюшка Боб, но назвался Санта-Клаусом.

– Ничего себе!

*Перевод Викторией Хорунжей ([vika.khorunzhaya28@mail.ru](mailto:vika.khorunzhaya28@mail.ru)), студентки 3 курса (специальность «Перевод и переводоведение», специализация «Письменный и устный перевод (английский язык)») факультета иностранных языков Донецкого национального университета*

## АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

### **Elizabeth Barrett Browning** **Sonnet XLIII**

How do I love thee? Let me count the ways.  
I love thee to the depth and breadth and height  
My soul can reach, when feeling out of sight  
For the ends of Being and ideal Grace.

I love thee to the level of everyday's  
Most quiet need, by sun and candle-light.  
I love thee freely, as men strive for Right;  
I love thee purely, as they turn from praise.

I love thee with the passion put to use  
In my old griefs, and with my childhood's faith.  
I love thee with a love I seemed to lose  
With my lost saints, – I love thee with the breath,  
Smiles, tears, of all my life! – and, if God choose,  
I shall but love thee better after death.

**Элизабет Барретт Браунинг  
Сонет 43**

Люблю тебя во всех; во всём и вся!  
Люблю из тех высот освобожденья,  
Где дух не скован Замыслом  
Творенья,  
Где лишь Любовь – причина Бытия.

Любовь моя струится, как река;  
Я льну к тебе, как всё живое к свету.  
Ты мне ценней, чем Истина аскету,  
Милей далёкой песни пастуха.

Вся боль и скорбь, все детские  
мечтанья,  
Всей жизни путь – любви моей игра.  
Трепещет сердце, вновь переживая

Всё то, что было свято для меня.  
Я в каждом миге Вечность обретаю,  
Чтоб смерть полней любить тебя  
дала.

*Перевод Павла Писаренко  
([pisarenko\\_pasha@mail.ru](mailto:pisarenko_pasha@mail.ru)).  
Живет в г. Москва, по профессии  
полиграфический дизайнер, лингвистического  
образования. без  
Экспериментирует в переводческом деле  
на основе отождествления с  
художественными образами в процессе  
медитации. Перевод занял второе место  
в номинации «английская поэзия» (2018)*

**Е. Б. Браунинг. Сонет**

Як я люблю тебе? Я розкажу:  
Люблю, як дух стремить без  
перешкоди  
Крізь час і простір речником свободи,  
Щоб за останню зазирнуть межу.

**Элизабет Баррет Браунинг  
Сонет XLIII**

Как я люблю тебя? Дай объясниться:  
Любовь, которой жизнь осенена,  
Душе укажет путь сквозь времена,  
Пределы раздвигая и границы.

В закатном свете и в лучах денницы  
Живет среди будничных забот она,  
Как к истине порыв, всегда вольна,  
Наград не ждет и славы сторонится.

В моей любви к тебе так много пыла  
И детской веры, и былых обид,  
В ней память о святынях, сердцу  
милых,

В ней смех и плач, весь опыт жизни  
скрыт,  
И смерть сама ей лишь прибавит  
силы,  
Когда Господь Всевышний повелит.

*Перевод Ольги Матвиенко  
([matvizar@gmail.com](mailto:matvizar@gmail.com)), доцента кафедры  
зарубежной литературы Донецкого  
национального университета. Перевод  
занял первое место в номинации  
«английская поэзия» (2018)*

**Е. Б. Браунинг. Сонет**

Як я тебе люблю, спитаєш ти?  
Люблю, як дух мій, вічно волі  
спраглий,  
Здолати всесвіт безкінечний прагне  
І всемогутній час перемогти.

Люблю, як справи звичні я вершу  
Під сонцем чи при свічці у господі,  
Люблю, як правди прагну, – нагороди  
Не жду і цноту в серці бережу.

Любов моя так само запальна,  
Як молитви і жалощі дитини,  
Вмістила подих, плач і сміх вона,

В ній пам'ять про загублені святині,  
І я, коли скінчиться путь земна,  
Дасть Бог, сильніш любитиму, ніж  
нині.

*Переклад Ольги Матвієнко  
([matvizar@gmail.com](mailto:matvizar@gmail.com)), доцента кафедри  
зарубіжної літератури Донецького  
національного університету*

### Элизабет Барретт Браунинг Сонет XLIII

Как я люблю тебя? Ответ таков:  
Люблю тебя во весь души охват,  
До тех высот, где спрятан райский  
сад,  
Всей жизнью, что не знает берегов.

Люблю тебя сквозь долгий бег веков,  
И днём сегодняшним, когда горит  
закат,  
Всей чистотою горя от утрат,  
Всей силой правды, вольной от оков.

Люблю тебя всей страстью прежних  
дней –  
Печали взрослой или детских грёз –  
Потерянной надеждою своей,

Любовь во всём: в улыбке, в капле  
слёз...  
Пока жива, коль не смогу сильней,  
Так после смерти полюблю всерьёз.

І в день ясний, і серед темноти  
Люблю, як пораюсь в буденних  
справах,  
Люблю, як варто осягати справжнє, –  
Йдучи із чистим серцем до мети.

В любові запалу не менше, ніж  
В дитячих кривдах а чи вірі в чудо,  
В ній подих, сльози, сміх упереміж,

В ній пам'ять прикра про святу  
облуду,  
І як на те Господня воля буде,  
По смерті я любитиму сильніш.

*Переклад Ольги Матвієнко  
([matvizar@gmail.com](mailto:matvizar@gmail.com)), доцента кафедри  
зарубіжної літератури Донецького  
національного університету*

### Элизабет Барретт Браунинг Сонет XLIII

Как я люблю тебя? Дай посчитаю:  
Люблю до тех глубин, широт, высот,  
Где простирается души полёт,  
Где жизни край и благодать святая.

Люблю, как будней тихое теченье,  
При свете дня, в мерцании свечей.  
Открыто, как отстаивают честь,  
И чисто, как бегут от восхваленья.

Люблю с той силою, с какой давно  
Я горевала, с детской верой тою.  
Люблю, как было мне любить дано  
Утраченных святых. Дышу тобою  
Сквозь плач и смех. И если суждено,  
Любить и после буду, за чертою.

*Перевод Никиты Плюснина выпускника факультета Санкт-Петербургского государственного университета, в настоящее время студента магистерской программы «Исследования Балтийских и Северных стран». Перевод занял третье место в номинации «английская поэзия» (2018)*

*Перевод Елены Пальвановой (palvanova.elena@mail.ru). Родилась и живет в Москве, учится в магистратуре МГЛУ по специальности «Устный перевод на международных конференциях». В 2018 г. закончила там же бакалавриат переводческого факультета. Перевод занял третье место в номинации «английская поэзия» (2018)*

### **Элизабет Баррет Браунинг Сонет XLIII**

Как я люблю? Позволь мне рассказать:  
Люблю просторно, до глубин, высот,  
Куда душа моя легко дойдет,  
У грани Бытия зря Благодать.

Люблю негромко, будним дням под стать,  
Хоть полумрак, хоть солнышко взойдет,  
И чисто, словно истину народ,  
Наград от жизни не привыкший ждать.

В моей любви наивности щепоть,  
Утраченных святынь нетленный свод  
И страсть былых обид, обретших плоть.

Люблю слезами, вздохом, жизнью всей,  
А после смерти, если даст Господь,  
Любить тебя я буду лишь сильнеей.

*Перевод Веры Соломахиной (veroniquesvrn@yandex.ru), преподавателя английского языка, г. Воронеж. Перевод отмечен дипломом «Удачная попытка» (2018)*

### **Gerard Manley Hopkins. Spring and Fall To a Young Child**

Margaret, are you grieving  
Over Goldengrove unleaving?  
Leaves, like the things of man, you  
With your fresh thoughts care for, can you?  
Ah! as the heart grows older  
It will come to such sights colder

By and by, nor spare a sigh  
Though worlds of wanwood leafmeal lie;  
And yet you will weep and know why.  
Now no matter, child, the name:  
Sorrow's springs are the same.  
Nor mouth had, no nor mind, expressed  
What heart heard of, ghost guessed:  
It is the blight man was born for,  
It is Margaret you mourn for.

**Джерард Мэнли Хопкинс**  
**Весна и осень.**  
*Маленькой девочке*

Маргарет, твои печали  
Из-за листьев, что опали?  
Кажется тебе живою  
Роща с кроной золотою?  
Сердце скоро повзрослеет,  
К листьям жёлтым охладет.  
Вскоре взор не тронет твой  
Мёртвый ворох под ногой –  
Будет лишь печаль с тобой.  
И причина неважна,  
У тоски она одна.  
Ты не в книге прочтала,  
Это сердце подсказало:  
Листья – знак земной юдоли.  
О своей ты плачешь доле.

*Перевод Евгении Зиминной*  
*([zimina72@mail.ru](mailto:zimina72@mail.ru)), кандидата*  
*экономических наук, преподавателя*  
*Костромского государственного*  
*университета. Занимается техническим*  
*переводом по ювелирной, экономической и*  
*финансовой тематике. Перевод занял*  
*первое место в номинации «английская*  
*поэзия» (2019)*

**Джерард Мэнли Хопкинс**  
**Весна и осень.**  
*Маленькой Маргарет*

Листвою сыплет роща оземь...  
Дитя, тебя тревожит осень  
И листьев стая золотая  
До слёз печалит, облетая?  
Но погоди: ты станешь старше,  
Спокойней, равнодушной даже,  
Едва ли удостоишь взглядом  
Погибших листьев мириады;  
Над этим плачут только смлада.  
Неважны имена и сроки –  
Дитя, твоей тоски истоки  
Непостижимы, бессловесны,  
Хотя душе всегда известны:  
В веках ты ничего не значишь –  
И над самой собою плачешь.

*Перевод Ольги Матвиенко*  
*([matvizar@gmail.com](mailto:matvizar@gmail.com)), доцента кафедры*  
*зарубежной литературы Донецкого*  
*национального университета*

**ПЕРЕВОДЫ С НЕМЕЦКОГО**



## HEМЕЦКАЯ ПРОЗА

### Alexander Roda Roda (1872-1945). Der Ochs, der Esel, das Kamel

Eines Tages hielt der Kalif Gericht.

Da erschienen drei sonderbare Kläger vor seinem Thron: das Kamel – der Esel – und der Ochse.

Wortführer war natürlich das Kamel; ist ja bei uns auch immer so. Und das Kamel begann:

»Erhabener Kalif! Gefäß und Inhalt der Gerechtigkeit! Du Schmuck des Thrones! Stab des Volksvertrauens! Ich, das arme Kamel – hier mein Bruder, der Ochs – und unser Vetter, der Esel – wir erscheinen vor deinem goldnen Thron, o Kalif, um Klage gegen die Menschen zu führen, die unsre Geschlechter von Alters her verunglimpfen und beleidigen, indem sie unsre ehrlichen Stammesnamen zu Schimpf und Schande für einander mißbrauchen. Sooft ein Mensch eine Dummheit angestellt hat, sagen ihm die andern Menschen nicht etwa: ›Du Mensch!‹ – nein, sie sagen ihm: ›Du Kamel!‹ – Sprich, erhabener Kalif: Ist das gerecht gehandelt? Willst du solche Unbill an uns ferner dulden?«

Der Kalif überlegte lang und lang.

»Hm,« sagte er, »die Klage, die ihr da vorbringt, will ich nicht von meiner Schwelle weisen – aber ... dem Verbot, das ihr verlangt, steht ein uralter Sprachgebrauch der Menschen entgegen. – Immerhin: versucht euer Glück! Geh du, Kamel, nach Süden – du, Esel, nach Westen – und du, Ochse, nach Norden – wandert sieben Tage und seht zu, daß ihr Menschen findet, die dümmer sind als ihr. Wenn es euch gelungen ist, kommt wieder und meldet mir das Ergebnis eurer Wanderung. Dann will ich entscheiden, wie's in euerm Fall künftig gehalten werden soll. – Geht hin – ihr seid entlassen!«

Die drei gingen.

Nach sieben Tagen kamen sie wieder – und der Ochs erzählte:

»Erhabener Kalif – ich glaube, ich habe meine Pflicht getan. Ich glaube, ich habe Menschen gefunden, die dümmer sind als die Ochsen. – Ich war in Arbela. Da stand gefesselt ein Mann auf dem Markt und war angeklagt, einen Beutel Gold gestohlen zu haben. – Allein der Mann beteuerte seine Unschuld; er wäre zu jener Zeit, wo der Diebstahl begangen worden sein mußte, bei seiner Mutter gewesen. – ›Nun,‹ sagten die Leute in Arbela, – ›dann steht die Sache ja sehr einfach – dann wollen wir die Mutter befragen. Sie ist eine überaus fromme und rechtliche Frau – sie wird gewiß nicht lügen.‹ – Sprich, erhabener Kalif: waren diese Leute in Arbela nun nicht dümmer als die Ochsen, die da meinten, eine Mutter würde nicht meineidig werden für ihr Kind?«

»Du hast deinen Prozeß gewonnen,« sagte der Kalif. »Laßt hören, was der Esel zu bieten hat!«

»I–a, i–a – ich glaube, auch ich habe meine Aufgabe gelöst. – Ich trabte durch Gaugamela. Da rotteten sich die Rebellen zusammen und stürmten die Burg ihres Stadtältesten. Sie fingen den Ältesten und hielten Gericht über ihn, weil er lasterhaft gewesen sein sollte, bestechlich und eigennützig. Und sie warfen ihn auf den

Сcheiterhaufen und verbrannten ihn. Dann aber wählten sie einen andern Stadtältesten – und jubelten ihm zu, als er ihnen versprach: er werde, ehrlich in allen Stücken, nur für das Wohl der Allgemeinheit wirken. – Sprich, erhabener Kalif: waren diese Menschen in Gaugamela nicht dümmer als die Esel – die da meinten, ein Machthaber würde für das Wohl der Untertanen wirken und nicht für sein eigenes?»

Nachdenklich strich der Herrscher seinen weißen Bart und befragte das Kamel.

Und das Kamel, es sprach:

»Ich weidete auf einer Wiese. Da kam ein junges Mädchen daher mit einem jungen Mann. Er wollte sie küssen – sie wehrte ihn ab. Er wollte sie umarmen – sie versagte sich ihm. Er sei wankelmütig, sagte sie – morgen werde er eine andre lieben. – Da hob er die Rechte zum Eid. »Nie, Geliebte,« rief er. »Ich schwöre dir, solange ich lebe, werde ich immer dich – nur dich lieben.« – Als sie es hörte, sank sie an seine Brust. – Sprich, erhabener Kalif – war der Mann nicht dumm, der seine ewige Treue einem Weib geschworen hat? Und war das Mädchen, das ihm die Geschichte mit der ewigen Treue geglaubt hat, nicht dümmer als ein Kamel?»

»Genug,« rief der Kalif, »ihr alle drei habt eure Sache gewonnen. Und bei meinem Bart: fürderhin soll es in meinen Landen keinem Muselman beifallen, einen Menschen ob seiner Dummheit mit dem Namen eines eurer Geschlechter zu belegen. – Geht hin – ihr seid entlassen!«

Die drei gingen.

Vor dem Tor sagte das Kamel:

»Brüder, was gilt die Wette? Der alte Esel da drin bildet sich ein, mit seinem Spruch ist uns geholfen.«

### **Александр Рода-Рода (1872 –1945). Козёл, Осёл и Баран**

Как-то раз вершил Халиф суд.

И предстали перед судом у его трона три диковинных истца: Козёл, Осёл и Баран.

Представлял всю троицу в суде, конечно же, Козёл – что и неудивительно. И вот Козёл завёл свою речь:

– Достойнейший Халиф! Хранилище и источник справедливости! Жезл народной воли! Я – несчастный Козёл, здесь со мной – мой брат Баран и наш двоюродный брат Осёл. Мы смиренно склоняемся у твоего золотого трона, о Халиф, чтобы предъявить иск против людей, которые испокон веков позорят и обижают наш род, употребляя наше честное имя в брани и сквернословии. Как только кто-нибудь из них совершает глупость, они, вместо того чтобы воскликнуть: «Ты – глупый человек!», кричат: «Ты – глупый осёл!» Рассуди, достойнейший Халиф, разве это справедливо?

Неужто ты допустишь, чтобы нас и дальше так обижали?

Долго размышлял Халиф, а потом наконец заговорил:

– Гм, я не хочу отказывать вам в вашей жалобе, но и не могу так просто наложить на людей запрет, о котором вы просите... Ведь выражаться именно так – древнейший людской обычай. Но вы ещё можете попытать своё счастье. Ты,

Козёл, иди на юг; ты, Осёл, – на запад; ты, Баран, – на север. Велю вам каждому странствовать семь дней и ночей и найти человека, который окажется глупее вас. После этого возвращайтесь и расскажите, что видели. Вот тогда я и вынесу вердикт в вашем деле. А теперь ступайте!

И вся троица зацокала копытами.

Когда они вернулись через семь дней, Баран рассказал:

– Достойнейший Халиф, мне кажется, я выполнил задание. Я нашёл человека глупее барана. Я был в городе Эрбиль. Там, на рынке, я увидел человека в кандалах, которого обвиняли в краже кошель с золотом. Обвиняемый отрицал свою вину. Он уверял, что в момент кражи находился у своей матери. «Вот как? – сказали люди в Эрбиле, – ну, тогда всё просто. Давай спросим у твоей матери. Она – женщина в высшей степени благонравная и честная, она-то уж точно не станет врать!» Рассуди, достойнейший Халиф, разве эти люди в Эрбиле не глупее баранов, раз они думают, что родная мать не станет лжесвидетельствовать ради спасения своего сына?

– Ты выиграл своё дело, Баран, – сказал Халиф, – послушаем теперь, что расскажет Осёл.

– Иа-иа, мне кажется, что я тоже выполнил задание. Я рысью пробежал через город Гавгамелу. Там собрались мятежники и штурмом взяли крепость старосты города. Изловив старосту, они стали вершить над ним суд, потому что тот был безнравственным, подкупным и корыстным человеком. Затем они бросили его на костёр и сожгли. После этого они, однако, выбрали другого старосту и приветствовали его речь бурными возгласами одобрения, когда тот обещал, что будет честен во всем, заботясь только о всеобщем благе горожан. Рассуди, достойнейший Халиф, разве эти люди в Гавгамеле не глупее ослов, раз они думают, что новый властитель будет заботиться скорее о благе своих подданных, чем о своём собственном?

А правитель только задумчиво погладил свою белую бороду и велел говорить Козлу.

Вот что поведал ему Козёл:

– Я пасся на лугу. Тут я увидел девушку, которая гуляла с юношей. Он хотел её поцеловать, но она отвернулась. Он хотел её обнять, но она оттолкнула его. Она сказала ему, что он очень ветреный и уже завтра полюбит другую. Тогда юноша стал ей обещать. «Никогда, любимая! – восклицал он. – Клянусь тебе, пока я жив, я буду любить только тебя одну!». Услышав это, девушка пала в его объятия. Рассуди, достойнейший Халиф, разве этот юноша не глуп, раз он обещает вечную любовь женщине? А девушка? Разве она не глупее козы, раз верит в его рассказы о вечной любви?

Тут Халиф воскликнул:

– Довольно! Все вы трое выиграли своё дело. Клянусь своей бородой, в моей стране больше никому не придёт на ум называть человека, глуп он или нет, именами вашего племени. А теперь ступайте!

И вся троица зацокала копытами.

Уже у ворот верблюдов произнёс:

– Спорим, старый осёл вообразил себе, что его вердикт нам и на самом деле поможет.

*Перевод Евгении Регнер (evgeniya.regner@gmail.com), студентки магистратуры переводческого факультета Майнцского университета им. Иоганна Гутенберга по специальности «Русский, немецкий и английский языки». Работает устным и письменным переводчиком-фрилансером в г. Берлин (Германия). Перевод занял первое место в номинации «немецкая проза» (2018)*

### **Александр Рода-Рода (1972 – 1945). Осёл, Козёл и Баран**

Однажды был в халифате суд.

И вот трое необычных истцов явились халифу – Осел, Козел и Баран.

Говорить начал, конечно же, Баран – не удивительно, у нас все так же. Баран сказал:

– О почтеннейший халиф! Ты вершишь суд, ты и есть само правосудие! Ты украшение трона! Оплот людской верности! Я же всего лишь бедный Баран, вот мой брат Осёл, да родич наш Козёл. Пришли мы к твоему золотому трону, о халиф, чтобы пожаловаться тебе на людей. Испокон веков они порочат и оскорбляют нас и наш род тем, что вечно используют наши честные имена, дабы позорить друг друга. Вот совершит кто-нибудь глупость, не скажет ему никто «Ну ты и человек!», нет, скажут ему «Ну ты и баран!». Скажи же, почтеннейший халиф, неужели это справедливо? Как ты считаешь, должны ли мы и дальше терпеть такую обиду?

Халиф долго-долго размышлял.

– Хм, – наконец сказал он, – вашей жалобе отказать я не могу, но... то, что вы хотите запретить, уже веками живет в языке. Однако, все равно: попытайте удачи! Ты, Баран, иди на юг, ты, Козел, иди на запад, а ты, Осел, на север. Идите так семь дней, и посмотрим, найдете ли вы людей глупее, чем вы. Если вам это удастся, то возвращайтесь ко мне и расскажите о том, что увидели за время странствий. И тогда я решу, как дальше быть вашему делу. Идите – вы свободны!

И все трое разошлись.

Через семь дней они вернулись. Начал Осел:

– Почтеннейший халиф! Я считаю, что справился с задачей. Считаю, что нашел людей глупее, чем ослы. Был я в Арбиле. И вот на площади увидел человека в кандалах, его обвиняли в том, что украл он кошелек с золотом. Только он клялся, что невиновен: мол, как раз в то время, когда произошла кража, был он у своей матери. «Тогда, – сказал народ Арбиля, – дело обстоит очень просто – спросим все у самой матери. Все знают, что она очень набожная и честная женщина, она точно скажет правду». Вот и скажи, почтеннейший халиф, не были ли эти люди из Арбиля глупее ослов? Ведь они поверили, будто мать не нарушит клятвы даже ради собственного ребенка!

– Да, суд на твоей стороне, – молвил халиф, – давайте послушаем, что нам расскажет Козел!

– М-ее, м-е-е, мне кажется, я тоже выполнил задание. Пробегал я Гавгамелы. Там собралась толпа народу, начался бунт – осаждали крепость предводителя города. Они схватили предводителя и учинили над ним суд, обвиняли его в грехопадении, продажности и корысти. Развели костер и сожгли его. А затем выбрали нового предводителя и не могли на него нарадоваться, ибо он обещал им все: что он будет честен даже в мелочах и всегда будет действовать во имя общего блага. Вот и скажи, почтеннейший халиф, а чем эти люди лучше козлов? И где это видано, чтобы правители пеклись о благе подданных больше, чем о своем!

Задумался правитель над этими словами, погладил свою седую бороду и обратился к Барану.

И вот что сказал Баран:

– Пасся я как-то на лужайке. И пришли туда молодые парень и девушка. Он хотел ее поцеловать, но она отворачивалась. Он хотел ее обнять, а она ему не давалась. Она лишь говорила ему, что он ветренный, завтра возьмет и полюбит другую! Тогда юноша клятвенно поднял руку. «Никогда, любимая!» – молвил он. «Я клянусь тебе, покуда я жив, я буду вечно тебя любить, тебя одну!» Только она это услышала, как сама бросилась ему на шею. Вот и скажи, почтеннейший халиф, не глупее ли барана тот человек, что клянется быть верным лишь одной женщине? А девушка, что поверила этим рассказам о вечной верности, ну не глупее ли она овцы?

– Достаточно, – молвил халиф, – вы все трое выиграли дело. Клянусь своей бородой, отныне и впредь я запрещаю всем мусульманам во всех моих землях поносить глупость людей вашими именами. Идите – вы свободны!

И все трое разошлись.

Уже у ворот Баран сказал:

– Братья, и к чему был весь спор? Старый козел вообразил себе, будто своим указом как-то нам помог!

*Перевод Светланы Абузиной ([svetlana.abuzina@mail.ru](mailto:svetlana.abuzina@mail.ru)), студентки 2 курса магистратуры Института истории СПбГУ. Работает библиотекарем в Отделе рукописей РНБ (западный сектор). Перевод занял второе место в номинации «немецкая проза» (2018)*

### **Kurt Tucholsky. Die Kunst, falsch zu reisen**

*Wem Gott will rechte Gunst erweisen,  
den schickt er in die – in die weite Welt!*

*»Alice! Peter! Sonja! Legt mal die Tasche hier in das Gepäcknetz, nein, da! Gott, ob einem die Kinder wohl mal helfen! Fritz, iß jetzt nicht alle Brötchen auf! Du hast eben gegessen!«*

Wenn du reisen willst, verlange von der Gegend, in die du reist, alles: schöne Natur, den Komfort der Großstadt, kunstgeschichtliche Altertümer, billige Preise, Meer, Gebirge – also: vorn die Ostsee und hinten die Leipziger Straße. Ist das nicht vorhanden, dann schimpfe.

Wenn du reist, nimm um Gottes willen keine Rücksicht auf deine Mitreisenden – sie legen es dir als Schwäche aus. Du hast bezahlt – die andern fahren alle umsonst. Bedenke, daß es von ungeheurer Wichtigkeit ist, ob du einen Fensterplatz hast oder nicht; daß im Nichtraucher-Abteil einer raucht, muß sofort und in den schärfsten Ausdrücken gerügt werden – ist der Schaffner nicht da, dann vertritt ihn einstweilen und sei Polizei, Staat und rächende Nemesis in einem. Das verschönt die Reise. Sei überhaupt unliebenswürdig – daran erkennt man den Mann.

Im Hotel bestellst du am besten ein Zimmer und fährst dann anderswohin. Bestell das Zimmer nicht ab; das hast du nicht nötig – nur nicht weich werden.

Bist du im Hotel angekommen, so schreib deinen Namen mit allen Titeln ein... Hast du keinen Titel... Verzeihung ... ich meine: wenn einer keinen Titel hat, dann erfinde er sich einen. Schreib nicht: »Kaufmann«, schreib: »Generaldirektor«. Das hebt sehr. Geh sodann unter heftigem Türenschielen in dein Zimmer, gib um Gottes willen dem Stubenmädchen, von dem du ein paar Kleinigkeiten extra verlangst, kein Trinkgeld, das verdirbt das Volk; reinige deine staubigen Stiefel mit dem Handtuch, wirf ein Glas entzwei (sag es aber keinem, der Hotelier hat so viele Gläser!), und begib dich sodann auf die Wanderung durch die fremde Stadt.

In der fremden Stadt mußst du zuerst einmal alles genauso haben wollen, wie es bei dir zu Hause ist – hat die Stadt das nicht, dann taugt sie nichts. Die Leute müssen also rechts fahren, dasselbe Telephon haben wie du, dieselbe Anordnung der Speisekarte und dieselben Retiraden. Im übrigen sieh dir *nur* die Sehenswürdigkeiten an, die im Baedeker stehen. Treibe die Deinen erbarmungslos an alles heran, was im Reisehandbuch einen Stern hat – lauf blind an allem andern vorüber, und vor allem: rüste dich richtig aus. Bei Spaziergängen durch fremde Städte trägt man am besten kurze Gebirgshosen, einen kleinen grünen Hut (mit Rasierpinsel), schwere Nagelschuhe (für Museen sehr geeignet), und einen derben Knotenstock. Anseilen nur in Städten von 500 000 Einwohnern aufwärts.

Wenn deine Frau vor Müdigkeit umfällt, ist der richtige Augenblick gekommen, auf einen Aussichtsturm oder auf das Rathaus zu steigen; wenn man schon mal in der Fremde ist, muß man alles mitnehmen, was sie einem bietet. Verschwimmen dir zum Schluß die Einzelheiten vor Augen, so kannst du voller Stolz sagen: ich hab's geschafft.

Mach dir einen Kostenvoranschlag, bevor du reist, und zwar auf den Pfennig genau, möglichst um hundert Mark zu gering – man kann das immer einsparen. Dadurch nämlich, daß man überall handelt; dergleichen macht beliebt und heitert überhaupt die Reise auf. Fahr lieber noch ein Endchen weiter, als es dein Geldbeutel gestattet, und bring den Rest dadurch ein, daß du zu Fuß gehst, wo die Wagenfahrt angenehmer ist; daß du zu wenig Trinkgelder gibst; und daß du überhaupt in jedem Fremden einen Aasgeier siehst. Vergiß dabei nie die Hauptregel jeder gesunden Reise:

*Ärgere dich!*

Sprich mit deiner Frau nur von den kleinen Sorgen des Alltags. Koch noch einmal allen Kummer auf, den du zu Hause im Büro gehabt hast; vergiß überhaupt nie, daß du einen Beruf hast.

Wenn du reisest, so sei das erste, was du nach jeder Ankunft in einem fremden Ort zu tun hast: Ansichtskarten zu schreiben. Die Ansichtskarten brauchst du nicht zu

bestellen: der Kellner sieht schon, daß du welche haben willst. Schreib unleserlich – das läßt auf gute Laune schließen. Schreib überall Ansichtskarten: auf der Bahn, in der Tropfsteingrotte, auf den Bergespitzen und im schwanken Kahn. Brich dabei den Füllbleistift ab und gieß Tinte aus dem Federhalter. Dann schimpfe.

Das Grundgesetz jeder richtigen Reise ist: *es muß was los sein* – und du mußt etwas »vorhaben«. Sonst ist die Reise keine Reise. Jede Ausspannung von Beruf und Arbeit beruht darin, daß man sich ein genaues Programm macht, es aber nicht innehält – hast du es nicht innegehalten, gib deiner Frau die Schuld.

Verlang überall ländliche Stille; ist sie da, schimpfe, daß nichts los ist. Eine anständige Sommerfrische besteht in einer Anhäufung derselben Menschen, die du bei dir zu Hause siehst, sowie in einer Gebirgsbar, einem Oceandancing und einer Weinabteilung. Besuche dergleichen – halte dich dabei aber an deine gute, bewährte Tracht: kurze Hose, kleiner Hut (siehe oben). Sieh dich sodann im Raume um und sprich: »Na, elegant ist es hier gerade nicht!« Haben die andern einen Smoking an, so sagst du am besten: »Fatzkerei, auf die Reise einen Smoking mitzunehmen!« – hast *du* einen an, die andern aber nicht, mach mit deiner Frau Krach. Mach überhaupt mit deiner Frau Krach.

Durcheile die fremden Städte und Dörfer – wenn dir die Zunge nicht heraushängt, hast du falsch disponiert; außerdem ist der Zug, den du noch erreichen mußt, wichtiger als eine stille Abendstunde. Stille Abendstunden sind Mumpitz; dazu reist man nicht.

Auf der Reise muß alles etwas besser sein, als du es zu Hause hast. Schieb dem Kellner die nicht gut eingekühlte Flasche Wein mit einer Miene zurück, in der geschrieben steht: »Wenn mir mein Haushofmeister den Wein so aus dem Keller bringt, ist er entlassen!« Tu immer so, als seist du aufgewachsen bei ...

Mit den lächerlichen Einheimischen sprich auf alle Fälle gleich von Politik, Religion und dem Krieg. Halte mit deiner Meinung nicht hinterm Berg, sag alles frei heraus! Immer gib ihm! Sprich laut, damit man dich hört – viele fremde Völker sind ohnehin schwerhörig. Wenn du dich amüsierst, dann lach, aber so laut, daß sich die andern ärgern, die in ihrer Dummheit nicht wissen, worüber du lachst. Sprichst du fremde Sprachen nicht sehr gut, dann schrei: man versteht dich dann besser.

Laß dir nicht imponieren.

Seid ihr mehrere Männer, so ist es gut, wenn ihr an hohen Aussichtspunkten etwas im Vierfarbendruck singt. Die Natur hat das gerne.

Handele. Schimpfe. Ärgere dich. Und mach Betrieb.

1929

### **Курт Тухольский. Памятка отвратительного туриста**

*Кому Господь желает добра,  
Того Он отправляет в — в дальний край!  
"Элис! Петер! Соня! Сейчас же положите сумку в багажную сетку, да нет, не сюда! Господи, чтоб дети хоть раз помогли, как же! Фриц, не съедай сразу все  
булочки! Ты же только что ел!"*

Отправляясь в путешествие, ожидай от места, куда едешь, всего сразу:

красивой природы, комфорта большого города, античных развалин, низких цен, моря, гор. Говоря образно, пусть прямо перед тобой простирается Балтийское море, а прямо за тобой шумит Лейпцигская улица. Если этого нет, возмущайся.

Если ты путешествуешь на поезде, то, ради всего святого, не обращай внимания на потребности своих попутчиков, поверь, они увидят в этом твою слабость. Веди себя так, словно ты единственный, кто тут за всё заплатил, а остальные разъезжают задаром. Место у окна должно быть твоим; если в купе для некурящих кто-то вознамерился покурить, то немедленно сделай ему строжайший выговор. Если проводника нет на месте, побудь ненадолго его заместителем. Будь полицией, правительством и карающей Немезидой в одном лице. Поверь, это украсит поездку. И постарайся ни с кем не любезничать — будь настоящим мужчиной.

Закажи номер в отеле, передумай и остановись в другом. Не утруждай себя отменой брони в первом отеле; это ненужная суета, главное — не показывать слабости.

Заселяясь в отель, не забудь перечислить все свои титулы. Если у тебя нет титула, придумай его. И да, указывая род деятельности, не пиши «продавец», пиши «генеральный директор». Это всё упрощает. Отправляйся в номер, со всей дури хлопая дверями. (Но умоляю: раздавая ценные указания горничной, не давай ей на чай, не надо портить народ!) Протри свои пыльные ботинки полотенцем, разбей стакан (никому об этом не говори, в отеле полно стаканов!), и с чистой совестью отправляйся на прогулку по ещё незнакомому городу.

А в нём всё должно быть именно так, как в твоём городе, а если чего-то в нём нет, то он никуда не годится. То есть движение должно быть правосторонним, в меню всё должно стоять в привычном для тебя порядке, а телефонные будки и уборные должны быть точь-в-точь, как на твоей родине. Что касается остального, то стоит осматривать *только* те достопримечательности, которые упоминаются в путеводителе. Безжалостно гони своих домашних по всем памятникам и музеям, обозначенным в нём «звёздочкой», но, не поворачивая головы, проходи мимо всего остального и — чуть не забыл! — хорошенько продумай своё снаряжение. Для прогулки по городу идеально подойдут короткие шорты, небольшая зелёная шляпа (с кисточкой), ботинки с шипами (для музеев самое то), а также добротная суковатая палка. Страховочную верёвку бери с собой лишь в города с населением свыше 500 000 человек.

Если твоя жена падает в обморок от усталости, знай, настал идеальный момент, чтобы взобраться на смотровую башню или ратушу; раз уж ты далеко от дома, надо взять по максимуму от нового места. И если под конец дня у тебя всё расплывается перед глазами, то ты можешь гордо и уверенно заявить миру: «Я сделал это!».

Перед поездкой составь себе примерную смету расходов, с точностью до пфеннига, а потом отними от неё марок сто — поверь, их всегда можно сэкономить. Как именно? Везде торгуйся — так ты завоеешь расположение людей и оживишь поездку. Езжай дальше, чем тебе позволяет твой кошелек, а обратно иди пешком, и пусть там удобнее ехать на транспорте. Также в целях экономии не

разбрасывайся чаевыми и каждого иностранца принимай за афериста. И не забывай главное правило любого здравомыслящего туриста:

*Злись!*

Заговаривай со своей женой, только если хочешь пожаловаться. Вспоминай обо всех неприятностях на работе. Не забывай ни на минуту, что у тебя есть работа.

Первое, что ты должен сделать, прибыв в незнакомое место, — это подписать и отправить открытки. Заказывать заранее их не нужно — в гостинице уж должны догадаться, что они тебе понадобятся. Пиши неразборчиво — так получатели поймут, что у тебя хорошее настроение. Подписывай открытки везде — в поезде, в сталактитовом гроте, на вершине горы и в качающейся на волнах лодке. Не забудь сломать при этом свой механический карандаш и пролить чернила из перьевой ручки. Из-за чего ругайся.

Главное правило любого удачного путешествия гласит: *что-то должно пойти не так* и нарушить твои планы. Иначе путешествие — не путешествие. Чтобы отдохнуть от дел и работы, составь себе подробнейшую программу, но не придерживайся её и вини в этом жену.

Требуй, чтобы вокруг была тишина, как в деревне. Если же вокруг тихо, возмущайся, что ничего не происходит. Летний отдых хорош тогда, когда проводишь его в толпе тех же людей, что и на родине, то есть в каком-нибудь ресторане в горах, танцевальном клубе или винном баре. Посещая подобные заведения, не изменяй своему достойному, проверенному наряду: короткие шорты, небольшая шляпа (см. описание выше). Оглядывая всех вокруг, бурчи: «Элегантной публикой тут и не пахнет!». Если же все вокруг в смокингах, говори так: «Что за кривлянье — брать в путешествие смокинг!». Но если *ты* в смокинге, а другие — нет, закатай жене скандал. Кстати: закатывай ей скандал по любому поводу.

Носись как угорелый по незнакомым городам и деревням, а если у тебя язык не на плече, то ты плохо распланировал своё время. В любом случае поезд, на который ты бежишь сломя голову, важнее, чем вечер в тишине. Вечер в тишине — кому это надо? Ради этого не путешествуют.

В поездке всё должно быть чуть лучше, чем в родных краях. Если официант принёс тебе недостаточно охлаждённую бутылку вина, верни ему её с такой гримасой, которая говорила бы: «Если мой дворецкий принесёт мне такое вино из погреба, я его уволю!». Веди себя так, словно ты воспитывался у ...

С бестолковыми местными жителями сходу заговаривай о политике, религии и войне. Не скрывай своего мнения, выкладывай всё начистоту! Всегда говори, что думаешь! Говори громко, чтоб тебя было слышно, известный факт — многие народы туги на ухо. Если тебе весело, то смейся, но так громко, чтобы злить всех, кто по своей глупости не понимает, чему ты смеешься. Если ты не силён в иностранных языках, то кричи: тогда тебя лучше поймут.

Не позволяй себе кому-то симпатизировать.

Если ты путешествуешь в компании мужчин, то будет неплохо, если, поднявшись на смотровую площадку, вы хором споёте. Природе это понравится.

Торгуйся. Ругайся. Злись. И действуй.

1929

*Перевод Ксении Шашковой ([shashkova.ksenia209@gmail.com](mailto:shashkova.ksenia209@gmail.com)). Закончила НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в 2014 г. по специальности «Перевод и переводоведение». С 2014 г. проживает в Москве. С 2014 по 2018 гг. переводила для «ЭКМО» бизнес-литературу с английского языка. Пока не имеет публикаций художественного перевода, но мечтает в будущем переводить художественную литературу с немецкого. В настоящий момент репетитор, переводчик, телеграм-блогер (канал о переводе <https://t.me/vinegretdushi>, канал для изучения немецкого [https://t.me/alles\\_klar](https://t.me/alles_klar)). Перевод занял первое место в номинации «немецкая проза» (2019)*

## НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ

### Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769). Das Land der Hinkenden

Vorzeiten gabs ein kleines Land,  
Worin man keinen Menschen fand,  
Der nicht gestottert, wenn er redte,  
Nicht, wenn er ging, gehinket hätte;  
Denn beides hielt man für galant.  
Ein Fremder sah den Übelstand;  
Hier, dacht er, wird man dich im Gehn bewundern müssen;  
Und ging einher mit steifen Füßen.  
Er ging, ein jeder sah ihn an,  
Und alle lachten, die ihn sahn,  
Und jeder blieb vor Lachen stehen,  
Und schrie: Lehrt doch den Fremden gehen!

Der Fremde hielt für seine Pflicht,  
Den Vorwurf von sich abzulehnen.  
Ihr, rief er, hinkt; ich aber nicht;  
Den Gang müßt ihr euch abgewöhnen!  
Der Lärmen wird noch mehr vermehrt,  
Da man den Fremden sprechen hört.  
Er stammelt nicht; genug zur Schande!  
Man spottet sein im ganzen Lande.

Gewohnheit macht den Fehler schön,  
Den wir von Jugend auf gesehn.  
Vergebens wirts ein Kluger wagen,  
Und, daß wir töricht sind, uns sagen.  
Wir selber halten ihn dafür,  
Bloß, weil er klüger ist, als wir.

## **Кристиан Фюрхтегготт Геллерт (1715 – 1769). Страна хромых**

Когда-то, много лет назад,  
в стране, где правил мир да лад,  
хромая жители ходили  
и заикаясь говорили.  
Причуды нормой слыли здесь среди честного люда,  
но странник чужеземный вдруг возник из ниоткуда,  
своею твердой поступью и шагом прямых ног  
он вызвал в маленькой стране переполох.  
Вокруг него народ собрался,  
смеялся, веселился, потешался.  
Раздались крики: «Разве можно быть таким дремучим,  
давайте-ка мы чужеземца вмиг хромать научим».

Упреков странник тех не испугался,  
в сердцах он убедить людей пытался:  
«Ведь хромота – изъян, он чужд для человека,  
привычка вздорная у вас – хромает лишь калека».  
Тут шум и гам всё пуще прежнего поднялся,  
речь плавную пошел народ срамить:  
«За то, что гладко говорил, не заикался,  
позором горьким чужестранца заклеить».

С законом жизни не поспоришь,  
его усвоил стар и млад:  
в своих мы недостатках видим клад.  
Напрасно умный тратит красноречия запас,  
показывая глупости обличье без прикрас,  
мы самого его считаем глупым оттого лишь, что он умнее нас.

*Перевод Светланы Куцевой ([svetlana.kutseva@gmail.com](mailto:svetlana.kutseva@gmail.com)), выпускницы Киевского института переводчиков по специальности «филолог, переводчик английского и немецкого языков». Проживает в г. Киев, Украина. В настоящее время работает в сфере международных бизнес-отношений. Внештатный переводчик в агентствах перевода Украины, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов Перевод занял первое место в номинации «немецкая поэзия» (2018)*

## **Христиан Фюрхтегготт Геллерт (1715-1769). Земля Хромых**

Когда-то, в маленькой стране,  
Хромали все, кто жили в ней,  
И говорили, заикаясь,  
Ведь оба качества считались  
Галантнейшими из манер.

Но чужеземец не в пример  
Подумал – я для восхищений вам находка;  
И вышел твёрдою походкой.  
А все смотрели – что за бред  
И хохотали, глядя вслед;  
Один смеясь, держась за сердце,  
Вскричал: учите чужеземца!

Но тот считал, что прав, уввы,  
И должен дать отпор пороку.  
Хромаю, мол, не я а вы;  
Исправить надо вам походку!  
Услышав, как он говорит,  
Толпа ещё сильнее бурлит.  
Не заикнулся, как не стыдно!  
Смеются все, ему обидно.

С молодых ногтей известно нам,  
Рассудит время всех и там.  
Не надо умничать напрасно,  
Назвав нас глупыми ужасно.  
Мы скажем – сам такой сто раз  
За то, что он умнее нас.

*Перевод Владимира Борисовича Курьянова (rinex\_vlad@yahoo.com). Родился и вырос в Подмоскowie, образование двойное высшее – техническое и экономическое. Дипломант и лауреат ряда поэтических конкурсов и конкурсов художественного перевода. Стихи и переводы поэзии публиковались на Украине, в России, Великобритании, Бельгии, Финляндии. Автор двух сборников стихов, работает в международной судоходной компании в Лондоне, где и проживает в настоящее время. Перевод занял второе место в номинации «немецкая поэзия» (2018)*

### **Христиан Фюрхтеггерт Геллерт. Страна хромы**

Давно исчезли край и век,  
Где слыл невежей человек,  
Что при ходьбе не спотыкался,  
А говоря, не заикался,  
Сбивая с толку чужаков –  
Закон приличий был таков.  
Чужак, решив, что в силах выправить изъяны,  
За дело тут же взялся рьяно.  
Походкой ровной вызвав смех,  
Он удивил, конечно, всех.  
И каждый крикнул:

– Вот потеха!  
– Хоть поучите неумеху!

– Учить меня? Как бы не так! –  
И, не приняв насмешек дружных,  
– Хромые вы, – сказал чудак,  
– Учиться вам походке нужно.  
Шум нарастал ему в укор:  
– Он не заика – вот позор!  
– Страны незыблемый обычай  
Стал для насмешника добычей!

– Дурных привычек юных лет  
Для нас самих прекрасней нет.  
Пусть это глупость, мы согласны,  
Но любомудрие напрасно.  
Глупец – ты, только потому,  
Что взялся нас учить уму.

*Перевод Елены Пономаревой ([ponom-elena@yandex.ru](mailto:ponom-elena@yandex.ru)), педагога дополнительного образования МУДО «ЦДО» Заводского р-на г. Саратова. Перевод занял третье место в номинации «немецкая поэзия» (2018)*

### **Kurt Tucholsky. Luftveränderung**

Fahre mit der Eisenbahn,  
fahre, Junge, fahre!  
Auf dem Deck vom Wasserkahn  
wehen deine Haare.

Tauch in fremde Städte ein,  
lauf in fremden Gassen;  
höre fremde Menschen schrein,  
trink aus fremden Tassen.

Flieh Betrieb und Telephon,  
grab in alten Schmökern,  
sieh am Seinekai, mein Sohn,  
Weisheit still verhökern.

Lauf in Afrika umher,  
reite durch Oasen;  
lausche auf ein blaues Meer,  
hör den Mistral blasen!

Wie du auch die Welt durchflitzt  
ohne Rast und Ruh –:  
Hinten auf dem Puffer sitzt  
du.

*1924*

## Курт Тухольский Перемена мест

В путь по рельсам, в долгий путь.  
В путь, мой мальчик, в путь же!  
Корабельный ветер пусть  
волосы утюжит.

Погружайся в города,  
в их чужую чащу;  
речь чужую разгадай,  
из чужих пей чашек.

Телефона, дел страшишь,  
книжный хлам – спасенье;  
мудрость, помни, за гроши  
раздают на Сене.

Африку изъезди, сын,  
рыскай по пустыне;  
слушай, как морская синь  
под мистралем стынет!

За тобой несется вслед  
мир, забыв покой.  
На подножке силуэт –  
твой.  
1924

*Перевод Никиты Аграновского (pasto\_dezute@mail.ru). Родился в 1988 г. в, Санкт-Петербурге. Выпускник СПбГУ (бакалавриат – Филологический ф-т, магистратура – ф-т Свободных искусств и наук). Искусствовед, куратор и переводчик с немецкого, литовского и английского языков. Как переводчик художественной литературы публиковал свои работы дважды, выпустив подборки стихов Хенрикаса Радаускаса в "Дружбе народов" (№8 2016 г.) и Юргиса Кунчинаса в "Иностранной литературе" (№5, 2018 г.). Перевод занял первое место в номинации «немецкая поэзия» (2019)*

## Курт Тухольский Смена атмосферы

Трогайся на поезде,  
Трогай, парень, трогай!  
Треплет бриз на палубе  
Волосы дорогой.

С головой в далекий край,  
Мчись по дальним тропам;  
Дальних стран людей узнай,  
Дальних вин испробуй.

Прочь дела и телефон,  
Ройся в старых книгах,  
Берег Сены, мальчик мой,  
Рад сбыть мудрость тихо.

В Африке, в оазисах,  
Вскачь или гуляя;  
В синем море на волнах  
Слушай гул мистралья!

Сколько мир ни бороздишь,  
Не прервав пути:  
Там на буфере сидишь  
Ты.

*Перевод Маргариты Седяевой (sedyaeva@yahoo.de). Закончила Курганский государственный университет по специальности «германская филология» и Университет им. Фридриха Шиллера в Йене. Живет в Мюнхене, работает преподавателем немецкого языка как иностранного. О конкурсе узнала случайно и решила попробовать себя в области переводов. Перевод занял второе место в номинации немецкая поэзия» (2019)*

## **Курт Тухольский. Ветра перемен**

В путь дорогу, мальчик мой, поезжай скорее,  
По железной колее, силы не жалея!  
Пусть корабль тебя несет, ветер подгоняет  
И на палубе твои кудри развеивает.

В чужеземные края ты ныряй отважно,  
Пробегись по улочкам. Пусть чужим. Неважно!  
Там услышать сможешь ты незнакомцев крик  
И попробовать на вкус то, что не привык.

От работы, телефона мчись ты без оглядки,  
В лавки старые ныряй, в книжные палатки.  
Ты взгляни на берег реки, Сеной что зовется.  
Посмотри, мой сын, как там мудрость продается.

По всей Африке бегом,  
Сквозь оазисы верхом.  
Ты услышь морской прибой,  
Ощути мистралья вой!

Пусть без усталости стрелой Землю облетишь,  
Позади на буфере все же ТЫ сидишь.

*Перевод Марии Альберт ([masha.albert@yandex.ru](mailto:masha.albert@yandex.ru)), магистра направления подготовки «Теория и методика обучения иностранным языкам (английский и немецкий языки)» факультета иностранных языков Курского государственного университета. Перевод занял третье место в номинации «немецкая поэзия» (2019)*

**ПЕРЕВОДЫ С ФРАНЦУЗСКОГО**



## ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОЗА

**André Wurmser Le kaléidoscope, 1970**

*«Nous sommes perdus, dit l'Anglais...»*

Nous sommes perdus, dit l'Anglais, nous avons brûlé une sainte.

Mais non, c'est l'inverse, reparti, agacé, l'évêque de Beauvais : nous n'aurons brûlé une sainte que si nous perdons la guerre. Qu'Henri l'emporte, que Charles redevienne le petit roi d'Orléans, Beaugency, vous connaissez la chanson! et cette bergère sombrera avec les illuminés qui avant elle voulurent vous bouter hors de France: n'aura-t-il pas été démontré que ses voix ne venaient pas du ciel? Si tout au contraire Charles triomphe, l'histoire, et l'Eglise qui la suit, feront de nous des suppôts de l'enfer, puisque tout se sera passé comme si saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite avaient réellement poussé cette pucelle dans le métier des armes.

Mais, Monseigneur, j'ai vu de sa bouche s'envoler une colombe!

Ah, dans ce cas, elle sera sainte. Non que je croie à ces oiseaux qui pour cage ont des bouches mourantes, mais si quelque aïeule de Jeanne s'était avisée de guerroyer contre le roi Edouard, vos pères l'eussent brûlée vive sans que le moindre volatile vînt troubler leur foi de conquérants, de vainqueurs. Mais vos soldats lassés ne veulent plus franchir la mer ; ils interprètent les songes d'une enfant comme des signes célestes et vous-même, milord, partagez leurs doutes. Voilà où Jeanne puisera sa sainteté!

Pourtant, si la sentence était diabolique, Monseigneur?

La sentence était humaine, rendue selon les intérêts du plus fort, comme toute sentence. Si le Démon nous l'avait inspirée, satanique serait la cause du roi notre maître. Lui ferai-je part de notre conversation?

Gardez-vous-en bien, Monseigneur, c'est au prêtre que je...

Mon devoir est de lui dénoncer toute insubordination de fait ou de pensée. Ne l'oubliez point : ma condition n'est nullement celle de cette fille. Jeanne n'obéissait pas à Charles parce qu'il était roi, comme moi à Henri, mais pour qu'il le fût, pour ce qu'elle appelait naïvement la bonne cause. Les puissants ont de tout autres raisons. Après cette interminable guerre, les grands féaux du vaincu seront par le vainqueur non pas même absous, mais adoptés. S'il le faut, ma longue fidélité au roi d'Angleterre, tant que la victoire aura légitimé ses droits, répondra au roi de France de ma future fidélité. Il appartient aux personnes de haut rang, milord, d'assurer la continuité du pouvoir royal en collaborant, m'entendez-vous? avec celui qui ceint la couronne. De là notre présence constante au pied du trône, de Philippe qui fut vaincu, à Charles qui peut-être vaincra, en passant par vos rois, puisqu'ils règnent.

Mais Dieu ne connaît-il pas les siens?

Il les reconnaît à ceci qu'ils l'ont emporté. Retirezvous à présent et me laissez écrire au roi qui est à Londres. Allez en paix, messire: vos folies de sainte et de colombe lui seront connues, mais votre nom sera charitablement oublié.

Monseigneur, Dieu vous le rende!

**Андре Вюрмсер. «Калейдоскоп», 1970**  
«*Мы пропали*», – произнёс англичанин...»

– Мы пропали, – произнёс англичанин, – мы сожгли святую.

– Да нет же, наоборот, – раздражённо возразил епископ Бове. – Все сочтут, что мы сожгли святую, только если мы проиграем войну. Дай бог, Генрих одержит верх, Карл снова станет корольком Орлеана, Божанси – вы же знаете эту песенку!<sup>1</sup> – и эта пастушка канет вместе с безумцами, которые ещё до неё мечтали выгнать вас из Франции. Не станет ли тогда очевидно, что отнюдь не бог говорил её устами? Если же, напротив, восторжествует Карл, история и её приспешница церковь сделают из нас прислужников дьявола, ведь всё будет выглядеть так, будто и впрямь святой Михаил, святая Екатерина и святая Маргарита надоумили эту деву взять в руки оружие.

– Но, монсеньор, я сам видел, как с её губ слетел голубь!

– Ну, в таком случае она будет признана святой. Не то что бы я верил в этих птичек, которые как в клетке сидят во рту умирающих. Но даже если и так, вздумай какая-нибудь бабка Жанны воевать против короля Эдуарда, ваши деды сожгли бы её живьём, и никакой пернатый не поколебал бы их веры завоевателей, веры победителей. Но ваши солдаты устали от войны и больше не хотят пересекать море. Они принимают фантазии какого-то ребёнка за знаки небесные, да и вы сами, милорд, разделяете их сомнения. Вот где Жанна будет черпать свою святость!

– И всё же, если приговор был дьявольским, монсеньор?

– Приговор был человеческим, и вынесен он был в интересах сильнейшего, как и любой другой приговор. Если бы нас на это сподвигнул дьявол, значит, дьявольской была бы и воля господина нашего короля. Мне доложить ему о нашем разговоре?

– Не делайте этого, монсеньор, я говорил с вами как со священником...

– Мой долг – доносить ему о любом неповиновении, в делах или в помыслах. Не забывайте: моё положение вовсе не такое, как у этой девушки. Жанна служила Карлу не потому, что он был королём, как я Генриху, а чтобы он стал им, служила тому, что наивно считала правым делом. У сильных мира сего на всё свои резоны. После этой бесконечной войны победитель не только простит самых верных друзей побеждённого, но и приблизит их к себе. И при необходимости моя многолетняя преданность английскому королю, покуда победа делает его притязания на трон правомочными, будет залогом моей будущей преданности и французскому королю. Именно высокопоставленные вельможи, милорд, должны обеспечивать преемственность королевской власти, поддерживая – вы слышите меня? – того, кто носит корону. Вот в чём секрет нашего неотлучного пребывания у трона, от Филиппа, который был побеждён, до Карла, который, возможно, победит, включая вереницу ваших правящих королей.

---

<sup>1</sup> Речь идёт о французской песне XV века «Колокола Вандома». В ней поётся об участии дофина Карла, который сумел удержать власть всего в нескольких городах, в том числе в Орлеане и Божанси. – *Прим. пер.*

– Но разве Господь не узнаёт своих?

– Он признаёт их, делая победителями. А сейчас уходите и дайте мне написать королю в Лондон. Идите с миром, мессир. Ваши безумные слова о святых и голубях станут ему известны, но ваше имя я милосердно забуду упомянуть.

– Да благословит вас за это Господь, монсеньор!

*Перевод Елены Пальвановой (palvanova.elena@mail.ru). Родилась и живет в Москве, учится в магистратуре МГЛУ по специальности «Устный перевод на международных конференциях». В 2018 г. закончила там же бакалавриат переводческого факультета. Перевод занял второе место в номинации «французская проза» (2018)*

**Андрэ Вурмзер. Калейдоскоп, 1970**  
*«Мы пропали, сказал Англичанин...»*

– Мы пропали, – сказал Англичанин, – мы сожгли святую.

– Напротив, – раздраженно возразил епископ бовеский: – святую мы сожжем, если проиграем войну. Если победит Генрих, а Карл вновь станет корольком Орлеана и Божанси, вам известно, что за этим последует! и пастушка та сгинет вместе с безумцами, что еще до нее захотели вышвырнуть вас из Франции: разве не доказали б тогда, что ее голоса шли не с небес? Если, напротив, Карл одержит победу, история и церковь, идущая ей вослед, нарекут нас слугами дьявола, ведь все будет так, словно святые архангел Михаил, Екатерина Александрийская и Маргарита Антиохийская в самом деле сподвигли эту деву поднять оружие.

– Но, Монсеньор, я видел, как голубка выпорхнула из ее рта!

– Что ж, тогда она будет святой. Не сказать, что я верю в птиц, которые клеткам предпочитают рты умирающих дев, но если б какая из бабок Жанны вздумала воевать с Королем Эдуардом, ваши отцы сожгли бы ее живьем, и никакая птица не поколебала б их веру – веру завоевателей и победителей. Но ваши солдаты устали и не хотят больше пересекать море; они принимают детские сны за божественные знамения, и вы сами, милорд, разделяете их сомненья. Вот где Жанна черпает святость!

– Однако что если приговор был от лукавого, Монсеньор?

– Приговор был от человека и вынесен сообразно интересам сильнейшего, как всякий приговор. Если бы нам его внушил Дьявол, тогда бы дело нашего короля и господина было бесовским. Должен ли я передать ему наш разговор?

– Упаси Господь, Монсеньор, лишь священнику я...

– Мой долг – доносить ему о любом неповинении в поступках и помыслах. Не забывайте: мое положение в корне отлично от положения этой девушки. Жанна служила Карлу не потому что он был королем, как я служу Генриху, но ради того, чтобы он им стал, ради того, что она наивно считала правым делом. У власть имущих причины совсем иные. После этой бесконечной войны верные пэры побежденного будут не просто помилованы победителем, но и признаны им. Если придется, моя многолетняя преданность королю Англии

станет порукой королю Франции за мою будущую верность, когда победа узаконит его права. Людям высокого ранга, милорд, надлежит сообщать обеспечивать преемственность королевской власти, вы слышите? Вместе с увенчанными короной. Отсюда непрестанное присутствие нас у подножия трона, от Филиппа, потерпевшего поражение, до Карла, который, быть может, одержит верх; нас, смирившихся с вашими королями, пока они правят.

– Но разве Господь не узнает своих?

– Он узнает их по тому, что они победили. А теперь оставьте меня, я должен написать королю в Лондон. Идите с миром, мессир: ваши бредни о святой и голубке станут ему известны, но ваше имя будет милосердно забыто.

– Храни Вас Бог, Монсеньор!

*Перевод Анастасии Царевой (artlasly@gmail.com), выпускницы Литературного института имени А.М. Горького 2019 г. по специальности "Литературное творчество" (Специализация: Литературный работник, переводчик художественной литературы), г. Москва, в настоящее время аспирантки 1 курса Литературного института имени А.М. Горького по направлению "Языкознание и литературоведение", специальность "Литература народов стран зарубежья". Перевод занял третье место в номинации «французская проза» (2018)*

### **Jean Giraudoux. La Méprise**

Émile Durand eût été le plus heureux des hommes sans une malchance native qui accumulait quotidiennement sous ses pas les petites mésaventures dont nous nous contentons fort bien, nous autres, à raison d'une par semaine. Quand il montait dans un fiacre, le cheval s'emballait. Quand il prenait une automobile, le moteur, subitement calmé, s'éteignait. Ses faux cols étaient trop étroits et l'encolure de ses chemises trop large. Le tablier de sa cheminée consentait parfois à se baisser, mais refusait énergiquement, comme le rideau d'un théâtre de province, de se relever. Aussi Émile Durand était-il devenu maniaque, méticuleux, et il se promenait dans la vie avec la méfiance et les précautions d'un enfant qui étrenne perpétuellement un costume.

Ce jour-là, par exemple, après avoir collé un timbre sur chacune des deux lettres qu'il venait d'écrire, il regarda si les enveloppes étaient bien closes, si le papier n'en était point trop transparent, et il ne les glissa dans la boîte qu'après en avoir contrôlé les adresses. Il passa même la main dans l'étroite fente pour s'assurer qu'elles étaient bien tombées jusqu'au fond et ne réussit d'ailleurs qu'à se meurtrir douloureusement les doigts à un fil de fer qui faisait grille. Puis, non sans calculer les chances que ses lettres avaient d'être égarées parmi les imprimés, expédiées en province, incendiées par les moteurs des autos postales, il remonta vers le Luxembourg.

C'était un après-midi d'avant printemps où de gros nuages vaguaient dans le ciel. Un vent mi-aquilon, mi-zéphyр faisait claquer sur le dôme du Sénat un pavillon jadis national, mais qui n'était plus que portugais, le tiers rouge ayant disparu. Des étudiantes marchaient avec décision contre cet air qui rougissait leur nez et décolorait leurs lèvres. Émile les suivait d'un regard alangui. Ce n'est point qu'il recherchait une intrigue. Il avait, au contraire, une maîtresse qu'il avait beaucoup aimée, une fiancée qu'il se sentait

disposé à aimer beaucoup, et c'est à elles, justement, qu'il venait d'écrire. Cet hiver finissant lui donnait la nostalgie de son prochain foyer. Ce printemps qui s'avavançait lui rendait plus vif le souvenir de ses promenades amoureuses. Il goûtait sans en chercher plus long les charmes de la transition.

Soudain, un soupçon terrible germa dans son esprit. Il essaya de se distraire en suivant les ébats frénétiques des joueurs de croquet. Mais chaque coup de maillet enfonçait dans son cerveau l'idée qu'il en voulait chasser. Il fit les cent pas, puis les mille. Hélas ! le soupçon se précisait, irrésistible. Ainsi monte dans une rue, par les caves, l'inondation. Maintenant, il ne pouvait plus douter : il s'était trompé d'enveloppes ! Louise, sa fiancée, allait recevoir le billet suivant : « À demain soir pour le dîner, Jeanne adorée ! Il y a dans l'air je ne sais quelle tiédeur, quelle douceur qui ne me fait penser qu'à toi depuis ce matin. » Et Jeanne, son amie, quelle stupeur allait être la sienne quand elle lirait : « À demain matin pour le déjeuner, petite fiancée et chère Louise. Il y a dans le ciel je ne sais quelle fraîcheur, quelle douceur ! » Tout était perdu ! À moins, peut-être, de courir, de devancer les lettres, d'obtenir d'avance le pardon en avouant tout. Les femmes aiment que l'on avoue. Certaines gens inventent même des fautes pour leur plaisir.

Émile se précipita dans le premier autobus venu. Ce n'était pas le bon, mais à l'aide de deux correspondances, il arriva enfin à la demeure de sa fiancée.

### **Жан Жироду. Ошибка**

Эмиль Дюран был бы счастливейшим из людей, кабы не врожденная неудачливость, которая ежедневно втягивала его во множество мелких неприятностей, тогда как всем нам и одного такого злключения вполне хватит на целую неделю. Стоило ему забраться в фиакр, как лошадь сломя голову бросалась вскачь. Стоило ему сесть в автомобиль, как мотор ни с того ни с сего замолкал и глох. Воротнички у него были слишком узкими, а горловина рубашек – слишком широкой. Опускаться его каминная дверца еще иногда соглашалась, но подниматься упорно отказывалась, прямо как занавес провинциального театра. Потому-то Эмиль Дюран и сделался педантичным чуть ли не до одержимости: по жизни он шагал с неуверенностью и осторожностью ребенка, впервые надевшего новенький костюм.

Например, сегодня, наклеив марки на два только что дописанных письма, он посмотрел, запечатаны ли конверты и не слишком ли они просвечивают, и бросил их в почтовый ящик лишь после того, как проверил, правильно ли надписаны адреса. Он даже сунул руку в узкую щель, чтобы убедиться, что письма упали на дно ящика, но только больно поранил пальцы о проволочную решетку. Потом, не забыв подсчитать, с какой вероятностью его письма могут затеряться среди журналов и брошюр, случайно отправиться в провинцию или сгореть, если в почтовом автомобиле вдруг воспламенится мотор, он отправился обратно в Люксембургский сад.

Февральский день клонился к вечеру, и в небе плыли огромные тучи. Над куполом Сената на легком северном ветру хлопал флаг, который когда-то был

французским, но теперь лишился красной полосы и превратился в португальский. Навстречу ветру смело шагали студентки – носы у них покраснели, а губы побелели. Эмиль провожал их томным взглядом. Дело было вовсе не в том, что ему хотелось завести интрижку. Напротив, у него уже были и любовница, которой он очень дорожил, и невеста, которой он был весьма расположен дорожить, – это им он только что отправил письма. Близившаяся к концу зима заставляла его грезить о будущем домашнем очаге, а наступавшая весна оживляла воспоминания о любовных прогулках. Он беззаботно наслаждался очарованием грядущих перемен в природе и в собственной жизни.

Вдруг в его уме родилось страшное подозрение. Он попытался было отвлечься, наблюдая за бешеными прыжками игроков в крокет, но каждый удар молотка только глубже вколачивал в его мозг мысль, которую он силился прогнать. Он прошелся туда-сюда, потом еще и еще. Увы! Неотвратимое подозрение все крепло – так вода из переполненных подвалов затопляет улицу. У него уже не оставалось никаких сомнений: он перепутал конверты! Луиза, его невеста, получит следующее письмо: «Встретимся за ужином завтра вечером, обожаемая Жанна! Воздух полон неизъяснимой теплоты, упоительной нежности, которая с самого утра влечет мои мысли к тебе и только к тебе». А как потрясена будет Жанна, его подруга, когда прочтет: «Встретимся за завтраком следующим утром, моя славная невеста, милая Луиза. Какая невероятная свежесть, какая нежность разлита в небе!» Все пропало! Остается только поспешить, чтобы успеть до того, как придут письма, явиться с повинной и заранее получить прощение. Женщины любят, когда к ним приходят с повинной. Чтобы доставить им удовольствие, некоторые даже выдумывают себе несуществующие промахи. Эмиль бросился к первому подошедшему автобусу. Это оказался не тот маршрут, но, сделав две пересадки, он наконец добрался до дома своей невесты.

*Перевод Анны Гайденко (ansita1996@mail.ru). Ей 22 года, родилась и живет в Москве, закончила Школу филологии НИУ ВШЭ. Давно интересуется художественными переводами и мечтает связать с ними дальнейшую профессиональную деятельность. Есть опыт работы внештатным переводчиком и литературным редактором в двух издательствах. Перевод занял второе место в номинации «французская проза» (2019)*

### **Жан Жироду. Ошибка**

Эмиль Дюран был бы счастливейшим из смертных, если бы врожденное невезение не подбрасывало ему ежедневно и на каждом шагу множество мелких неудач, которых нам, обычным людям, предостаточно одной в неделю. Он садился в экипаж – и лошадь неслась очертя голову. Он брал такси – и мотор внезапно глох. Пристежные воротнички были ему тесны, а вшитые – широки. Каминная заслонка порой благосклонно опускалась, но снова подняться отказывалась столь же решительно, как занавес в провинциальном театре. Все это сделало Эмиля Дюрана болезненно педантичным, и он шел по жизни недоверчиво и осторожно, словно ребенок, впервые надевший костюмчик.

Так, в тот день, написав два письма, он наклеил на каждое марку, убедился, что конверты хорошо запечатаны, а бумага не слишком просвечивает, перепроверил адреса и лишь тогда опустил письма в почтовый ящик. Он даже просунул руку в узкую щель, дабы удостовериться в том, что конверты попали на самое дно, но только больно поранил пальцы о проволочную сетку. Затем, прикинув, с какой вероятностью его письма затеряются среди печатных посланий, или будут отправлены в провинцию, или сгорят в моторе почтовых машин, он отправился обратно в Люксембург.

Стояла ранняя весна, послеполуденное небо бороздили крупные облака. Северо-западный ветер трепал на куполе сенатского дворца флаг, некогда национальный, ныне же, когда красная полоса на нем полностью выцвела, – португальский.<sup>1</sup> Против ветра решительно шагали студентки с покрасневшими носиками и побелевшими губками. Эмиль проводил их томным взглядом. Об интрижках он не помышлял. Напротив, у него была любовница, которую он когда-то безумно любил, и невеста, которую он намеревался любить до безумия. Им-то он и отправил те два письма. Зима подходила к концу и навевала мечты о будущем доме. Весна приближалась и оживляла воспоминания о романтических прогулках. Он наслаждался этой чарующей переменой, а большего было и не надо.

И вдруг в душе его зародилось страшное подозрение. Пытаясь отвлечься, он стал наблюдать за игроками в крокет, которые неистово лупили по шарам. Но каждый удар молотка лишь глубже вгонял в его сознание мысль, от которой он силился избавиться. Эмиль принялся расхаживать взад-вперед, потом туда-обратно. Увы – подозрение только прочнее укоренилось в нем. Так наводнение поднимается по улице, затопляя один за другим погреба. Сомнений не оставалось: он перепутал конверты! Луиза, его невеста, получит следующее: «Увидимся завтра за ужином, любовь моя, Жанна! Не знаю, что за мягкость, что за нежность витает сегодня в воздухе, но из-за нее я с самого утра только о тебе и думаю». А с каким изумлением Жанна, его подруга, прочтет: «Увидимся завтра за обедом, милая моя невеста, дорогая моя Луиза! Не знаю, что за свежесть, что за нежность разлита сегодня в небе...» Все потеряно! Но что, если побежать, опередить письма, признаться во всем и заранее получить прощение? Женщины ведь так любят признания! Чтобы угодить им, мужчины порой даже выдумывают несуществующие проступки. Эмиль запрыгнул в первый подъехавший автобус. Он шел не в ту сторону, но посредством двух пересадок наш герой добрался-таки до дома своей невесты.

*Перевод Марии Красовицкой ([marie.krasovitskaya@gmail.com](mailto:marie.krasovitskaya@gmail.com)). Живет в Москве, преподает испанский язык на курсах. Окончила в 2015 г. бакалавриат ПСТГУ по специальности "Романская филология" и в 2017 г. – магистратуру ВШЭ по направлению "Компаративистика: русская литература в кросс-культурной перспективе". Перевод занял третье место в номинации «французская проза» (2019)*

---

<sup>1</sup> С 1830 по 1911 год флаг Португалии представлял собой изображение национального щита на двухцветном полотне – голубом и белом. Люксембургский флаг состоит из красной, белой и голубой полос. – *Прим. пер.*

## Жан Жироду. Ошибка

Эмиль Дюран был бы счастливейшим человеком на земле, если бы не его врожденное невезение, которое ежедневно оборачивалось ему множеством мелких передраг, какими мы с вами довольствуемся от силы раз в неделю. Только он садится в экипаж – лошадь ни с того ни с сего срывается с места, решает ехать на машине – мотор тотчас же затихает и глохнет. Накладные воротнички ему всегда малы, а вот вырез рубашки – велик. Если заслонка в его камине время от времени благоволяет опуститься, то потом, словно занавес провинциального театра, наотрез отказывается подниматься. Неудивительно, что Эмиль Дюран стал до маниакальности аккуратным, щепетильным и шел по жизни с боязливой осторожностью ребенка, наряженного в вечно новый костюмчик.

Вот и в тот день, наклеив марки на конверты двух писем, которые он только что написал, ему необходимо было проверить, плотно ли эти конверты запечатаны, не слишком ли они просвечивают, и опустил он их в почтовый ящик только тогда, когда еще раз убедился в правильности адресов. Он даже просунул руку в узкую щелочку ящика, желая удостовериться, что письма точно упали на дно, но добился лишь того, что больно ободрал себе пальцы о железную проволоку, служившую защитной решеткой. Затем, прикидывая, какова вероятность, что письма его затеряются в пачках газет, доставляемых в другие города, или сгорят вместе с почтовым грузовиком из-за воспламенившегося мотора, он направился к Люксембургскому саду.

Дело было накануне весны, тяжелые послеполюденные облака плыли по небу. Теплый северный ветер – то ли аквилон, то ли зефир – трепал на куполе Сената в прошлом национальный флаг, ставший теперь всего лишь португальским, ведь красная часть триколора выцвела. Несколько студенток решительно шагали против ветра, от которого у них краснели носы и белели губы. Эмиль проводил их томным взглядом. Не то чтобы он искал приключений. Напротив, у него была любовница, которую он очень сильно любил, и невеста, которую он собирался очень сильно полюбить, и как раз им-то он и писал. Конец зимы навевал на него мечты о будущем домашнем очаге. Наступление же весны пробуждало воспоминания о прогулках с возлюбленной. Сам не зная почему, он наслаждался очарованием межсезонья. Вдруг ужасное подозрение закралось к нему в душу. Он попытался отвлечься, наблюдая за неистовой схваткой игроков в крокет. Однако каждый удар их длинных молотков еще прочнее вбивал ему в голову мысль, от которой он наоборот хотел избавиться. Он нервно заходил взад и вперед, потом заметался. Увы! Подозрение его неудержимо приобретало все более четкие очертания – так наводнение, сперва заполняя подвалы, настигает улицу. Больше не могло быть сомнений: он перепутал конверты! Вот какое письмо получит его невеста Луиза: «Поужинаем завтра вместе, моя обожаемая Жанна? Воздух пропитан чем-то таким теплым, таким нежным, что с самого утра я думаю только о тебе». И какого же будет изумление его подруги Жанны, когда та прочтет: «Пообедаем завтра вместе, Луиза, моя дорогая невестушка? Воздух пропитан чем-то таким свежим, таким нежным». Все пропало! Хотя, быть может, есть еще

шанс : бежать, опередить письма, самому во всем признаться и заранее получить прощение. Женщины любят, когда им в чем-нибудь признаются. Некоторые мужчины даже сами выдумывают себе вину, лишь бы доставить им удовольствие. Эмиль бросился в первый попавшийся автобус. Тот шел в другом направлении, но сделав две пересадки, Эмиль наконец добрался до дома невесты.

*Перевод Лилии Дяченко ([liliya.dyachenko@outlook.fr](mailto:liliya.dyachenko@outlook.fr)), докторантки и ассистентки кафедры русской литературы филологического факультета Женевского университета и кафедры славистики Университета Paris-Sorbonne. Перевод занял третье место в номинации «французская проза» (2019)*

## ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ

### Jacques Prévert L'école des beaux-arts

Dans une boîte de paille tressée  
Le père choisit une petite boule de  
papier  
Et il la jette  
Dans la cuvette  
Devant ses enfants intrigués  
Surgit alors  
Multicolore  
La grande fleur japonaise  
Le nénuphar instantané  
Et les enfants se taisent  
Émerveillés  
Jamais plus tard dans leur souvenir  
Cette fleur ne pourra se faner  
Cette fleur subite  
Faitе pour eux  
A la minute  
Devant eux.

### Жак Превер Урок изящных искусств

Из плетёной соломенной шкатулки  
отец достал бумажный комочек  
и бросил сразу  
в большую вазу.  
А дети наблюдают с интересом.  
Из воды – ну надо же –  
вырастает радужный –  
великолепный цветок Японии –  
стремительный лотос.  
Дети – в безмолвном и радостном  
изумлении.  
Этот цветок останется  
неувядающим воспоминанием –  
этот быстрый цветок,  
созданный для них  
в одно мгновение  
ока

*Перевод Марии Порошиной  
([miskarelia@yandex.ru](mailto:miskarelia@yandex.ru)). Окончила Северо-  
Западную академию государственной  
службы. Живет в г. Сегеж.  
Заинтересовалась художественным  
переводом в 2018 г. Перевод занял третье  
место в номинации «французская поэзия»  
(2018)*

## Жак Преввер. Школа изящных искусств

В плетёной коробке с бумагой и прочим  
Отец выбирает бумажный комочек.  
Швыряет тотчас  
Комочек он в таз,  
А дети глядят: любопытно им очень.  
И вот появляется,  
Вот распускается  
Мгновенно японский цветок-многоцветик:  
Огромная лилия водяная.  
Глядят на неё потрясённые дети  
И от восхищения они умолкают.  
Потом никогда, ни за что в целом свете  
В их памяти свежести не потеряет  
Цветок, что так быстро руками своими  
Отец их для них смастерил перед ними.

*Перевод Елены Пальвановой (palvanova.elena@mail.ru). Родилась и живет в Москве, учится в магистратуре МГЛУ по специальности «Устный перевод на международных конференциях». В 2018 г. закончила там же бакалавриат переводческого факультета. Перевод занял второе место в номинации «французская поэзия» (2018)*

## Paul Fort. La valse de l'ourson

Ourson, ourson, prends peine, et danse avec ta chaîne et regrette le miel en regardant le ciel.

Tourne au son de la flûte et de l'accordéon, sans faire la culbute ou gare le bâton.  
Ô cuisses fraternelles, ô poilu pantalon ! ô bas noir de l'ourson, jambe soyeuse et belle!  
Ô taille mi-dormante ! ô pelote valsante ! ô col souple enroulé ! ô museau muselé !  
Dodeline, ample tête, ou gare à la baguette. Vêtement de fourrure, valse, danse en mesure.

Ourson, ourson, prends peine, et danse avec ta chaîne et regarde le ciel en regrettant le miel.

Ô bon nez écrasé, de larmes arrosé ! ô poitrine, ô grand cœur, où donc est le bonheur ?  
Tourne au son de la flûte et de l'accordéon, sans faire la culbute ou gare le bâton...

## Поль Фор. Медвежий танец

Мишутка, мишутка, для души – с цепью спляши, на уме сладкий мёд, а в глазах небосвод.

Покружись не в шутку под гармонь и дудку, без праздных кувырков, спрячь шест на минутку.

О братские черты! Лоснящаяся шубка! О ноги у мишутки! – изящной красоты.

О стан твой неуклюжий! Он шар качает дюжий! Зажатый в поводке! Рот на стальном замке!

Туда-сюда вертись – иль жезла берегись! В такт песне озорной качает головой.

Мишутка, мишутка, для души – с цепью спляши, а в глазах небосвод, на уме сладкий мёд.

О несуразный нос, омытый морем слёз! О грудь! О сердца раны – где счастье без обмана?

Покружись не в шутку под гармонь и дудку, без праздных кувырков, спрячь шест на минутку...

*Перевод Маргариты Стародубцевой ([st.margarita1988@gmail.com](mailto:st.margarita1988@gmail.com)). Давно изучает и очень любит французскую поэзию, в 2015 году окончила Французский университетский колледж СПбГУ по направлению «Литература». В настоящее время трудится в сфере информационных технологий. Перевод занял второе место в номинации «французская поэзия» (2019)*

## Поль Фор. Медвежий вальс

Медвежонок, медвежонок, пляшешь ты в цепях, играя;

трудишься в мечтах о мёде, взгляд свой в небо устремляя.

Кружишься под звуки флейты, под напев аккордеона,

без особенных ужимок и без лишних остановок.

Как твои прекрасны бёдра в панталончиках мохнатых!

Будто чёрные чулочки на твоих красивых лапах!

Ты прекрасен в вальсе быстром, славный толстячок бесстрашный!

Красит воротник пушистый твою милую мордашку!

Головой кивни большою, избегая взмаха палки!

И вальсируй в такт спокойно в меховом чудесном фраке!

Медвежонок, медвежонок, пляшешь ты в цепях, играя;

трудишься, смотря на небо, мёда искренне желая.

Сморщен носик, слёзы льются, вид твой сердце рвёт на части!

Объясни ты мне, мишутка, Расскажи мне, где же счастье?

Кружишься под звуки флейты, под напев аккордеона,

без особенных ужимок и без лишних остановок.

*Перевод Анастасии Гавриленко ([nastuwka@list.ru](mailto:nastuwka@list.ru)). Анастасия Юрьевна – учитель русского языка и литературы московской школы № 1231 имени В.Д. Поленова, филолог, кандидат педагогических наук. Относится к иностранным языкам с большим интересом, особенно в сопоставлении с русским: изучает черты сходства и отличия языковых систем. Перевод занял третье место в номинации «французская поэзия» (2019)*

ПЕРЕВОДЫ С ИСПАНСКОГО



## ИСПАНСКАЯ ПРОЗА

**Ramón María del Valle-Inclán**

**Фрагмент из книги «La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales» (1916)  
El anillo de Giges**

Cuando yo era mozo, la gloria literaria y la gloria aventurera me tentaron por igual. Fue un momento lleno de voces oscuras, de un vasto rumor ardiente y místico, para el cual se hacía sonoro todo mi ser como un caracol de los mares. De aquella gran voz atávica y desconocida sentí el aliento como un vaho de horno, y el son como un murmullo de marea que me llenó de inquietud y de perplejidad. Pero los sueños de aventura, esmaltados con los colores del blasón, huyeron como los pájaros del nido. Sólo alguna vez, por el influjo de la Noche, por el influjo de la Primavera, por el influjo de la Luna, volvían a posarse y a cantar en los jardines del alma, sobre un ramaje de lambrequines... Luego dejé de oírlos para siempre. Al cumplir los treinta años, hubieron de cercenarme un brazo, y no sé si remontaron el vuelo o se quedaron mudos. ¡En aquella tristeza me asistió el amor de las musas! Ambicioné beber en la sagrada fuente, pero antes quise escuchar los latidos de mi corazón y dejé que hablasen todos mis sentidos. Con el rumor de sus voces hice mi ESTÉTICA.

De niño, y aun de mozo, la historia de los capitanes aventureros, violenta y fiera, me había dado una emoción más honda que la lunaria tristeza de los poetas: Era el estremecimiento y el fervor con que debe anunciarse la vocación religiosa. Yo no admiraba tanto los hechos hazañosos como el temple de las almas, y este apasionado sentimiento me sirvió, igual que una hoguera, para purificar mi Disciplina Estética. Me impuse normas luminosas y firmes como un cerco de espadas. Azoté sobre el alma desnuda y sangrienta con cingulo de hierro. Maté la vanidad y exalté el orgullo. Cuando en mí se removieron las larvas del desaliento, y casi me envenenó una desesperación mezquina, supe castigarme como pudiera hacerlo un santo monje tentado del Demonio. Salí triunfante del antro de las víboras y de los leones. Amé la soledad y, como los pájaros, canté sólo para mí. El antiguo dolor de que ninguno me escuchaba se hizo contento. Pensé que estando solo podía ser mi voz más armoniosa, y fui a un tiempo árbol antiguo, y rama verde, y pájaro cantor. Si hubo alguna vez oídos que me escucharon, yo no lo supe jamás. Fue la primera de mis Normas.

**Рамон Мария дель Валье-Инклан**

**Фрагмент из книги «Чудесная лампа. Духовные упражнения»  
(«La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales», 1916)**

**Гигово кольцо**

В юности меня прельщала как слава писателя, так и слава искателя приключений. Тогда мой мир переполняли призрачные голоса — нескончаемый, мистический, пламенный шепот, гулкое эхо которого я ощущал всеми фибрами души, словно зов океана, раздающийся из раковины. Мне казалось, будто тот

мощный, неведомый голос из глубины веков обволакивает меня, как горячее дыхание, как дым от очага, и, подобно ропоту прибоя, будит во мне какие-то смутные метания. Но грезы о приключениях, пестревшие сочными красками геральдических щитов, разлетелись прочь, покинув родное гнездо словно птицы. Они вернулись лишь один-единственный раз, влекомые чарами Ночи, чарами Весны, чарами Луны: сели на карниз, как на ветвь в саду моей души, и залились песней... А затем умолкли навсегда. В тридцать лет мне отрезали руку; быть может, это спугнуло моих птиц или лишило их голоса. Мне знать не дано. В ту печальную пору мне послужила утешением благосклонность муз! Я жаждал испытать из их священного источника — однако прежде, чем исполнить ту мечту, мне хотелось прислушаться к биению собственного сердца и дать всем своим чувствам возвестить о себе. Из смутного шума их голосов я и соткал свою ЭСТЕТИКУ.

Ребенком — и даже отроком — я переживал гораздо глубже, когда внимал рассказам о приключениях отважных капитанов, полным неистовых бурь и жестоких сражений, чем когда погружался в лунную печаль поэтов: мой горячий пыл и благоговейный трепет был подобен тому чувству, с каким, наверное, следует объявлять о своем намерении постричься в монахи. Меня восхищали не столько сами деяния героев, сколько сила их духа, их неугасающая страсть, служившая очистительным пламенем для моей Эстетической Дисциплины. Я начертал для себя заповеди — сверкающие и непоколебимые, словно ограда из мечей. Обрушился на свою обнаженную, окровавленную душу, бичуя ее железной плетью. Уничтожил в себе тщеславие и велел воспрянуть гордости. Когда в моей груди начинал шевелиться червь сомнения, а презренное чувство отчаяния угрожало меня отравить, я научился наказывать себя; так же, должно быть, поступил бы святой монах, искушаемый дьяволом. Исполненный ликования, я вырвался из логова гадюк и львов. И возлюбил одиночество, и уподобился птице, слагая песни только для себя. Боль, которую мне в былые времена причиняла мысль о том, что меня никто не слышит, теперь превратилась в благодать. Я верил, что одиночество придаст моему голосу безупречную гармонию, и был одновременно и вековым деревом, и зеленой ветвью, и поющей птицей. Если голос мой и долетал до чьего-то слуха, я никогда не отдавал себе в этом отчета. То была первая из моих заповедей.

*Перевод Ксении Богдановой (ksuschannna@yandex.ru). Родилась в 1992 г. в Санкт-Петербурге. В 2019 г. окончила аспирантуру СПбГУ по направлению «Лингвистика». Работает переводчиком с русского языка на английский в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета имени Леонида Якобсона. Испанский язык — второй иностранный язык после английского. Перевод занял первое место в номинации «испанская проза» (2019)*

### **Рамон Мария дель Валье-Инклан. Кольцо Гига**

В молодости меня одинаково манили литературная слава и слава путешественника. В то время, полное неясных голосов, всеобъемлющего шума, страстного и таинственного, эти звуки отзывались во мне, словно в морской раковине, в которой можно услышать шум волны. Мне казалось, что от этого

древнего голоса, незнакомого и величественного, исходило дыхание, похожее на жар печи, и звук, будто шёпот морского прибоя, который наполнял меня тревогой и беспокойством. Но мечты о приключениях, покрытые геральдической эмалью, разлетелись, как птицы из гнезда. Только однажды, под влиянием Ночи, под влиянием Весны, под влиянием Луны, они появились и вновь запели в садах моей души на пышных верхушках деревьев... А потом я навсегда перестал их слышать. Когда мне исполнилось тридцать, я лишился руки, и не знаю, улетели ли они ввысь или смолкли навек. И в этой тоске мне дало силы покровительство муз! Я стремился испить из священного источника, но прежде я хотел услышать удары своего сердца и выпустил на волю все свои чувства. Из шепота их голосов я сотворил свою ЭСТЕТИКУ.

Когда я был ребенком, и даже позднее в молодости, приключенческие истории о бравых капитанах, полные жестокости и свирепости, пробуждали во мне более глубокие чувства, чем извечная печаль поэтов: это были дрожь и пыл, с которыми внимают зову веры. Я восхищался не столько героическими деяниями, сколько душевной выдержкой, и это пламенное чувство служило для меня своего рода костром для очищения моей Эстетической Дисциплины. Я решил следовать правилам, непоколебимым и сияющим, словно ограда из мечей. Я высек кровоточащую обнаженную душу железной плетью. Я убил тщеславие и вновь обрёл гордость. Когда внутри меня проснулись бесы уныния, и мелочное отчаяние едва не отравило мою душу, я сумел наказать себя, как это сделал бы святой отшельник, искушаемый дьяволом. Я вышел победителем из вертепа львов и аспидов. Я полюбил уединение и, как птицы, пел только для себя. Старая боль от того, что никто меня не слушал, обернулась радостью. Я подумал, что в одиночестве мой голос может звучать гармоничнее, на некоторое время я превратился в старое дерево, зеленую ветку, певчую птицу. Если кто-то меня и слушал, я об этом не знал. Это было моим первым Правилom.

*Перевод Марии Каревой ([maskareva@yandex.ru](mailto:maskareva@yandex.ru)), магистра 2 курса филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета (специальность "Инновационные технологии перевода: испанский язык"). Перевод занял второе место в номинации «испанская проза» (2019)*

### **Рамон Мария дель Валье-Инклан. Кольцо Гигов**

Когда я был еще совсем юнцом, литературная слава и дух приключений в равной мере прельщали меня. То была пора глухих голосов и всеобъемлющего, жгучего, таинственного гула, что отдавался во всем моем существе, словно в морской раковине. Этот великий голос, древний и неведомый, обдавал меня, как жар из печи, а звучание его, похожее на шум прибоя, наполняло тревогой и растерянностью. Но мечты о приключениях, окрашенные в цвета родового герба, упорхнули, словно птицы из гнезда. Лишь изредка, навеянные Ночью, навеянные Весною, навеянные Луною, они возвращались и пели в садах моей души, сидя на геральдических ветвях... А после я и вовсе перестал их слышать. Тридцати лет от роду мне отрубили руку, и я не знаю, встали они снова на крыло или умолкли

навечно. В те скорбные дни музы одарили меня своею любовью! Я замыслил припасть ко священному источнику, но прежде решил прислушаться к биению своего сердца и внял всем своим чувствам. Из этого многоголосия я и создал мою ЭСТЕТИКУ.

В детстве, а затем и в юности, жестокие и свирепые истории об отважных капитанах производили на меня впечатление более глубокое, чем лунная печаль поэтов: с такой страстью и таким трепетом, должно быть, обретают духовное призвание. Не столько я восхищался героическими поступками, сколько мужеством сердец, и пылкое чувство это огнем очищало мое Эстетическое Учение. Я установил для себя правила, сияющие и несокрушимые, словно ограда из клинков. Я исхлестал обнаженную, окровавленную душу железной фашьей. Я уничтожил тщеславие и возвысил гордыню. Во мне копошились зародыши уныния, и ничтожное отчаяние чуть не отравило меня, но я выучился самобичеванию, как сделал бы монах, искушаемый дьяволом. Я вышел победителем из клоаки, кишасей гадюками и львами. Я возлюбил одиночество и, подобно птицам, стал петь лишь для себя. Давняя тоска по слушателю была возмещена. Я решил, что уединение послужит благозвучию моего голоса, и был старым деревом, зеленой ветвью и певчей птицей одновременно. Если когда и слышали меня чьи-то уши, то я ничего об этом не знал. Таково было первое мое Правило.

*Перевод Марии Красовицкой ([marie.krasovitskaya@gmail.com](mailto:marie.krasovitskaya@gmail.com)). Живет в Москве, преподает испанский язык на курсах. Окончила в 2015 г. бакалавриат ПСТГУ по специальности "Романская филология" и в 2017 г. – магистратуру ВШЭ по направлению "Компаративистика: русская литература в кросс-культурной перспективе". Перевод занял второе место в номинации «испанская проза» (2019)*

### **Рамон Мария дель Валье-Инклан. Кольцо Гига**

В юношестве слава писателя пленяла меня так же сильно, как и слава искателя приключений. Я тонул в темных волнах мрачных дум, в гулком шуме собственных мыслей, яростным океаном бушующих в моей голове. Этот шум, древний и неведомый, пробудил во мне неистовое вдохновенное чувство, бурлящей волной захлестнувшее мой разум и унесшее покой и сон. Словно птицы из гнезда упорхнули и мои призрачные мечты о приключениях, полных чести и отваги. Они вернулись лишь однажды ночью, с дыханием Весны, и в свете молодой Луны запели, примостившись на краешке моей души... Позже я перестал их слышать. Когда мне было тридцать, я лишился руки, и тогда, наверное, они навсегда меня покинули, а может быть остались, но хранили безмолвие. Обласканный музами, я черпал вдохновение из печали! Я осмелился испить из священного фонтана, но сперва мне хотелось прислушаться к своему сердцу, и я дал волю чувствам. В шелесте их голосов я отыскал свое ПРЕКРСНОЕ.

В детстве и даже в юности жуткие, леденящие кровь легенды о бесстрашных капитанах вызывали у меня восторг куда более искренний, нежели сумрачное

уныние поэтов: меня охватывали благоговейный трепет и неистовый пыл, с которыми избранные посвящают себя Господу. Я восторгался не столько героическими подвигами, сколько силой духа, и эта увлеченность, подобно божественному пламени, даровала освобождение моей Вере в Прекрасное. Я установил заповеди такие же ясные и непоколебимые, как разящий меч. Я запер окровавленную обнаженную душу в железной клетке. Я задушил тщеславие и превознес гордость. Когда изнутри меня начинало пожирать уныние, когда я был почти отравлен суетной безысходностью, я наказывал себя, как наказывал бы себя искушаемый Дьяволом истинный верующий. Мне удавалось с честью покидать это логово аспид и львов. Я полюбил одиночество и, словно птица, пел лишь для себя. Древняя скорбь, о которой никто и слышать не хотел, превратилась в благодатную почву. Я верил, что лишь в одиночестве смогу услышать голос пафоса, проникнуть в древнюю мудрость, познать возрождение, достичь гармонии. Быть может, меня кто-то и слышал, но я того не ведал. Это была моя первая Заповедь.

*Перевод Алены Абрамовой (alyona24101997@yandex.ru), магистра 1 курса факультета международных отношений СПбГУ. Перевод занял третье место в номинации «испанская проза» (2019)*

## ИСПАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

### Rafael Alberti. A la Gracia

A ti, divina, corporal, preciosa,  
por quien el aura impereceptible orea  
el suspendido seno de recrea  
la perfección tranquila de la rosa.

A ti, huidiza, resbalada, airosa,  
caricia virginal, sal que aletea  
y ante la mano en vuelo delinea  
tu fugitiva, rubia espalda, diosa.

A ti, fino relámpago, destello,  
sonrisa más delgada que el cabello,  
burladora, inefable travesura.

La gracia de tu gracia es resistirte,  
correr, volar, asirte, desasirte.  
A ti, yo no sé qué de la Pintura.

### Рафаэль Альберти. Посвящение грации

Тебе, о грация, загадка, дива!  
Сошедшая на холст (какая свежесть!)  
Красу являет он и безмятежность  
Одной душистой веточки оливы.

Тебе, о нимфа, ветерок игривый!  
Беглянка, нежный первоцвет девичий!  
Пусть растворится зыбкое обличье –  
Рука искусная познает диво.

Тебе, кокетка, взвезная жрица!  
Слепящий блеск изящной чаровницы!  
Причуд, немислимых фантазий  
буйство!

Бежать тебя и догонять, мгновенье, –  
Творца услада, хмель и упоенье.  
О тайна живописного искусства!

*Перевод* **Сергея Капустина**  
([serge\\_rcl@mail.ru](mailto:serge_rcl@mail.ru)). Родился в 1984 г. в Омске, с 2011 г. живет в Санкт-Петербурге. По образованию менеджер. Работает в типографии **Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)**. Переводит прозу и поэзию; рабочие языки – испанский, норвежский. Перевод занял второе место в номинации «итальянская поэзия» (2018)

**Jorge Luis Borges.**  
**Milonga de Juan Muraña**  
(*La cifra, 1981*)

Me habré cruzado con él  
En una esquina cualquiera.  
Yo era un chico, él era un hombre.  
Nadie me dijo quién era.

No sé por qué en la oración  
Ese antiguo me acompaña.  
Sé que mi suerte es salvar  
La memoria de Muraña.

Tuvo una sola virtud.  
Hay quien no tiene ninguna.  
Fue el hombre más animoso  
Que han visto el sol y la luna.

A nadie faltó el respeto.  
No le gustaba pelear,  
Pero cuando se avenía,  
Siempre tiraba a matar.

Fiel como un perro al caudillo  
Servía en las elecciones.  
Padeció la ingratitud,  
La pobreza y las prisiones.

Hombre capaz de pelear  
Liado al otro por un lazo,

**Хорхе Луис Борхес.**  
**Милонга Хуана Мураньи**  
(из сборника «Тайнопись», 1981 год)

Я встречать его мог  
В переулке глухом,  
Я был молод, он стар,  
Я с ним не был знаком,

Но опять его взгляд  
Как ножом полоснёт,  
Видно, память Мураньи  
Со мною живёт.

Он был славен одним  
(Часто нет и того):  
Луна с солнцем не знали  
Бесстрашней его.

Он не сеял раздор,  
Не любил воевать,  
Но обиды привык  
Только кровью смывать.

Почитал вожака,  
Словно преданный пёс.  
Вероломство, нужду  
И тюрьму перенёс,

Биться насмерть умел,  
Шёл под пули с ножом  
И себя узнавал  
В исступленье чужом.

Hombre que supo afrontar  
Con el cuchillo el balazo.

Lo recordaba Carriego  
Y yo lo recuerdo ahora.  
Más vale pensar en otros  
Cuando se acerca la hora.

Он жив в песнях Каррьега  
И в этой сейчас...  
Как бы он не явился  
В последний мой час!

*Перевод Ольги Комаровой ([olya34@mail.ru](mailto:olya34@mail.ru)).  
Окончила Воронежскую государственную  
лесотехническую академию и Воронежский  
государственный университет (факультет  
романо-германской филологии). Научный  
сотрудник Всероссийского научно-  
исследовательского института лесной  
генетики, селекции и биотехнологии.  
Переводит с английского, итальянского,  
испанского. Многократная победительница  
конкурса им. Э. Л. Линецкой. Данный  
перевод занял второе место в номинации  
«испанская поэзия» (2019)*

### Хорхе Луис Борхес. Песнь о Хуане Муранье («Шифр», 1981)

Мог он встретиться мне на дороге,  
По глухим переулкам бродя.  
Незнакомец наружности строгой  
И мальчишка совсем ещё – я.

Старину воспеваю Хуана.  
Неспроста я повёл о нём речь.  
Мой удел – без прикрас и обмана  
Его имя в потомках сберечь.

Лишь одну он имел добродетель.  
У иных не бывает и той.  
Под луной и при солнечном свете  
Был то бешеной хватки герой.

Относился ко всем с уваженьем.  
Не любил перепалок и ссор.  
А придёт когда час примиренья,  
На язык, словно бритва, остёр.

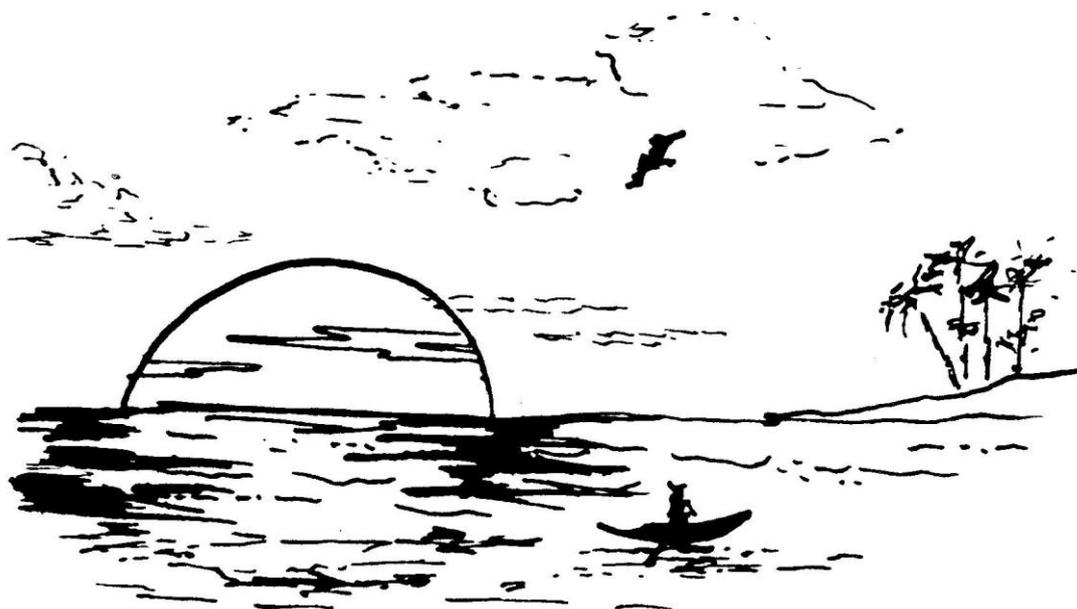
В избирательном штабе Муранья  
Прослужил каудильо, как пёс.  
Нищету претерпел, непризнание,  
Заключенье в тюрьме перенёс.

Человек безрассудного нрава,  
Знавший толк в рукопашном бою,  
Он, ножом управляясь кровавым,  
Останавливал пулю твою.

За Каррьегой вослед поминая  
Храбреца (как бы ни был далёк),  
В час последний – так я понимаю –  
Лучше думать о тех, кто полёт.

*Перевод Сергея Капустина  
([serge\\_rcl@mail.ru](mailto:serge_rcl@mail.ru)). Родился в 1984 г. в  
Омске, с 2011 г. живет в Санкт-Петербурге.  
По образованию менеджер. Работает в  
типографии Национального  
исследовательского университета  
информационных технологий, механики и  
оптики (ИТМО). Переводит прозу и поэзию;  
рабочие языки – испанский, норвежский.  
Перевод занял первое место в номинации  
«испанская поэзия» (2019)*

ПЕРЕВОДЫ С ИТАЛЬЯНСКОГО



## ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРОЗА

### Giovannino Guareschi. La Lettera

Ci diedero il primo modulo-lettera, e si trattava di un foglio con molte istruzioni in tedesco e alcuni spazi bianchi da riempire in italiano. La metà destra del foglio era riservata alla risposta, e bisognava star bene attenti a non confondere l'una parte con l'altra e a scrivere chiaro, a matita e sopra le righe punteggiate, come vogliono appunto le convenzioni internazionali che tutelano il diritto delle genti.

Ci diedero pure una doppia cartolina ripiegabile corredata di severe istruzioni in francese, e la parte seconda di quest'altro ingegnoso meccanismo postale, appiccicata convenientemente su un pacco confezionato come da norme, avrebbe permesso a detto pacco di partire dall'Italia e di viaggiare verso la nostra temporanea residenza.

Il capitano N. mi disse preoccupato che si trattava di 24 righe in tutto, e il capitano C. aggiunse che se si considerava che oltre al resto noi avremmo dovuto far entrare nelle 24 righe le istruzioni dettagliate riguardanti i pacchi, la faccenda si sarebbe subito appalesata molto grave. «Bisognerà arrivare alla massima concisione», concluse il capitano M.

Ci disponemmo coscienziosamente al lavoro, comunicandoci via via il risultato dei nostri studi personali.

Il capitano N., desiderando notizia sull'andamento della casa e degli affari, dopo adeguata riflessione, espresse la prima formula ingegnosa: «*Notiziami andamencàsa e andaffàri*». Si trattava di un virtuosismo di concisione, e il capitano N. venne classificato a pari merito col capitano C., il quale, intendendo che la consorte gli mettesse nel pacco la sua divisa di panno e tutto il corredo di lana, propose uno snellissimo: «*Pàccami pannàbito e lancorrèdo*».

Approvammo, e mettemmo allo studio il problema più difficile: spiegare in poche parole come si dovesse confezionare un robusto pacco di 5 Kg., usando la cedola all'uopo inviata, evitando di introdurre in esso pacco carte, medicinali, liquidi infiammabili, e avendo invece cura di farci entrare, per esempio, sigarette, tabacco, crema d'orzo e farina di frumento.

Fu un lavoro lungo, ma rallegrato da un pregevole risultato:

«*Robustizzàte pacco pentachìlo a 1/2 cedola all'uopata evitando medicincarte et infiammabili. Paccàte sigartabacco, cremòrzo, frumfarina...*».

Ricordai allora le colonne di annunci economici e il loro gergo, ma non risi; anzi, ripensai alle vecchie pagine con una nuovissima nostalgia. O colonne dense e grige, voi — con bizzarre parole che parevano sforbiciate da un telegrafista avaro — ci narravate di illibate quarantenni desiderose relazione scopo matrimonio; di stenodattilo disposte migliorare: di piedaterra discreti; di letti-famiglia avidi di impiegati stabili; di ammobiliate termobagno assetate di parastatali. O colonnine grige, voi ci raccontavate di automobili straoccasione pronte a rollare dolcemente sugli asfalti circondanti laghi azzurri; di torni a revolver attesi con ansia in officine sonanti; ci raccontavate di agenzie discretissime; di affari vantaggiosissimi, di onesti pensionati, di offerte di impiego. E io, ripensando a voi da questo recinto, dopo aver per tanto tempo sorriso sulle vostre strane parole, provo una sottile nostalgia.

O pagine grige, strampalata letteratura a dieci lire la riga, scopro ora che avevate una vostra poesia. Una poesia piena di fremiti, un ritmo potente: la poesia del lavoro, il ritmo della vita.

Udendo le strane parole architettate per la nostra lettera, ripensai alla pagina grigia degli annunci economici e ad un ritmo che ora è spezzato. Oggi io penso a una pagina tutta bianca, squallidamente deserta, con, in fondo, un solo annuncio di cinque millimetri, un piccolo annuncio di una sola riga pazza e disperata: «*Un bambino cerca ogni sera il suo papà lontano*».

«*Robustizza pacco pentachilo a 1/2 cedola all'uopata...*».

Ripensai alle bizzarre parole dell'ultima pagina di un «Corriere» di tempi lontani e alla stenodattilo, al lettofamiglia e al termobagno. Ma non risi, e dissi che per me la formula andava bene e che anch'io l'avrei adottata. Poi mi ritirai dal consesso e mi accinsi a riempire di lettere piccole piccole le mie ventiquattro righe.

Scrissi col lapis, sopra la punteggiatura, come vogliono appunto le convenzioni internazionali che tutelano il diritto delle genti:

«Signora, robustizza pacco pentachilo a 1/2 cedola all'uopata evitando medicincarte et infiammabili. Paccami lancorredo, sigartabacco e secca-castagne. Se però credi castagne ben cotte possano giovare al bambino, non inviarle. Non mi manca niente. Di una sola cosa ti prego: che la sera della vigilia di Natale tu imbandisca la tavola nel modo più lieto possibile. Fai schiodare la cassa delle stoviglie e quella della cristalleria; scegli la tovaglia migliore, quella nuovissima piena di ricami; accendi tutte le lampade. E prepara un grosso albero di Natale con tante candeline, e prepara con cura il Presepe vicino alla finestra, come l'anno scorso.

«Signora, io ho bisogno che tu faccia questo. Il mio pensiero ogni notte varca il reticolato: lo so, ti riesce difficile figurarti il mio pensiero che varca il reticolato. Il pensiero è un soffio di niente e non ha volto: e allora figurati che io stesso, ogni notte, esca dal recinto. Figurati un Giovannino leggero come un sogno e trasparente come il vento delle serenissime e gelide notti invernali.

«Io, ogni notte, approfitto del sonno degli altri e mi affido all'aria e trasvolo rapido gli sconfinati silenzi di terre straniere e città sconosciute. Tutto è buio e triste sotto di me, e io affannosamente vado cercando luce e serenità. Rivedo la Madonnina del Duomo, ma le strade e le piazze non sono più quelle di un tempo, e stento a ritrovare il nostro quarto piano.

«Signora, non dire che sono il solito temerario se entro in casa dal tetto: anzi, loda la mia prudenza se non mi avventuro lungo le macerie della scala. E poi il tetto è scoperchiato e si fa più presto. Riconosco lo scheletro delle nostre stanze e ricerco i nostri ricordi nascosti sotto i rottami dei muri crollati. Tutto è buio, freddo e triste anche qui, e soltanto se la luna mi assiste riesco a scoprire sui brandelli delle tappezzerie che ancora pendono alle pareti, i riquadri chiari e la topografia dei nostri mobili.

«Per le strade deserte, cammina soltanto la paura vestita di luna. Su un brano di tappezzeria dell'ex-anticamera vedo un fiorellino. Uno strano fiore nero a cinque petali. Signora, rammenti quando Albertino decorò le nostre stanze con la piccola sciagurata mano intinta nell'inchiostro di China? Inutilmente vado a ricercare vestigia di giorni lieti

fra le pareti dell'ufficio; le pareti non ci sono più, e il grande edificio è un cupo mucchio di cemento annerito dal fumo.

«Fuggo dalla città buia e silenziosa, e rivedo i luoghi dove, zitella, tu mi conoscesti zitello. Ma anche qui è squallida malinconia, e io mi rifugio alla fine nella casupola dove si accatastano i miei ultimi effetti e i miei primi affetti. Tu dormi, Albertino dorme, mia madre, mio padre dormono.

«Tutti dormono, e cercano forse di ritrovare in sogno il mio ignoto, lontano rifugio. I nostri mobili si affollano disordinatamente nelle esigue stanze immerse nell'ombra, e dentro le polverose casse del solaio le parole dei miei libri si sono gelate.

«Signora, io cerco un po' di luce, un po' di tiepida serenità, e invece non trovo che buio e freddo, e non posso ravvisare nel buio il volto di mio figlio, e sui laghi e sulle spiagge tutto è spento e abbandonato, tutto è silenzio, e io rinavigo verso il recinto e torno al mio pagliericcio portando il gelo nelle ossa del numero 6865.

«Signora, bisogna che, almeno la notte di Natale, il mio pensiero, fuggendo dal recinto, possa trovare un angolo tiepido e luminoso in cui sostare. Voglio tanta luce: voglio rivedere il vostro volto, voglio rivedere il volto dell'antica serenità. Altrimenti che gusto c'è a fare il prigioniero?».

Qui ebbi la sensazione che le 24 righe stessero per finire, e mi interruppi. Le righe erano in effetti 138, e io avevo riempito le 24 mie, le 24 della risposta e altri cinque foglietti che stazionavano nei paraggi. Con estrema cura cancellai tutto e ricominciai da capo:

*«Signora, robustizza pacco pentachilo a 1/2 cedola all'uopata evitando medicincarte e infiammabili. Paccami lancorredo e sigartabacco...».*

Poi pensai che probabilmente la censura avrebbe sospettato nel «pacco pentachilo» chissà quale diavoleria esplosiva, e conclusi malinconicamente che, come al solito, quando si deve scrivere a casa non si sa mai cosa dire.

*Dalla conversazione «Natale 1943» — Lager di Beniaminovo  
24 dicembre 1943*

### **Дж. Гварески «Подпольный дневник» (1943 – 1949). Письмо**

Нам дали первый бланк – лист со множеством указаний на немецком языке и пропусками, которые необходимо было заполнить на итальянском. Правая половина этого листа отводилась под ответ: следовало быть очень внимательным, чтобы не перепутать между собой две разные части бланка, и разборчиво писать карандашом поверх пунктирной линии, как предписывают международные нормы.

Нам также выдали по одной двусторонней открытке, снабжённой строгими инструкциями на французском языке. Обратная сторона этого гениального почтового приспособления приклеивалась должным образом на посылку, как полагается по всем правилам, что позволяло ей покинуть пределы Италии и доехать до нашего временного места жительства.

Капитан Н. с нотой волнения в голосе пояснил, что всего должно быть двадцать четыре строки, а капитан К. добавил, что нам предстоит вместить в эти двадцать четыре строки, помимо прочего, ещё и детальные указания по

содержимому посылки – это заметно усложняло ситуацию. «Придётся быть крайне лаконичными», – подытожил капитан М.

Мы добросовестно приступили к делу, периодически сообщая друг другу, каких результатов достигли в наших изысканиях.

Чтобы узнать, как идут дела дома и на работе, капитан Н., хорошенько поразмыслив, выдал находчивую формулировку: «Сбщ делдом и рбт». Вышел настоящий шедевр краткости, что сразу же уравнило заслуги капитана Н. и капитана № 2, который, желая получить в посылке от супруги драповый костюм и шерстяные вещи, предложил свой изящнейший вариант: «Пршл драпкост и шерстодеж».

Мы признали пригодным этот телеграфный стиль и перешли к решению самой сложной задачи: объяснить в письме в нескольких словах, как при помощи отправленного бланка собрать посылку весом пять килограммов таким образом, чтобы там не было бумаги, лекарств, горючих жидкостей, но были, например, сигареты, табак, ячменная паста и пшеничная мука.

Наши долгие труды привели к достойному результату: «Сбр 5кил пслк по ½ блнк без бум, лек и горюч. Плж сигартбк, ячмнкрм и пшнмук...».

Это напомнило мне о газетных колонках с частными объявлениями, написанными на особом жаргоне. Не ради смеха я подумал об этих старых газетных страницах, а, наоборот, с какой-то абсолютно необычной для себя ностальгией. О толстые серые колонки, вы с вашими чудачковатыми словами, будто обрезанными каким-то скупым телеграфистом, рассказывали нам о целомудренных сорокалетних дамах, жаждущих уладить свою личную жизнь с целью замужества; о машинистках, рекламирующих своё мастерство скорописи; о съемных лачугах; о семейных кроватях, ждущих обеспеченных владельцев; о меблированных комнатах с собственной обогреваемой уборной, вожделяющих принять приближенных к власти постояльцев.

О серые колонки, вы вещали нам об автомобилях по спещене, готовых мягко развезжать по асфальтированным дорогам, виляющим вокруг голубых озёр; о револьверных станках, столь томительно ожидаемых в шумных рабочих цехах; о достойнейших агентствах, выгоднейших сделках, честнейших пенсионерах и предложениях о найме. Раньше я не раз смеялся над вашими странными формулировками, а теперь, вспоминая вас в этом заточении, я испытываю лёгкую ностальгию.

О серые страницы, только сейчас я осознаю, что в этой сумасбродной литературе по десять лир за строчку была своя поэзия: пробирающая, энергичная – поэзия работы, ритма жизни. Услышав странные слова, выстроенные искусственно для нашего письма, я вспомнил об этой серой странице частных объявлений и о ныне нарушенном ритме жизни. Сегодня я думаю о белоснежном унылом пустом листе, в конце которого написана только одна строчка, безумная и безнадежная: «Ребёнок каждый вечер ищет своего папу, который далеко».

«Зпк 5кил пслк по ½ блнк». Я снова подумал о замысловатых словах, которые встречал в давние времена на последней странице «Коррьере»<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> «Коррьере делла сера» – одна из старейших итальянских ежедневных газет. – *Прим. пер.*

и о машинистках, семейных кроватях и отапливаемых уборных. Но я не засмеялся и сказал другим, что, на мой взгляд, такая формулировка подходит и я бы сам её использовал. Затем я покинул это важное собрание и принялся заполнять малюсенькими буквами свои двадцать четыре строки. Я писал карандашом поверх пунктирных линий, как и предписывают международные нормы:

«Моя синьора, зпк 5кил пслк по 1/2 блнк без бум, лек и горюч. Зврн шерстодеж, сигартбк и сухкаштн. Но если ты считаешь, что хорошо прожаренные каштаны полезны малышу, не клади их. Мне всего хватает. Прошу тебя лишь об одном: в сочельник накрой настоящий праздничный стол. Попроси вскрыть ящик с посудой и хрусталём; выбери лучшую скатерть – ту новую, с вышивкой; включи все лампочки. Поставь большую ель, увешанную свечками, и не забудь установить вертеп у окна, как в прошлом году.

Моя синьора, мне надо, чтобы ты так сделала. Моя мысль каждую ночь ускользает за решётку – я знаю, тебе сложно представить, как это. Мысль – это дуновение пустоты, у неё нет лица. Так что представь, что это я сам каждую ночь выхожу за этот забор. Представь маленького Джованни, легкого, словно видение, и прозрачного, как ветер во время предельно ясных и морозных зимних ночей.

Каждую ночь я, пока другие спят, доверяю себя воздуху и в стремительном полёте возношусь над бескрайними чужими землями и неизвестными городами. Подо мной – темнота и грусть, и я с трудом пробираюсь в поисках света и спокойствия. Вижу маленькую фигурку Мадонны на крыше главного собора<sup>1</sup>, но улицы и площади больше не похожи на себя прежних – мне трудно отыскать среди них нашу квартиру на пятом этаже.

Моя синьора, не принимай за обычное безрассудство, что я влезаю в квартиру с крыши. Похвали меня лучше за осторожность, ведь я не решаюсь пробираться через то, что осталось от лестницы. И вообще, кровли почти нет, так что так я доберусь быстрее. Узнаю остов наших комнат и ищу запрятанные воспоминания под обломками разрушенных стен. Вокруг темнота, холод и уныние, и только луна позволяет мне различить по клочкам обивки, которая ещё свисает со стены, чёткие следы от рамок и расстановку мебели в наших комнатах.

По безлюдным улицам шагает только страх, одетый в лунный свет. На куске обоев старой прихожей вижу цветочек – причудливый чёрный с пятью лепестками. Синьора моя, помнишь, как Альбертино разукрасил наши стены своей проказливой ручкой, измазанной тушью? Я тщетно пытаюсь разыскать отзвуки тех счастливых дней посреди нашего кабинета. Стен больше нет, и всё большое здание теперь представляет собой тёмную кучу цемента, почерневшую от дыма.

Я убегаю из этого тёмного бесшумного города и попадаю туда, где ты – ещё юная девушка – познакомилась со мной. Однако там тоже царит печальная меланхолия, поэтому я ищу утешения в том жалком домишке, где хранятся мои вещи и живут дорогие мне люди. Ты спишь, Альбертино спит, мои мать с отцом

---

<sup>1</sup> Имеется в виду золотая статуя Мадонны (la Madonnina), венчающая самый высокий шпиль миланского кафедрального собора (Duomo di Milano), – символ и покровительница города. – *Прим. пер.*

тоже спят. Наша мебель беспорядочно загромождает крошечные комнаты, поглощённые тьмой. Внутри пыльных ящиков на чердаке застыли слова в моих книгах.

Моя синьора, я ищу немного света, немного тёплой безмятежности, но не нахожу ничего, кроме темноты и холода. Во мраке я не могу рассмотреть лицо своего сына. Озёра и пляжи опустели и тоже погрузились в темноту. Вокруг безмолвие. Я снова направляюсь к своему забору, ложусь на соломенную подстилку со своими холодными, как лёд, костями под номером 6865.

Моя синьора, пусть хотя бы в рождественскую ночь моя мысль, убежав через забор, найдёт тёплый и светлый угол. Пусть будет много света, чтобы разглядеть ваши лица, увидеть прежнюю безмятежность. Должны же быть у заключенного хоть какие-то радости?».

В этот момент мне показалось, что двадцать четыре строки скоро закончатся, и я прервался. На самом деле получилось сто тридцать восемь строк: я заполнил свои двадцать четыре, двадцать четыре, отведённые под ответ, и ещё пять листов сверх того. Крайне старательно я всё стёр и начал заново: «Синьора моя, зпк 5кил пслк по 1/2 блнк без бум, лек и горюч. Зврн шерстодеж и сигартбк...». Потом я решил, что, вероятно, под «5кил пслк» цензура заподозрит какую угодно взрывчатую чертовщину, и подумал с грустью, что, как обычно, когда надо писать письмо домой, никогда не знаешь, о чём написать.

*Из беседы «Рождество 1943» – лагерь Бенъяминов 24 декабря 1943.*

*Перевод Марии Громыко ([gromyko.maria@gmail.com](mailto:gromyko.maria@gmail.com)), итальяниста, выпускницы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (2016 г.), устного и письменного переводчика. Живет в Санкт-Петербурге. Перевод занял третье место в номинации «итальянская проза» (2018)*

### **Дж. Гварески. Письмо**

Они выдали нам первый бланк для письма. Это был лист с множеством инструкций на немецком и несколькими пустыми строками, оставленными для заполнения на итальянском. Правая половина листа предназначалась для ответа, и нужно было быть предельно внимательным, чтобы не перепутать правую и левую стороны, и писать разборчиво, карандашом по пунктирным линиям, в точности так, как предписывают международные конвенции по защите прав человека.

И еще они выдали нам купон, состоящий из двух частей, со строгими инструкциями на французском, и вторая, отрывная часть этого изобретательного почтового приспособления, наклеенная должным образом на посылку, упакованную в соответствии со всеми правилами, позволила бы этой самой посылке покинуть Италию и отправиться к месту нашего временного обитания.

Капитан Н. выразил обеспокоенность тем, что мы должны уложиться не более, чем в 24 строки. Капитан Ч. добавил, что, если предполагается, что, помимо всего прочего, мы должны вместить в эти 24 строки письма еще и подробные инструкции относительно упаковывания посылок, это сильно

усложняет задачу. «Нужно стремиться к максимальной лаконичности», - подытожил капитан М.

Мы сосредоточенно принялись за дело, сообщая друг другу о результатах наших изысканий по мере их продвижения.

Капитан Н., желая получить новости о том, как обстоят дела домашние и торговые, после недолгих раздумий, выдал первую гениальную формулировку: «Как дом-торг-дела?». Речь шла о виртуозной лаконичности – и в этом капитан Н. мог составить достойную конкуренцию капитану Ч., который, желая, чтобы супруга положила ему в посылку суконный мундир и шерстяной костюм, выразился изящнейшим образом: «Пришли сукмунд и шерстюм».

Мы единодушно пришли к выводу, что самое сложное – объяснить в нескольких словах, как правильно упаковать прочный 5-килограммовый пакет, используя для этого купон для отправки, не кладя в этот пакет бумагу, лекарства, горючие жидкости, и наоборот, позаботившись о том, чтобы в нем были, скажем, сигареты, табак, мука и цикорий.

Это была долгая работа, но результат того стоил: «Упрчни 5кг-пакет с ½ отпркуп. б/лекрств. б/бумг. б/горюч. Пришли сигартабак и цикормук».

И тогда я вспомнил столбцы газетных объявлений и присущий им слог, но не рассмеялся, напротив, думая о тех газетных страницах, я ощутил внезапную ностальгию.

О, серые сплоченные столбцы, причудливыми словами, кажущимися искромсанными скупым телеграфистом, вы сообщали нам о сорокалетних девственницах, стремящихся вступит в отнош-с-персп брака; о скромных квартирках, оснащенных эл-вод-отопл, жаждущих сдатьс госслужащим б/в/п и б/жив. О, серые столбцы, вы рассказывали нам об автомобилях по супервыгодной цене, плавно скользящих по асфальтовым берегам небесно-голубых озер; о токарных станках, нетерпеливо дожидаящихся своего часа в шумных мастерских; вы рассказывали нам о самых надежных агентствах и самых выгодных предложениях; о приличных гостиницах и вакантных должностях. Ваши странные слова всегда вызывали у меня улыбку, но сейчас, вспоминая вас за забором из колючей проволоки, я чувствую легкую ностальгию. О, серые страницы, чудное чтение по десять лир за строку, теперь я понимаю, что в вас жила ваша собственная поэзия, пульсирующая поэзия, мощный ритм – поэзия труда, ритм самой жизни.

Услышав странные слова, придуманные для наших писем, я подумал о серых газетных страницах, и о ритме, который сегодня был прерван. Сегодня у меня перед глазами другая страница, совершенно белая, мертвенно пустынная, с одним-единственным объявлением посередине, крошечным объявлением в одну строку, полную безумия и отчаяния: «Каждый вечер мальчик ждет, когда его папа вернется домой».

«Упрчни 5кг-пакет с ½ отпркуп...».

Я вспомнил причудливые слова последней страницы «Коррьере»<sup>1</sup> далеких

---

<sup>1</sup> Corriere della sera («Вечерний вестник») – ежедневная газета, одна из самых популярных в Италии, издается с 1876 г. – Прим. пер.

времен, вспомнил отнош-с-персп, эл-вод-отопл, б/в/п и б/жив. Но я не рассмеялся, я сказал, что это отличная формулировка, и что я позаимствую ее и для своего письма. Потом я покинул наше собрание и начал заполнять маленькими-премаленькими буквами положенные мне 24 строки. Я писал карандашом, по пунктирным линиям, в точности так, как предписывают международные конвенции по защите прав человека.

«Жена, упрчи 5 кг-пакет с ½ отпркуп. б/лекрств. б/бумг. б/горюч., пришли шерстюм, сигартабак и сушкашт. А впрочем, если ты сочтешь, что жареные каштаны будут полезнее сыну, не отправляй их мне. У меня все есть, я ни в чем не нуждаюсь. Попрошу тебя лишь об одном: вечером накануне Рождества накрой по-настоящему праздничный стол, достань из коробок столовые приборы и хрусталь, выбери лучшую расшитую скатерть. Поставь большущую елку со множеством свечей, и с особой тщательностью позаботься о рождественском вертепе – у окна, как в прошлом году. И зажги свет, зажги его повсюду.

«Милая, мне так нужно, чтобы ты это сделала. Каждую ночь мои мысли прорываются сквозь колючую проволоку, я знаю, тебе сложно себе представить мысль, прорывающуюся сквозь проволоку, мысль – это дуновение пустоты и отсутствие обличия. Но тогда представь, что это я, я сам каждую ночь миную это ограждение, представь Джованнино, невесомого как сновидение и прозрачного как ветер зимних ночей, морозных и ясных.

«Каждую ночь, пока все спят, я отдаюсь воле ветра и стремглав проношусь над чужими землями и незнакомыми городами, бескрайними и безмолвными. Подо мною тьма и тоска, а я отчаянно ищу света и безмятежности. Я вижу статую Девы Марии на шпиле собора, но улицы и площади уже не те, что раньше, и мне с трудом удастся отыскать наш четвертый этаж.

«Милая, я вхожу в дом через крышу, но не называй меня безумцем, напротив, взгляни, как я осторожничаю, не рискуя подниматься по тем руинам, что были когда-то лестницей. И потом, крыша сорвана – и это значительно упрощает дело. Я нахожу лишь скелет, оставшийся от нашего жилища, и я пытаюсь отыскать наши воспоминания, скрытые под обломками рухнувших стен. И здесь все те же тьма, тоска и холод, и только когда луна приходит мне на помощь, я могу разглядеть на лоскутах обоев, свисающих еще кое-где со стен, светлые квадраты – топографию нашей мебели.

«По пустынным улицам бродит лишь страх, облеченный в луну. Я замечаю крохотный цветок на клочке обоев в бывшей прихожей. Странный черный цветок с пятью лепестками. Милая, помнишь, как озорник Альбертино украшал стены наших комнат ладошкой, испачканной китайскими чернилами? Напрасно я ищу следы счастливых дней среди кабинетных стен. Стен больше нет. И на месте громадного здания лишь груда цемента, почерневшего от дыма.

«Я бегу из темного и безмолвного города в те места, где мы встретились совсем еще юными. Но и здесь та же щемящая тоска, и в конце концов я укрываюсь в лачужке, где в беспорядке громоздятся мои последние пожитки и мои первые переживания. Ты спишь, Альбертино спит, спят мои мать и отец.

«Все спят и, быть может, во сне пытаются найти мое неведомое, далекое убежище. Наша мебель свалена как попало в маленьких комнатах, погруженных во тьму, а на чердаке пылятся ящики с моими книгами – и слова в них скованы льдом.

«Милая, я ищу хотя бы немного света, немного тепла и безмятежности, но нахожу лишь тьму и холод, и я не могу разглядеть в этой тьме лица моего сына, а у воды и на побережье все замерло, все в запустении и безмолвии, и я отправляюсь обратно за забор из колючей проволоки, я возвращаюсь на свой соломенный матрас под номером 6865 – и на нем не укрыться от пробирающего до костей холода.

«Милая, мне нужно, чтобы хотя бы в канун Рождества мои мысли, прорвавшиеся сквозь проволоку, могли найти себе пристанище, теплое и светлое. Я хочу, чтобы свет был повсюду: я хочу вновь увидеть твое лицо, я хочу увидеть лицо былой безмятежности. Чего еще желать заключенному?»

Тут у меня возникло ощущение, что мои 24 строки подходят к концу, и я прервался. Оказалось, я заполнил не 24, я заполнил 138 строк: 24, предназначенные мне, 24, предназначенные для ответа, и еще 5 листов, оказавшихся рядом. Очень аккуратно я стер все написанное и начал с самого начала:

«Жена, упрчи 5кг-пакет с ½ отпкуп. б/лекрств. б/бумг. б/горюч., пришли шерстюм и сигартабак...»

Потом я подумал, что цензура наверняка заподозрит в «5кг-пакете» какую-нибудь взрывчатую дрянь, и с грустью заключил, что так каждый раз: соберешься писать домой – и никогда толком не знаешь, что сказать.

*Из беседы «Рождество 1943-го» – Лагерь Бениаминов, 24 декабря 1943.*

*Перевод Натальи Тик ([tiknataly@yandex.ru](mailto:tiknataly@yandex.ru)), выпускницы магистратуры филологического факультета Томского государственного университета по специальности «Итальянский язык и зарубежная литература». В настоящее время продолжает обучение в аспирантуре ТГУ, исследует итальянскую рецептивно-переводную историю романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Перевод занял третье место в номинации «итальянская проза» (2018)*

### **Отрывок из книги Джованнино Гварески (1908-1968) «Подпольный дневник» (1943-1949). «Письмо»**

Нам выдали бланк для письма: это был листок, густо покрытый многочисленными инструкциями на немецком; немного свободного места было оставлено для заполнения по-итальянски. Правая половина листка предназначалась для ответа; нужно было внимательно следить, чтобы не перепутать поля и писать карандашом, отчётливо, строго поверх строчек, обозначенных пунктиром – в точности как этого требуют международные соглашения, регулирующие права человека.

В придачу нам дали открытку-извещение, сложенную вдвое и снабжённую строгими инструкциями на французском; вторая часть этого хитроумного почтового приспособления, надлежащим образом приклеенная на упакованную

по всем правилам посылку, должна была позволить вышеозначенной посылке покинуть пределы Италии и отправиться к месту нашего временного размещения.

Капитан Н. выразил свою озабоченность тем фактом, что для письма предоставлялось лишь 24 строчки, а капитан Ч. добавил, что если предполагается, что, помимо всего прочего, в эти 24 строчки мы должны вместить подробные инструкции относительно посылок, то дело сразу принимает весьма серьёзный оборот. «Придётся добиваться максимальной сжатости», резюмировал капитан М.

Мы со всем усердием взялись за работу, делясь по ходу друг с другом результатами личных достижений.

Капитан Н., желая получить весточку о том, как идут дела дома и в семейном бизнесе, после некоторого размышления разрешился первой замысловатой формулировкой: «Извести какдедо и какдеби». Это было виртуозно по сжатости, и капитан Н. по достоинству разделил лавры с капитаном Ч. – тот, чтобы попросить супругу положить в посылку форму из сукна и комплект шерстяного белья, предложил изящнейшее: «Шли сукодежду и шеркомплект».

Мы выразили своё одобрение и обратились к рассмотрению более сложной проблемы: в нескольких словах объяснить, как нужно прочно упаковать посылку в 5 килограмм, обязательно приклеив на неё посылаемое извещение и следя за тем, чтобы среди содержимого не оказались бумаги, лекарства, горючие жидкости, но позаботившись, чтобы туда попали, к примеру, сигареты, рассыпной табак, ячменный кофе и пшеничная мука.

Это был долгий труд, вознаграждённый, однако, достойным результатом:

«Прочнопакуйте посылку пять кило и 1/2 открытки, никаких бумалекарств и горючих. Шлите сигартабак, ячмкофе, пшенмуку...».

В тот момент в моей памяти всплыли столбцы строчных объявлений и их особый язык, но я не засмеялся; более того, мысль о старых газетных страницах наполнила меня какой-то новой нежностью. О серые столбцы с тесными рядами букв, вы – с вашими причудливыми словами, будто вырезанными ножницами рукой скряги-телеграфиста – вы повествовали нам о сорокалетних девицах, желающих вступить в отношения с целью брака; о курсах усовершенствования для машинисток; о скромных квартирках внаём; о двухспальных кроватях, жаждущих обрести постоянных владельцев; о меблированных комнатах с центральным отоплением – мечте мелкого чиновника. О серые столбцы, вы рассказывали нам о суперскидках на автомобили, готовые мягко качать вас на асфальте дорожек, вьющихся вокруг голубых озёр; о станках, застоявшихся без работы в гулких мастерских; вы рассказывали о надёжнейших агентствах; о выгоднейших предложениях; о порядочных пенсионерах, о вакансиях. И я, вспоминая о вас за колючей проволокой, после того как в течение стольких лет подсмеивался над вашими странными словами, испытываю щемящую нежность.

О серые страницы, нелепая литература по десять лир за строчку, теперь я вижу, что в вас была поэзия. Поэзия, наполненная гулом, могучим ритмом: поэзия труда, ритм жизни.

Слыша эти невероятные слова, составленные для наших писем, я вспомнил о серой газетной странице строчных объявлений и о ритме, который теперь

сбился. Сейчас я представляю себе страницу белоснежную, угрюмо пустую, на которой виднеется лишь одно объявление шрифтом пять миллиметров – маленькое объявление в одну отчаянную бредовую строчку: «Мальчик каждый вечер ищет своего папу, пропадающего невесть где».

«Прочнопакуй посылку посылку пять кило и 1/2 открытки ...».

Я вспомнил нелепые слова с последней страницы «Вечерней газеты» давних времён, вспомнил о машинистках, двуспальных кроватях и центральном отоплении. Но я не засмеялся, я сказал, что лично мне такая формулировка нравится, и я тоже ей воспользуюсь. После чего я удалился с совещания и принялся заполнять крошечными буквами мои 24 строчки. Я писал карандашом, поверх пунктирной линии - в точности как этого требуют международные соглашения, регулирующие права человека:

«Супруга моя, прочнопакуй посылку посылку пять кило и 1/2 открытки, никаких бумалекарств и горючих. Шли шеркомплект, сигартабак и сушкештаны. Хотя, если ты полагаешь, что хорошенько пропечённые каштаны будут полезны мальчику, не высылай их. У меня всего хватает. Об одном прошу тебя: чтобы вечером на Рождество ты накрыла праздничный стол, и убрала его как можно наряднее. Попроси распаковать ящики с посудой и хрусталём; выбери самую красивую скатерть - ту новую, всю вышитую; зажги все светильники. И поставь большую ёлку, чтобы на ней было много-много свечек, и не забудь поставить у окна рождественский вертеп, как в прошлом году.

«Супруга моя, мне необходимо, чтобы ты это сделала. Мои мысли каждую ночь пробираются за колючую проволоку: знаю, тебе трудно это представить – как это мысли могут пробраться за колючую проволоку. Мысли – это ничтожное дуновение, у них нет лица: тогда представь, что я сам каждую ночь перелезаю через проволочное ограждение. Представь себе Джованнино – невесомого как сон и прозрачного как ветер в ясные и морозные зимние ночи.

«Каждую ночь, пока другие спят, я поднимаюсь в воздух и лечу, стремительно преодолевая безбрежное молчание чужих стран и незнакомых городов. Внизу подо мной всё темно и печально, и я лихорадочно лечу в поисках света и радости. Я различаю фигурку Мадонны на шпиле Миланского собора, но не узнаю улиц и площадей, они изменились, и я с трудом отыскиваю наше окно на пятом этаже.

«Супруга моя, не говори, что я, как всегда, безрассуден, если я прихожу домой через крышу: наоборот, похвали мою осторожность: ведь я не рискую, пробираясь через груды обломков на лестнице. К тому же, крыша вся обрушилась, так получается гораздо быстрее. Я нахожу наши комнаты – от них остался лишь остов – и ищу наши воспоминания, прячущиеся под развалинами рухнувших стен. Здесь тоже всё темно, холодно и печально, и только когда луна приходит мне на помощь, мне удаётся различить светлые квадраты на обрывках обоев, кое-где оставшихся на стенах, и расположение нашей обстановки.

«На пустынных улицах гуляет лишь страх, окутанный светом луны. На лоскуте обоев в бывшей прихожей я вижу маленький цветок. Станный чёрный цветок из пяти лепестков. Супруга моя, ты помнишь, когда Альбертино

разукрасил наши комнаты своей маленькой зловредной ручкой, обмакнув её перед тем в чернильницу? Тщетно отправляюсь я на службу в поисках того, что может напомнить о прежних радостных днях, проведённых в стенах кабинета; стен больше нет, а внушительное учреждение – это тёмная груда почерневшего от дыма цемента.

Я спасаюсь бегством из тёмного, объятого молчанием города, и переношусь в места, где ты, совсем юная, встретила со мной, юным. Но и здесь царят печаль и тоска, и в конце концов я нахожу убежище в маленьком домике, где в тесном соседстве ютятся те, кто дарил мне радость в первые и последние годы моей жизни. Ты спишь, спит Альбертино, спят мои отец с матерью.

«Все спят, и, быть может, во сне стараются отыскать то неведомое далёкое место, где я скрываюсь. Мебель наша беспорядочно загромождает тесные комнатки, погружённые во тьму, и в пыльных сундуках на чердаке слова на страницах моих книг оцепенели, скованные льдом.

«Супруга моя, я ищу хоть немного света, немного слабого ласкового огня, а нахожу лишь темноту и холод, и не могу различить в темноте лицо моего сына; вдоль берегов, на озёрах, всё заброшено, всё покрыто тьмой и молчанием, и я вновь держу путь за колючее ограждение и бросаю на соломенный тюфяк свои заледеневшие кости под номером 6865.

«Супруга моя, нужно, чтобы хотя бы в ночь на Рождество мысли мои, вырвавшись из-за колючей проволоки, нашли тёплое и светлое пристанище, где они смогут отдохнуть. Я хочу, чтобы было много света: хочу видеть ваши лица, хочу вновь увидеть былую безмятежность. А иначе в чём соль жизни пленника?»

Тут мне показалось, что 24 строчки заканчиваются, и я прервался. На самом деле строчек было 138 – я заполнил свои 24 строчки, 24 строчки ответа и ещё другие пять бланков, валявшихся под рукой. Я тщательным образом стёр всё написанное и начал заново:

«Супруга моя, прочнопакуй посылку пять кило и 1/2 открытки, никаких бумалекарств и горючих. Шли шеркомплект и сигартабак...»

Потом я подумал, что цензура, вероятно, заподозрит в «посылке пять кило» чёрт знает какую взрывчатую штуковину, и меланхолично заключил, что, как водится, когда надо писать домой – никогда не знаешь, о чём говорить.

Из беседы «Рождество 1943» –  
Лагерь для военнопленных Бениаминово  
24 декабря 1943

*Перевод Полины Дроздовой (Набоковой, [marmotte@bk.ru](mailto:marmotte@bk.ru)), выпускницы магистратуры филологического факультета СПбГУ по программе "Инновационные технологии перевода", сейчас аспирантки. Несмотря на все инновации и новые технологии нашего времени, отдаёт предпочтение литературному переводу в его классическом понимании и очень надеется со временем стать не начинающим, а настоящим и достойным переводчиком художественной литературы.*

Переводы Ольги Комаровой (второе место, 2018) и Дмитрия Войницкого (третье место, 2018) опубликованы в альманахе «Отражения. Выпуск 8/9», на стр. 132-134 и 117-120 соответственно (можно прочитать по ссылке: <http://pushkinskiydom.ru/wp-content/uploads/2019/09/Otrazheniya.pdf>)

## **И. Силлоне (Секондино Гранквилли, 1900–1978). Отрывок из романа «Фонтамара» (1933)**

Fontamara somiglia dunque, per molti lati, a ogni villaggio meridionale il quale sia un po' fuori mano, tra il piano e la montagna, fuori delle vie del traffico, quindi un po' più arretrato e misero e abbandonato degli altri. Ma Fontamara ha pure aspetti particolari. Allo stesso modo, i contadini poveri, gli uomini che fanno fruttificare la terra e soffrono la fame, i fellahin i coolies i peones i mugic i cafoni, si somigliano in tutti i paesi del mondo; sono, sulla faccia della terra, nazione a sé, razza a sé, chiesa a sé; eppure non si sono ancora visti due poveri in tutto identici.

A chi sale a Fontamara dal piano del Fucino il villaggio appare disposto sul fianco della montagna grigia brulla e arida come su una gradinata. Dal piano sono ben visibili le porte e le finestre della maggior parte delle case: un centinaio di casucce quasi tutte a un piano, irregolari, informi, annerite dal tempo e sgretolate dal vento, dalla pioggia, dagli incendi, coi tetti malcoperti da tegole e rottami d'ogni sorta.

La maggior parte di quelle catapecchie non hanno che un'apertura che serve da porta, da finestra e da camino. Nell'interno, per lo più senza pavimento, con i muri a secco, abitano, dormono, mangiano, procreano, talvolta nello stesso vano, gli uomini, le donne, i loro figli, le capre, le galline, i porci, gli asini.

Fanno eccezione una decina di case di piccoli proprietari e un antico palazzo ora disabitato, quasi cadente. La parte superiore di Fontamara è dominata dalla chiesa col campanile e da una piazzetta a terrazzo, alla quale si arriva per una via ripida che attraversa l'intero abitato, e che è l'unica via dove possano transitare i carri. Ai fianchi di questa sono stretti vicoli laterali, per lo più a scale, scoscesi, brevi, coi tetti delle case che quasi si toccano e lasciano appena scorgere il cielo.

A chi guarda Fontamara da lontano, dal Feudo del Fucino, l'abitato sembra un gregge di pecore scure e il campanile un pastore. Un villaggio insomma come tanti altri; ma per chi vi nasce e cresce, il cosmo. L'intera storia universale vi si svolge: nascite morti amori odii invidie lotte disperazioni.

Altro su Fontamara non vi sarebbe da dire, se non fossero accaduti gli strani fatti che sto per raccontare. Ho vissuto in quella contrada i primi vent'anni della mia vita e altro non saprei dirvi.

Per vent'anni il solito cielo, circoscritto dall'anfiteatro delle montagne che serrano il Feudo come una barriera senza uscita; per vent'anni la solita terra, le solite piogge, il solito vento, la solita neve, le solite feste, i soliti cibi, le solite angustie, le solite pene, la solita miseria: la miseria ricevuta dai padri, che l'avevano ereditata dai nonni, e contro la quale il lavoro onesto non è mai servito proprio a niente. Le ingiustizie più crudeli vi erano così antiche da aver acquistato la stessa naturalezza della pioggia, del vento, della neve. La vita degli uomini, delle bestie e della terra sembrava

così racchiusa in un cerchio immobile saldato dalla chiusa morsa delle montagne e dalle vicende del tempo. Saldato in un cerchio naturale, immutabile, come in una specie di ergastolo.

Prima veniva la semina, poi l'insolfatura, poi la mietitura, poi la vendemmia. E poi? Poi da capo. La semina, la sarchiatura, la potatura, l'insolfatura, la mietitura, la vendemmia. Sempre la stessa canzone, lo stesso ritornello. Sempre. Gli anni passavano, gli anni si accumulavano, i giovani diventavano vecchi, i vecchi morivano, e si seminava, si sarchiava, si insolfava, si mieteva, si vendemmiava. E poi ancora? Di nuovo da capo. Ogni anno come l'anno precedente, ogni stagione come la stagione precedente. Ogni generazione come la generazione precedente. Nessuno a Fontamara ha mai pensato che quell'antico modo di vivere potesse cambiare.

La scala sociale non conosce a Fontamara che due pioli: la condizione dei cafoni, raso terra, e, un pochino più su, quella dei piccoli proprietari. Su questi due pioli si spartiscono anche gli artigiani: un pochino più su i meno poveri, quelli che hanno una botteguccia e qualche rudimentale utensile; per strada, gli altri. Durante varie generazioni i cafoni, i braccianti, i manovali, gli artigiani poveri si piegano a sforzi, a privazioni, a sacrifici inauditi per salire quel gradino infimo della scala sociale; ma raramente vi riescono. La consacrazione dei fortunati è il matrimonio con una figlia di piccoli proprietari. Ma se si tiene conto che vi sono terre attorno a Fontamara dove chi semina un quintale di grano, talvolta non ne raccoglie che un quintale, si capisce come non sia raro che dalla condizione di piccolo proprietario, penosamente raggiunta, si ricada in quella del cafone.

(Io so bene che il nome di cafone, nel linguaggio corrente del mio paese, sia della campagna che della città, è ora termine di offesa e dileggio: ma io l'adopero in questo libro nella certezza che quando nel mio paese il dolore non sarà più vergogna, esso diventerà nome di rispetto, e forse anche di onore.) I più fortunati tra i cafoni di Fontamara possiedono un asino, talvolta un mulo. Arrivati all'autunno, dopo aver pagato a stento i debiti dell'anno precedente, essi devono cercare in prestito quel poco di patate, di fagioli, di cipolle, di farina di granoturco, che serva per non morire di fame durante l'inverno. La maggior parte di essi trascinano così la vita come una pesante catena di piccoli debiti per sfamarsi e di fatiche estenuanti per pagarli. Quando il raccolto è eccezionalmente buono e frutta guadagni imprevisti, questi servono regolarmente per le liti. Perché bisogna sapere che a Fontamara non vi sono due famiglie che non siano parenti; nei villaggi di montagna, in genere, tutti finiscono con l'essere parenti; tutte le famiglie, anche le più povere, hanno interessi da spartire tra di loro, e in mancanza di beni hanno da spartirsi la miseria; a Fontamara perciò non c'è famiglia che non abbia qualche lite pendente. La lite, si sa, sonnacchia negli anni magri, ma s'inasprisce di repente appena c'è qualche soldo da dare all'avvocato. E sono sempre le stesse liti, interminabili liti, che si tramandano di generazione in generazione in processi interminabili, in spese interminabili, in rancori sordi, inestinguibili, per stabilire a chi appartiene un cespuglio di spine. Il cespuglio brucia, ma si continua a litigare, con livore più acceso. Non vi sono mai state vie di uscita. Mettere da parte, in quei tempi, venti soldi al mese, trenta soldi al mese, d'estate magari cento soldi al mese, questo poteva fare, di risparmiato, una trentina di lire in autunno. Esse se ne andavano

subito: per gl'interessi di qualche cambiale, oppure per l'avvocato, oppure per il prete, oppure per il farmacista. E si ricominciava da capo, nella primavera seguente. Venti soldi, trenta soldi, cento soldi al mese. Poi di nuovo da capo.

### **Иньяцио Силоне. Фонтамара (отрывок)**

Так вот, Фонтамара во многом походит на все южные деревушки: она затеряна в глуши, где горы сходят в равнину, вдали от больших дорог, а потому даже для южного селенья на редкость отсталая, запущенная и одичалая. Но есть у Фонтамары и свои яркие черты. Точно так же, как похожи по всему миру бедняки, будь то батраки, мужики, пеоны, феллахины или колоны — одинаково привыкли они трудиться на земле и сносить голод, это особая нация, особая каста, особая вера, но при этом не встречалось ещё на свете двух бедняков, одинаковых во всём.

Если подниматься к Фонтамаре со стороны долины Фучино, открывается вид на безжизненную серую скалу, деревня ютится на склоне, как на каменной лестнице. На равнину выходят двери и окна большей части домов: сотня лачуг, почти все одноэтажные, разномастные, покосившиеся, почерневшие от времени и пережитых пожаров, продуваемые всеми ветрами и омываемые дождями, крытые чем придется — то черепицей, а то и вовсе хламом.

У большинства из них всего один проём, служащий и окном, и дверью, и печной трубой. Внутри — земляной пол и голые каменные стены. Там бок о бок живут, спят, едят и производят потомство, часто на одной и той же циновке, мужчины, женщины, их дети, козы, куры, свиньи и ослы.

Отличается от прочих лишь дюжина домов, где живут мелкие землевладельцы, да развалины бывшего замка, что давно стоят бесхозными. Над всем высится церковь с колокольной и небольшой выступающей над скалой площадкой. Она почти на самой вершине, взобраться туда можно по круто уходящей вверх улочке, единственной в деревне, где проходит телега. Эта улица тянется через весь посёлок, а по обе стороны от неё сбегают коротенькие переулки с выщербленными ступеньками да жмутся друг к другу дома, перекрывая крышами небо.

Если смотреть на Фонтамару издалека, от поместья Фучино, то деревня напоминает отару — тёмные овечки сбились в кучу вокруг пастуха-колокольни. Словом, Фонтамара похожа на все южные селенья, но для местных жителей это целый мир. Она вмещает всю историю человечества: здесь рождаются, умирают, любят, ненавидят, враждуют, борются за счастье, отчаиваются.

И больше мне нечего было бы поведать вам о Фонтамаре, если б не те странные события, о которых я и собираюсь рассказать. Больше здесь никогда ничего не случилось, а я провёл в этих краях первые двадцать лет своей жизни.

Двадцать лет под одним и тем же небом, в окружении тех же гор, которые берут эти земли в кольцо, не оставляя выхода. Двадцать лет на всё той же земле, под теми же дождями, теми же ветрами, тем же снегом, с теми же праздниками, той же едой, теми же невзгодами, теми же заботами, той же нуждой: её передали

нам отцы, а им — их отцы, и нужду эту не одолеть честным трудом. Самая лютая несправедливость в Фонтамаре уходит корнями в такую древность, что её сносят как должное, как сносят дождь, ветер или снег. Люди, и скот, и сама земля здесь обречены жить в замкнутом круге, отделённом от мира горной грядой и скованном тисками времени. Жизненный цикл в этих краях неумолим, как каторга, и продиктован самой природой.

Сперва идёт посевная страда, потом окушивание виноградников, потом жатва, потом сбор винограда. А потом? А потом всё сначала. Посев, прополка, обрезка, окушивание, жатва, сбор винограда. Одна и та же шарманка, один и тот же мотив от века. Так было всегда. Шли годы, десятилетия, молодёжь старела, старики умирали, но жители всё так же сеяли, пололи, удобряли, жали и собирали. А что потом? Опять сизнова. Из года в год, от сезона к сезону, из поколения в поколение. В Фонтамаре никто и помыслить не мог, что навсегда заведённый уклад можно нарушить.

У социальной лестницы в Фонтамаре лишь две ступени: у самой земли сидят голодранцы, а чуть повыше уютятся мелкие землевладельцы. Ремесленники делят те же ступени: чуть повыше — менее бедные, те, у кого есть своя лавчонка и какой-никакой инструмент; остальным остаётся болтаться у них под ногами. Из поколения в поколение бедняки, батраки, работяги и кустари гнут спины, отказывают себе во всём и из кожи вон лезут, чтобы преодолеть нижнюю ступеньку социальной лестницы, но мало кто в этом преуспевает. Редкая удача в наших краях — брак с дочерью мелких землевладельцев. Но поскольку земля в Фонтамаре такая, что за посеянный центнер зерна воздаёт порой тем же центнером, неудивительно, что даже с таким трудом завоёванной ниши легко скатиться обратно в голодранцы.

(Я понимаю, что слово «голодранец» в современном языке звучит презрительно и служит оскорблением, что в деревне, что в городе, но я специально употребляю его в этой книге, надеясь, что когда у меня на родине нужду перестанут вменять в вину, это слово будут произносить без пренебрежения, а то и с уважением).

Удел счастливых — стать владельцем мула или осла. Дотянув до осени и с трудом расплатившись с долгами за прошлый год, голодранцы ищут, где бы раздобыть хоть немного картошки, бобов, лука и кукурузной муки, чтобы пережить зиму. Так и влачат они существование, подобно тяжкой цепи из мелких долгов, чтобы прокормиться, и изнурительных трудов, чтобы расплатиться. Когда урожай удаётся на славу и у жителей появляются неожиданные деньги, часть неизменно уходит на тяжбы. Надо сказать, что нет в Фонтамаре семей, не связанных родственными узами, в горных деревушках за долгий срок все так или иначе успевают породниться, и возьми любые две семьи, даже самые бедные, — хоть что-то они да не поделили. Когда делить совсем нечего, люди делят невзгоды; а потому Фонтамару вечно раздирают распри. Тяжбы — вещь такая, в голодный год о них не вспоминают, но стоит завестись деньгам, которые можно отнести в суд, тут же всплывают старые счета. Мотивы не меняются испокон веку, их передают от отца к сыну вечным наследством, вечным убытком,

непримиримыми глухими обидами. Соседи могут бесконечно делить колючий куст у забора, куст сгорит, но обида не угаснет, только пуще разгорится. Конца и края этому нет. Если в иные времена и получалось откладывать по двадцать-тридцать сольдо в месяц, летом порой до ста сольдо в месяц, к осени набегала пара десятков лир, то расходились эти деньги мгновенно: ростовщику, адвокату, священнику, аптекарю... И следующей весной всё начиналось по новой. Снова двадцать сольдо, тридцать сольдо, сто сольдо в месяц... И вновь на круги своя.

*Перевод Ольги Комаровой (olya34@mail.ru). Окончила Воронежскую государственную лесотехническую академию и Воронежский государственный университет (факультет романо-германской филологии). Научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии. Переводит с английского, итальянского, испанского. Многократная победительница конкурса им. Э. Л. Линецкой. Данный перевод занял второе место в номинации «итальянская проза» (2019)*

### **Иньяцио Силоне. Фонтамара (отрывок)**

Вообще Фонтамара мало чем отличается от любой другой деревни итальянского Юга, разве что, расположившись несколько в стороне, между горой и равниной, вдалеке от больших дорог, она является и несколько более отсталой, бедной и заброшенной, чем другие деревни. Но есть в Фонтамаре и нечто особенное. Точно так же похожи друг на друга в любой стране мира бедные крестьяне, сельские жители, которые возделывают землю и еле сводят концы с концами – феллахи, кули, пеоны, мужики, голодранцы от сохи. Они составляют на нашей планете отдельный народ, отдельную кровь, отдельную религию. И всё же не найдёшь двух бедняков совершенно одинаковых.

Тому, кто поднимается к Фонтамаре со стороны равнины Фучино кажется, что деревня разместилась на сером уступе безлесной и безводной горы, будто на ступеньке. С равнины можно ясно различить двери и окна большинства домов – сотни домишек, почти сплошь одноэтажных, бесформенных, покосившихся, почерневших от времени и полуразрушенных дождём, ветром, случавшимися пожарами, с крышами, кое-как покрытыми черепицей и всякими обломками.

У большинства из этих хибар только один проём, который служит и дверью, и окном, и печным дымоходом. В такой хибаре, где внутри, как правило, нет пола и голые каменные стены, люди живут, спят, едят, производят потомство, и всё это зачастую в одном помещении, где собираются мужчины и женщины, их дети, козы, куры, свиньи и ослы.

Исключение составляет десяток домов мелких землевладельцев да старинный особняк, заброшенный и почти полностью обвалившийся. Над верхней частью Фонтамары возвышается церковь с колокольной и небольшая площадь в виде террасы. Туда поднимаются по крутой улице, которая ведёт через всю жилую часть деревни: это единственная улица, где могут проехать повозки. С обеих сторон к ней подступают узкие боковые проулки, почти все ступенчатые, крутые и короткие, где за крышами домов, до которых, кажется, можно достать рукой, едва различаешь небо.

Тому, кто смотрит на Фонтамару издали, с равнины Фучино, жилые дома представляются в виде стада тёмных овец с пастухом – колокольней. В общем, такая же деревня, как и множество других деревень; но для тех, кто в ней родился и вырос – это целый мир. Здесь перед глазами проходит вся мировая история: история рождения, смерти, любви, ненависти, зависти, борьбы, разочарований.

Было бы трудно добавить ещё что-нибудь о Фонтамаре, если бы здесь не произошли события, о которых я и хочу рассказать. Я прожил в этом селении мои первые двадцать лет, и никакой другой жизни я не знаю.

Двадцать лет я видел одно и то же небо высоко над громадами гор, плотным кольцом окружающих равнину Фучино, не оставляя выхода. Двадцать лет я видел ту же землю, тот же дождь, тот же ветер, тот же снег, те же праздники, ту же снедь на столе, ту же нужду и те же горести, ту же ужасающую нищету. Эта нищета передавалась по наследству от отцов, а те, в свою очередь, получали её от дедов, и никаким честным трудом не удавалось её победить. Случаи самой жестокой несправедливости встречались здесь издавна и стали столь же привычными, как и дождь, ветер или снег. Жизнь людей и животных на этой земле, казалось, обречена идти по замкнутому кругу, ограниченному кольцом гор и цикличностью времени. Ограниченному естественным кругом забот, неизменным, как на пожизненной каторге.

Сначала наступала пора посевных работ, затем окуливание серой, жатва и сбор винограда. А потом? А потом всё заново. Сеяние, прополка, прореживание, окуливание, жатва, сбор винограда. Всегда одна и та же песня, один и тот же заунывный мотив. Всегда. Годы шли и шли, прибавлялись и прибавлялись, юноши становились стариками, старики умирали, а на земле всё так же сеяли, пололи, окуливали, жали и собирали виноград. А что потом? А потом опять всё сначала. Каждый год похож на предыдущий, каждая весна или осень похожи на предыдущие весну или осень. Каждое поколение похоже на предыдущее поколение. Никому в Фонтамаре и в голову не приходило, что этот вековой уклад жизни может измениться.

Социальная лестница состоит в Фонтамаре всего из двух ступеней: нижнюю, у сохи, занимает крестьянская беднота, голодранцы; чуть повыше – мелкие землевладельцы. На эти же две ступени делятся и ремесленники: чуть повыше – те, кто едва выбился из нищеты, у кого есть своя лавчонка и кой-какой инструмент; внизу, в грязи – все остальные. Из поколения в поколение голодранцы, батраки, разнорабочие, бедные ремесленники надрываются изо всех сил, терпят лишения и приносят неслыханные жертвы, чтобы преодолеть эту ничтожную ступеньку социальной лестницы. Удаётся же им это крайне редко. Тем, кому повезло, пропуском наверх становится брак с дочерью мелкого землевладельца. Но если учесть, что возле Фонтамары встречаются такие земли, где, посеяв квинталь зерна, бывает, больше квинтала и не соберёшь, то станет ясно, что вовсе не редки случаи, когда, с трудом достигнув положения мелкого землевладельца, человек вновь становится голодранцем.

(Я прекрасно знаю, что слово "голодранец" на современном языке моей страны – как в деревне, так и в городе – превратилось в выражение оскорбления и

насмешки: но я использую его в этой книге, веря, что в тот день, когда людские горести в моей стране перестанут быть чем-то постыдным, это слово станет выражением уважения, а может быть, и почитания.) У тех из голодранцев Фонтамары, кому повезло больше, есть осёл, иногда мул. С приходом осени, с трудом рассчитавшись с долгами за прошлый год, они вынуждены просить займы хоть немного картофеля, фасоли, лука, кукурузной муки, чтобы не умереть с голоду зимой. Жизнь большей части из них волочится как тяжёлая цепь, состоящая из мелких займов, чтобы утолить голод, и изнурительного труда, чтобы покрыть эти займы. Когда урожай на редкость хорош и приносит непредвиденные доходы, они все уходят обыкновенно на судебные тяжбы. Поскольку следует знать, что в Фонтамаре не найдёшь и двух семей, которые не состояли бы в родстве: в отдалённых горных деревнях, как правило, все становятся родственниками. Всем этим семьям, даже самым бедным из них, есть что делить между собой, и когда нет богатства – они делят бедность. Вот почему в Фонтамаре нет семьи, где не велась бы какая-то тяжба. Эта тяжба, понятное дело, замирает в худые годы, но тут же ожесточается, как только появляется лишняя сольдо на адвоката. И всегда это одни и те же тяжбы - бесконечные тяжбы, передающиеся из поколения в поколение в виде бесконечных процессов, бесконечных судебных трат, затаённых, тлеющих обид; и всё, чтобы установить, кому принадлежит куст терновника. Куст гибнет в пожаре, но тяжба продолжается со всё больше разгорающейся злобой. Ещё никому не удавалось уйти от этой жизни. Да, откладывать деньги получалось и в те времена – двадцать сольдо в месяц, тридцать сольдо в месяц, летом, может, и сотню сольдо в месяц. К осени можно было накопить лир тридцать. Но они тут же уходили: на проценты по векселям, или же адвокату, или священнику или аптекарю. И следующей весной начиналось всё сначала. Двадцать сольдо, тридцать сольдо, сто сольдо в месяц. Потом снова всё сначала.

*Перевод Полины Дроздовой (Лины Набоковой, [marmotte@bk.ru](mailto:marmotte@bk.ru)), выпускницы магистратуры филологического факультета СПбГУ по программе "Инновационные технологии перевода", сейчас аспирантки. Несмотря на все инновации и новые технологии нашего времени, отдаёт предпочтение литературному переводу в его классическом понимании и очень надеется со временем стать не начинающим, а настоящим и достойным переводчиком художественной литературы. Перевод занял второе место в номинации «итальянская проза» (2019)*

### **Игнацио Силлоне. Фонтамара (отрывок)**

Итак, Фонтамара во многом напоминает любую из южных деревень, расположенных между равниной и горным склоном, и потому оторванных от дорог и магистралей, а значит, чуть более отсталую, бедную и запущенную, чем остальные. И все-таки в Фонтамаре есть свои особенности. Так же и бедные крестьяне – люди, которые, возделывая землю, страдают от голода: феллахи, кули, пеоны, мужики, — похожи друг на друга во всех странах мира; на земле они сами себе нация, раса и церковь; тем не менее, не встречалось еще двух абсолютно одинаковых бедняков.

Если подниматься в Фонтамару с долины Фучино, деревня появляется на склоне серой, сухой и голой, как трибуна амфитеатра, горы. С равнины можно увидеть двери и окна большей части зданий – сотни домишек, в основном одноэтажных, неровных, разрушенных, потемневших от времени и покосившихся от ветров, дождей и пожаров, с прохудившимися крышами из черепицы и всевозможного лома.

У большинства этих лачуг есть только проем в стене, который служит и дверью, и окном, и дымоходом. Внутри, на голом полу и в голых стенах живут, спят, едят, размножаются – порой в одном помещении – мужчины, женщины, их дети, козы, куры, свиньи, ослы.

Исключение составляют лишь десяток домов мелких собственников да опустевший, почти развалившийся старинный особняк. В верхней части Фонтамары выделяется церковь с колокольней и небольшая площадь с террасой, куда через жилой квартал ведет крутая дорога – единственная, по которой могут проехать телеги. От нее расходятся узкие боковые переулки, чаще всего с короткими отвесными лестницами, почти сросшимися крышами домов, между которыми едва различимо небо.

Если смотреть на Фонтамару издали, с долины Фучино, жилища напоминают стадо темных овец, а колокольня – пастуха. Деревня, по сути, такая же, как остальные; но для тех, кто в ней рождается и растет, – целая вселенная. Там происходит всеобщая история: рождение, смерть, любовь, ненависть, зависть, вражда, отчаяние.

Больше о Фонтамаре сказать было бы нечего, если бы не те странные события, которыми я собираюсь поделиться. Я жил в этих краях первые двадцать лет своей жизни и не знаю, что еще мог бы о ней поведать.

Двадцать лет обыкновенного неба, ограниченного амфитеатром гор, ограждавших долину сплошным барьером; двадцать лет обыкновенной земли, обыкновенных дождей, обыкновенного ветра, обыкновенного снега, обыкновенных выходных, обыкновенной пищи, обыкновенных лишений, обыкновенных страданий, обыкновенной бедности; бедности, доставшейся от отцов, в свою очередь унаследованной ими от дедов, против которой честный труд никогда ничего не решал. Самая жестокая несправедливость появилась здесь так давно, что казалась такой же естественной, как дождь, ветер или снег. Жизнь людей, животных и земли казалась заключенной в неподвижный замкнутый круг, зажатый временным циклом и тисками горного массива. Круг, естественный и неизменный, как вечное заточение.

Сначала приходило время посева, затем – удобрения, затем – урожая, затем – сбора винограда. А затем по новой. Посев, прополка, обрезка, обработка, сбор урожая, сбор винограда. Всегда одинаковая песня, одинаковый припев. Всегда. Годы проходили, годы скапливались, молодые старели, старые умирали, и сеяли, пололи, обрабатывали, собирали урожай и виноград. А что потом? Опять по новой. Каждый год такой же, как предыдущий, каждое время года, как предыдущее. Каждое поколение, как предыдущее. Никто в Фонтамаре никогда не думал, что этот архаический образ жизни мог бы измениться.

Социальная лестница в Фонтамаре состоит всего из двух ступеней: на нижней крестьяне, чуть выше – мелкие частные собственники. Так же с ремесленниками: наверху – менее бедные, владельцы плохоньких мастерских с примитивным оборудованием; остальным приходится работать на улице. На протяжении поколений крестьяне, батраки, чернорабочие, бедные ремесленники смиряются с ударами, лишениями, неслыханными жертвами, чтобы подняться на одну ничтожную ступеньку социальной лестницы; но здесь подобное редко удается. Редким везением становится брак с дочерью мелкого собственника. Но если учесть, что кругом Фонтамары земли, на которых после посева квинтала зерна иной раз собирают не больше квинтала урожая, становится понятно, насколько часто от достигнутого тяжелым трудом положения мелкого собственника вновь падают до уровня крестьянина.

(Я прекрасно знаю, что слово «крестьянин» в моей стране, будь то деревня или город, в обыденной речи теперь означает оскорбление и насмешку: но я употребляю его в этой книге в уверенности, что когда в моей стране боль перестанет считаться чем-то постыдным, оно начнет вызывать уважение или даже гордость. У самых зажиточных крестьян Фонтамары есть осел, а иногда даже мул. По осени, едва только выплатив задолженности за прошлый год, им приходится просить займы то небольшое количество картофеля, белой фасоли, лука и кукурузной муки, которое нужно, чтобы зимой не умереть от голода. Большинство из них влачит свое существование тяжелой цепью мелких долгов, взятых, чтобы прокормиться, и изнурительных усилий, прикладываемых, чтобы их выплатить. В исключительных случаях, когда урожай выдается чрезвычайно богатым и приносит неожиданную прибыль, она обыкновенно становится поводом для ссор. Потому как надо иметь в виду, что в Фонтамаре не найдется и двух не состоящих в родстве семей. В горных деревнях все так или иначе оказываются родственниками; все семьи, даже самые бедные, заинтересованы в том, чтобы делиться друг с другом, а при отсутствии достатка приходится делиться бедностью; поэтому в Фонтамаре нет ни одной семьи, которая не имела бы никаких затянувшихся судебных тяжб. А тяжбы, как известно, угасают в худые годы, но вдруг обостряются, как только появляется хоть сколько-нибудь денег на адвоката. И каждый раз это одни и те же тяжбы, бесконечные тяжбы, которые передаются из поколения в поколение в бесконечных процессах, в бесконечных тратах, в неутолимых затаенных обидах; и все для того, чтобы выяснить, кому принадлежит куст колючек. Куст сгорает, но ссоры продолжаются с усиленной злобой. Вырваться из этого было невозможно. Если бы откладывать в те времена по двадцать, тридцать, а летом, может, по сто сольди в месяц, то к осени эти сбережения могли составить порядка тридцати лир. Но они улетучивались сразу: на проценты по каким-то векселям, или на адвоката, или на священника, или на аптекаря. А следующей весной начинали заново. Двадцать, тридцать, сто сольди в месяц. И опять по новой.

*Перевод Владиславы Сычевой ([Dusenokk@list.ru](mailto:Dusenokk@list.ru)). Родилась и выросла в Москве, сейчас студентка 2 курса Литературного института им. А.М. Горького, семинар художественного перевода с итальянского. Изучает итальянский, французский,*

*английский, латынь; занимается переводом. Любит искусство и особенно интересуется культурой Италии. Перевод занял третье место в номинации «итальянская проза» (2019)*

## **Иньяцио Силоне. Фонтамара**

...Так вот, Фонтамара во многом похожа на любую южную деревню, где-то в глухомани предгорья, в стороне от оживлённых дорог, а потому в чём-то отсталую, хиреющую и запустевающую более других. Но у Фонтамары есть и свои особенности. Как бы ни назывались земледельцы, живущие впроголодь со скудного урожая своих наделов – феллахи, кули, пеоны, мужики, пейзажи, деревенщина, – нищие хлеборобы во всех углах света похожи друг на друга, это же отдельный вид человечества, нация, раса и вероисповедание, и всё ж не встречалось ещё двух несчастных, одинаковых во всём.

Тем, кто поднимается в Фонтамару со стороны озера Фучино, деревня предстаёт эдакой лестницей, прилепившейся к склону бесплодной иссушенной горы. Из долины видны оконные и дверные проёмы большинства домов: этих развалюх около сотни, все почти без исключения одноэтажные, нескладные, если не бесформенные, почерневшие от времени, потрёпанные ветром, дождём и пожарами, с крышами, кое-как покрытыми черепицей, а то и просто подвернувшимся под руку хламом.

По большей части в стенах у этих лачуг лишь один-единственный проём – он и дверь, и окно, и дымоход. Стены сложены из камней без капли раствора, пола как такового зачастую просто нет, и вот в такой хибарке живут, спят, едят, заводят потомство, порой всё это в той же самой комнате, мужчины, женщины, их дети, козы, куры, свиньи и ослы.

Исключение составляет с десятков домишек позажиточнее, да разваливающаяся вилла, ныне необитаемая. Над верхней частью Фонтамары доминирует церковь со своей колокольней да площадь на уступе склона, на которую можно попасть по крутой улочке, проходящей через всё селение, единственной, по которой может проехать повозка. В стороны от улочки расходятся боковые переулочки, зачастую ступенчатые, чуть не отвесные, короткие и тесные: крыши домов почти касаются друг друга, так что небо едва видно.

Тем, кто смотрит на Фонтамару издали, от Фучино, она видится гуртом овец мрачного окраса, а колокольня – пастухом. Деревня, в общем, как деревня. Но для тех, кто родился и вырос здесь, это свой мир. Здесь вершится всемирная история: рождение-смерть-любовь-ненависть-борьба-отчаяние.

И к этому нечего было бы добавить, если бы не случились некие странные события, о которых я и собираюсь поведать. Я прожил в этом углу первые двадцать лет жизни, и к этому мне нечего добавить.

Двадцать лет одно и то же небо, обрезанное со всех сторон амфитеатром гор, которые непроходимой стеной окружают этот клочок земли, двадцать лет одна и та же земля, одни и те же дожди и снег, одни и те же сельские праздники и еда, одни и те же страдания, мучения и нищета, унаследованная от отцов, а теми – от дедов, нищета, против которой всегда и везде бессилён честный труд. Самые вопиющие примеры несправедливости тянулись настолько издавна, что

воспринимались с той же неизбежностью, что и дождь, или ветер, или снег. Жизнь людей, скота и земли, казалось, намертво скована тисками гор да сменой времён года. Естественный цикл событий, незыблемый, как пожизненное заключение.

Сначала сев, потом сера, затем жатва да сбор винограда. А потом? А потом всё сначала. Сев, прополка, подрезка, сера, жатва, сбор винограда. Та же песня, слово в слово. Неизменно. Годы проходили, сливались друг с другом, молодые становились стариками, старики умирали, и по-прежнему шли сев, прополка, сера, жатва, сбор. А дальше? Опять всё сначала. Каждый год как год предыдущий, каждая пора как в прошлом году. Каждое поколение как предыдущее поколение. Никто в Фонтамаре и подумать не мог, что этот стародавний уклад жизни может когда-либо измениться.

Социальное расслоение в Фонтамаре знало две крайности, без полутонов: простая деревенщина и, чуть повыше, маленькие хозяйчики. По этим же двум ступенькам распределялись и кустари: чуть повыше те, что не такие нищие, со своим сараем-мастерской да неказистым инструментом, бродячие ремесленники остальные. Из поколения в поколение землеробы, батраки, подручные, бедные мастеровые прилагают невероятные усилия, идут на неслыханные лишения и жертвы, чтобы забраться на следующую низенькую ступеньку социальной лестницы... И лишь изредка преуспевают в этом. Некоторым везёт – они посвящаются в сан, женившись на дочери мелкого хозяйчика. Но если учесть, что вокруг Фонтамары немало наделов, на которых, посеяв мешок зерна, порой собирают не больше мешка, то нетрудно понять, что частенько кто-нибудь, с таким трудом вскарабкавшись на ступеньку мелких хозяйчиков, сваливается с неё опять в батраки-деревенщину.

(Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что прозвание «деревенщина» в современном языке моей страны, как в городе, так и на селе, является обидным и оскорбительным, но я пользуюсь им в книге, будучи уверен, что когда у нас боль перестанет быть постыдной, это слово приобретёт значение уважительное, а может даже и почтительное). У самых везучих селян Фонтамары в хозяйстве есть осёл, порой – мул. Осенью, с трудом расплатившись с долгами за предыдущий год, они ищут, где взять в долг немного картошки, бобов, лука, кукурузной муки, чтобы не помереть с голоду зимой. Большинство влачит такую жизнь, словно гнетущую цепь нищенских долгов и непомерных усилий по их выплате. Когда же урожай превосходит ожидания и приносит неожиданный доход, он тут же становится предметом разборов. Потому что, знаете ли, в Фонтамаре не найдётся двух семей, не связанных родством: в горных деревушках, как правило, все так или иначе родственники; у всех семей, даже наибеднейших, есть взаимные притязания по разделу имущества, за неимением же имущества разделяют нужду. Так что в Фонтамаре нет семьи без тянущегося издавна спора. Споры, как известно, умолкают в скудные годы, но ярко вспыхивают, лишь только появится несколько монет на адвоката. И это одни и те же споры, бесконечные раздоры, передаваемые из поколения в поколение бесконечные судебные процессы, бесконечные расходы, в глухой неугасимой злобе, чтобы установить, кому

принадлежит кустик колючек. Куст давно сгорел, но спор до посинения продолжается. Выхода нет. Отложить в месяц двадцать-тридцать медяков, а летом и все сто, в то время могло позволить накопить к осени тридцать лир или около того. И эти деньги исчезали в одно мгновение: проценты по векселям, или адвокату, или священнику, или аптекарю. А весной всё начиналось сызнова. Двадцать медяков. Тридцать. Сто. И опять сначала.

*Перевод Александра Чистякова (alek.zander@libero.it). Выходец из России, жил в Италии. Сейчас живет в Бельгии. С детства участвует в олимпиадах: по математике, физике, химии, теперь по переводам – благодаря выученным языкам. Перевод занял третье место в номинации «итальянская проза» (2019)*

### **Игнацио Силоне. Фонтамара (отрывок)**

Что ж, Фонтамара напоминает во многих отношениях довольно глухую деревню, затерявшуюся между равниной и горой в стороне от оживленного движения, а потому отставшую и обедневшую сильнее, чем другие. Но у Фонтамары есть и свои особенности. Бедняки-крестьяне, — феллахи, кули, пеоны, мужики, земледельцы, — которые, помогая земле плодоносить, сами страдают от голода, одинаковы во всём мире: на этой земле они сами себе нация, раса и церковь, пускай никто пока что и не встречал двух нищих, одинаковых во всём.

Для того, кто поднимается к Фонтамаре со стороны равнины Фучино, деревня предстаёт на фоне бесплодной, серой и засушливой, словно лестничный пролёт, горы. Снизу с лёгкостью можно разглядеть двери и окна большей части домов: сотня домишек, почти все — одноэтажные, неровные, бесформенные, почерневшие от времени и потрёпанные ветром, дождём, пожарами, крытые черепицей и всевозможным металлическим ломом.

У большей части этих лачуг есть всего один проём, где дверь — это и окно, и дымоход. Внутри, на некрытом полу, в голых стенах живут, спят, едят и размножаются — зачастую в одной комнате — мужчины, женщины, их дети, козы, курицы, свиньи, ослы.

Исключение составляет с десятков домов мелких землевладельцев и старый особняк, ныне необитаемый, полуразрушенный. Верхнюю часть деревни занимает церковь с колокольной и небольшая площадь на выступе, до которой можно добраться по круто идущей вверх улице, проходящей через всю деревню; только по ней можно проехать на телеге. К улице с боков примыкают узкие переулки со ступенчатыми подъёмами, короткими и крутыми, где крыши домов там почти касаются друг друга, отчего неба почти не видно.

Для смотрящего на Фонтамару издали, из долины Фучино, деревня напоминает стадо темнорунных овец с колокольной-пастырем. Словом, деревня, похожая на любую другую, но для того, кто здесь родился и вырос, она — целый мир. Здесь разворачивается вся мировая история: рождение, смерть, любовь, ненависть, зависть, борьба, отчаяние.

Больше о Фонтамаре нечего было бы говорить, если бы не случились странные вещи, о которых я собираюсь рассказать. Я прожил там двадцать лет, и всё равно ничего другого добавить бы не смог.

Двадцать лет под заурядным небом, очерченным амфитеатром гор, которые окружают земли непроницаемым барьером; двадцать лет на заурядной земле, под заурядными дождями, заурядным ветром, заурядным снегом; заурядные праздники, заурядная еда, заурядные страдания, заурядная боль, заурядная нищета; нищета, унаследованная от отцов, передавшаяся тем от дедов, честный труд которых был бесплоден. Самая жестокая несправедливость родилась так давно, что стала явлением естественным, как дождь, ветер, снег. Жизнь людей, зверей и земли, казалось, была заключена в неподвижный круг, запаянный намертво в кольцо гор и времён года, впаяна в неизменный ход вещей, приговорена к нему.

Сначала сеяли, потом удобряли, собирали урожай, собирали остатки. А затем? Затем повторяли с начала. Посев, прополка, обрезка, удобрение, сбор урожая, поздний сбор. Одна и та же песня, один и тот же припев. Неизменно. Годы шли и скапливались, молодые становились стариками, старики умирали, а урожай всё так же сеяли, пололи, обрезали, удобряли, жали и собирали. А затем? Снова с начала. Каждый год походил на предыдущий, каждый сезон был похож на предыдущий. Каждое поколение походило на прежнее. Никто в Фонтамаре не допускал мысль о том, что заведённый порядок вещей может измениться.

В Фонтамаре социальная лестница состояла всего из двух ступеней: ниже некуда находились крестьяне, чуть выше — мелкие собственники. Ремесленники от них не отличались; чуть лучше жилось хоть немного обеспеченным, у кого была мастерская и ряд примитивных инструментов, другие же еле-еле перебивались. В течение нескольких поколений крестьяне, работники, мастера, бедные ремесленники делали всё, что могли, терпели лишения и шли на жертвы, только бы сделать этот крошечный шаг по социальной лестнице, но преуспевали редко. Уделом удачливых считалась женитьба на дочери землевладельца. Но если подумать о том, что на землях возле Фонтамары можно посеять центнер пшеницы, а собрать едва ли чуть больше, то станет понятно, что не так уж редко с трудом добившийся своего статуса землевладелец возвращался к роли крестьянина.

(Я знаю, что слово «крестьянин» теперь в разговорном языке моей страны, что в деревне, что в городе, — оскорбление и издёвка, но я использую его в этой книге с уверенностью, что когда в моей стране перестанут стыдиться боли, оно превратится в уважительное обращение или даже почётный титул). У наиболее удачливых крестьян в Фонтамаре есть осёл или даже мул. По осени, едва оплатив долги прошлого года, они должны снова брать в долг, чтобы можно было купить немного картофеля, фасоли, лука, кукурузной муки и не умереть с голода во время зимы. В большинстве своём они так и проводят всю жизнь, тянут за собой цепочку из мелких долгов, позволяющих прокормить себя, и тяжёлых усилий, чтобы их оплатить. Когда урожай неожиданного хорош и денег становится с избытком, их обычно тратят на мировых судей. В Фонтамаре не найдётся и двух

семей, не связанных родством; в горных деревнях все так или иначе оказываются родственниками друг другу. Интересы любой семьи, даже самой бедной, затрагивают чужие, а раз нет богатства, приходится делиться бедностью, поэтому в Фонтамаре нет семьи, не участвующей в каких-нибудь судебных разбирательствах. Ссора, как известно, стихает в голодные годы, но разгорается вновь, как только есть деньги, чтобы заплатить адвокату. И это всё одни и те же разбирательства, бесконечные споры, которые передаются из поколения в поколение в чередё бесконечных процессов, нескончаемых трат, с глухой, неугасимой злобой в попытке выяснить, кому принадлежит куст с колочками. Куст уже сгорел, но вражда из-за него всё крепнет. Нет способа сбежать от неё. Между тем, если откладывать по двадцать сольдо в месяц, или тридцати сольдо, или даже с сотни сольдо в летние месяцы, можно было бы накопить лир тридцать к осени, но всё тратится сразу же: надо покрыть задолженности, заплатить адвокату, или священнику, или аптекарю. А следующей весной всё начинается сначала. Двадцать сольдо, тридцать сольдо, сто сольдо в месяц. Затем снова с самого начала.

*Перевод Марии Лянуновой ([sszivago@gmail.com](mailto:sszivago@gmail.com)), студентки 2 курса Литературного института им. А. М. Горького (семинар художественного перевода с итальянского языка; мастер – А. В. Ямпольская). Увлечение иностранными языками началось ещё в раннем школьном возрасте, крепло вместе с любовью к литературе и вылилось в конечном итоге в желание дарить возможность русскоязычному читателю знакомиться с литературой других стран. Перевод занял третье место в номинации «итальянская проза» (2019)*

### **Иньяцио Силоне. Отрывок из романа «Фонтамара» (1933)**

Итак, Фонтамара похожа во многом на любое южное селение, оно довольно труднодоступное, затерявшееся между равниной и горами, вдали от торговых путей, и поэтому чуть более отсталое, бедное и заброшенное, чем другие. Но у Фонтамары есть и некоторые особенности. В такой же степени похожи между собой во всех странах мира бедные крестьяне, люди, которые возделывают землю и страдают от голода, феллахи, кули, пеоны, мужики, батраки; они, на поверхности земли, как отдельная нация, отдельная раса, отдельная церковь; и все же еще не нашлось двух совершенно одинаковых бедняков.

Тому, кто поднимается до Фонтамары с равнины Фучино, селение кажется раскинувшимся на склоне серой горы, голой и лишенной растительности, расположенным как бы на широкой лестнице. С равнины хорошо видны двери и окна большей части домов: сотня лачуг, почти все одноэтажные, неровные, бесформенные, почерневшие от времени и изъеденные ветром и дождями, поврежденные пожарами, с крышами, кое-как покрытыми черепицей и всяческим металлическим хламом.

У большинства этих развалюх только одно отверстие, которое служит дверью, окном и дымоходом. Внутри, чаще всего на земляном полу, со стенами, сложенными без раствора, живут, спят, едят, рожают детей – иногда в одном и том же помещении – мужчины, женщины, их дети, козы, куры, свиньи, ослы.

Исключением является десяток домов мелких собственников и старинный полуразрушенный дворец, в котором сейчас никто не живет. Над верхней частью Фонтамары возвышается церковь с колокольной и небольшая площадь в виде террасы, до которых можно добраться по крутой улице, пересекающей весь поселок, и это единственная улица, по которой могут ездить повозки. По обе ее стороны теснятся переулки, в основном, со ступенями, обрывистые, короткие, с нависающими крышами домов, которые почти касаются друг друга и оставляют едва заметный просвет, через который виднеется небо.

Тому же, кто смотрит на Фонтамару издали, с Феудо дель Фучино, селение кажется стадом темных овец, а колокольня пастухом. В общем, селение, как и множество других; но для того, кто там родился и живет, – это целая вселенная. Там вершится вся мировая история: рождение, смерть, любовь, ненависть, зависть, борьба, отчаяние.

Чего-либо другого о Фонтамаре как будто сказать нечего, если бы не произошли странные случаи, о которых я собираюсь рассказать. Я прожил в этом местечке первые двадцать лет своей жизни, а об остальном сказать вам не могу.

В течение двадцати лет одно и то же небо в окружении амфитеатра гор, которые запирают Феудо как некая преграда, через которую нет выхода; в течение двадцати лет одна и та же земля, все те же дожди, ветер, снег, одни и те же праздники, та же привычная еда, та же нужда, все те же тяготы и привычная нищета: нищета, доставшаяся от отцов, которые ее унаследовали от дедов и перед которой честный труд был всегда совершенно бесполезен. Самая жестокая несправедливость имела там такие древние корни, что стала такой же естественной как дождь, ветер, снег. Жизнь людей, скота, земли казалась как бы заключенной в неподвижный круг, скрепленный мертвой хваткой гор и чередой растянувшихся во времени событий. Скрепленной в естественном, неизменном круге вроде пожизненного заключения.

Сначала шел сев, затем посыпание виноградной лозы серой, потом жатва, потом сбор винограда. А затем? Затем сначала. Сев, рыхление почвы, обрезка, посыпание серой, жатва, сбор винограда. Всегда одна и та же песня, тот же припев. Постоянно. Годы проходили, годы накапливались, молодые становились старыми, старые умирали, и по-прежнему сеяли, рыхлили почву, посыпали серой, жали, собирали виноград. И затем снова? Опять сначала. Каждый год как предыдущий год и каждый сезон как предыдущий сезон. Каждое поколение как предыдущее поколение. Никто в Фонтамаре никогда не думал, что этот старинный образ жизни может измениться.

Социальная лестница в Фонтамаре представлена только двумя ступенями: батраки располагаются на самом нижнем уровне и немного повыше мелкие собственники. На этих двух ступенях разместились также ремесленники: немножко повыше те, что побогаче, у них есть лавчонка и кое-какой примитивный инструмент; другие – на улице. На протяжении многих поколений батраки, поденщики, разнорабочие, бедные ремесленники трудятся, не покладая рук, подвергаясь лишениям, принося неслыханные жертвы, чтобы подняться на самую низкую ступень социальной лестницы; но это им удается редко. Большая

удача для счастливицков это жениться на дочери мелких собственников. Но, если учесть, что вокруг Фонтамары есть земли, на которых тот, кто сеет центнер зерна, зачастую собирает с нее все тот же центнер, то разумеется, не является редкостью, когда с положения мелкого собственника, достигнутого с трудом, снова опускаются на уровень батрака.

(Я хорошо знаю, что слово *cafone* “батрак” в разговорном языке моей страны, как в провинции, так и в городе, является сейчас термином оскорбительным и насмешливым: но я его использую в этой книге, пребывая в уверенности, что, когда в моей стране не будут больше стыдиться боли, оно станет уважительным обращением, а возможно даже почетным). Самые удачливые среди батраков Фонтамары владеют ослом, иногда мулом. С наступлением осени, после разорительной оплаты долгов предыдущего года, им приходится искать займы какую-то малость картофеля, фасоли, лука, кукурузной муки, которая не даст умереть с голоду во время зимы. Большинство из них влачат свое существование как будто тянут тяжелую цепь мелких долгов (чтобы спастись от голода) и изнурительного труда (чтобы оплатить их). Когда урожай исключительно хорош и приносит непредвиденные доходы, то из-за них, как правило, возникают споры. Потому что нужно знать, что в Фонтанаре нет и двух семей, которые не были бы родственниками; в горных селениях, обычно, все, в конце концов, становятся родственниками; все семьи, даже самые бедные, должны делиться между собой процентами от дохода, а при отсутствии дохода им приходится делиться нищетой; поэтому в Фонтанаре нет семьи, которая не имела бы какого-либо неразрешенного спора. Спор, как известно, затихает в неурожайные годы, но внезапно обостряется, как только появляются несколько сольдо, чтобы дать адвокату. И это постоянно одни и те же споры, бесконечные споры, которые передаются из поколения в поколение в бесконечных процессах, в бесконечных расходах, в глухой неугасаемой злобе, чтобы установить, кому принадлежит какой-то колючий кустик. Кустик сгорает, но споры продолжаются с более жгучей ненавистью. И здесь никогда не бывало никакого выхода. В те времена отложить двадцать сольдо в месяц, тридцать сольдо в месяц, летом, пожалуй, сто сольдо в месяц – это могло дать, в чистом остатке, лир тридцать осенью. Они сразу же уходили: на выплату процентов по какому-нибудь векселю, или на адвоката, или же на священника, или же на аптекаря. И все начиналось сначала следующей весной. Двадцать сольдо, тридцать сольдо, сто сольдо в месяц. Затем снова сначала.

*Перевод Д.Н. Войницкого ([amir04@mail.ru](mailto:amir04@mail.ru)), переводчика с итальянского языка, г. Донецк*

## ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ

### **Giovanni Pascoli (1855-1912). Mare («Myrica», 1891)**

M'affaccio alla finestra, e vedo il mare:  
vanno le stelle, tremolano l'onde.  
Vedo stelle passare, onde passare;  
Un guizzo chiama, un palpito risponde.

Ecco, sospira l'acqua, alita il vento:  
sul mare è apparso un bel ponte d'argento.

Ponte gettato sui laghi sereni,  
per chi dunque sei fatto e dove meni?

### **Джованни Пасколи. Море**

Ночное море за окном вздыхает,  
Мигают звёзды, вздрагивают волны.  
Гляжу, как звёзды тают, волны тают;  
Прибой поёт, и мир внимает дольний.

Но зашептались воды, ахнул ветер:  
Над морем мост возник, манящ и светел.

О мост серебряный в ночном покое,  
Кто по тебе пойдёт и далеко ли?

*Перевод Ольги Комаровой ([olya34@mail.ru](mailto:olya34@mail.ru)). Окончила Воронежскую государственную лесотехническую академию и Воронежский государственный университет (факультет романо-германской филологии). Научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии. Переводит с английского, итальянского, испанского. Многократная победительница конкурса им. Э. Л. Линецкой. Данный перевод занял третье место в номинации «итальянская поэзия» (2019)*

## Джованни Пасколи. Море

Там, за окном, далёкое море вижу:  
Взглядом слежу за звездой и волной скользящей,  
Вечность звёздами движет, волнами движет,  
Сердце от их мерцания бьётся чаще.

Тихо вода под бризом плещет, искрится,  
А над водой простёрся мост серебристый,  
Мост над лагунной гладью, пуст и спокоен,  
В дали какие ведёшь ты и кем построен?

*Перевод Ольги Матвиенко ([matvizar@gmail.com](mailto:matvizar@gmail.com)), доцента кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета. Перевод удостоен почетной грамоты конкурса им. Э. Л. Линецкой в номинации «итальянская поэзия» (2019)*

ПЕРЕВОДЫ С ВЕНГЕРСКОГО



## БЕИГЕРСКАЯ ПРОЗА

### Grecsó Krisztián. Tiszta udvar, rendes ház

Alsóvárosból ment hazafelé, alsó tagozatos volt, egy beteg osztálytársának vitte el a leckét, aki szerencsére csak lógott, mert ő már gyerekként félt mindenféle fertőzéstől, és utálta, ha neki kellett egy taknyos, köhögő gyerek mellett a számtanról magyarázni. Megkönnyebbült, hogy most biztosan nem kapott el semmit, mosolygott a világra, a Mátyás térre, az egyik nádfedeles, régi ház előtt öregek ültek a kapuban, rozoga fapad nyöszörgött alattuk, és ülve is fogták a botjukat, mintha annak is neki kellene támaszkodniuk, Verát nézték, figyelték, ahogy feljűk megy, ő meg azon gondolkodott, kell-e nekik köszönni, mert az idegeneknek, apa szerint, nem kell, de ezek öreg idegenek, és kedvesen néznek, aki meg így néz, annak lehet, hogy mégis kell, ebben érthetetlenül következetlenek a szűlei, nem tudják elmagyarázni. Aztán az utolsó lépéseknél az idő vagy a véletlen megoldotta a kérdést, mert ahogy a pad mellé ért, a semmiből, a napfényes, délutáni ragyogásból goromba vihar támadt, minden átmenet nélkül zuhogott, és a remegő állú, kendős néni meg a fekete kalapos bácsi ijedten behívták őt.

Előbb csak a nyitott gangra, utána, amikor oda is bevert az eső, beljebb, a sötét konyhába, törülkőzöt nyomtak a kezébe, először nem akarta elvenni, de csurgott a szőke foncsikjából a víz, jólesett, puha volt, meleg, aztán vacsorával kínálták, és pénzt akartak neki adni.

Vera ezen annyira meglepődött, hogy nem erőltették tovább, de a Melba szeletet muszáj volt megenni, meg nem is kérte magát annyira, és amikor beleharapott, a néninek meg a bácsinak vele együtt járt a szája, olyan boldogok voltak, mintha valami igazán nagy szívességet tett volna nekik.

Tényleg nem tudja, semmi értelme, de valamiért ezen az estén gyanakodott életében először, hogy vele valami nincs rendben. Nagyon lassan ment hazafelé, tyúklépésben, a cipője sarkát a másik orrához igazította, nyikorgott a tornacipő gumija, elállt az eső, a Mátyás téri templom sárga falai még néhány percig ragyogtak, ment le a nap, és ő csak állt, sírt, illetve nem, mert nem hüppögött, csak folytak az arcán a könnyek, ilyen még csak a mamájánál látott eddig. Vera, ha sírt, mindenestűl sírt, nem volt neki olyan, mint a mamájának, hogy örömeben történik, vagy hogy „csak úgy” könnyezik. De most valahogyan mégis lett olyan, mert nem volt szomorú, de az, hogy ekkora örömet szerzett ennek a néninek és a bácsinak, csak azzal, hogy elfogadta, amit adni akartak, meghatotta.

A nap eltűnt a házak mögött, ijesztően szürke volt a tér, és hűvös, megborzongott, megindult haza, majdnem futott, ugrált a táská a hátán. Az jutott eszébe, hogy olyan volt bent lenni a néninél és a bácsinál, mintha egy mesében lett volna, vagy inkább hittanórán, ott történnek ilyen furcsa, jószágos és érthetetlen dolgok.

Vera elvárászolódott az öregektől, homályosak, álomszerűek voltak velük a percek, és már ahogy történtek, távoliak. De a hűvös szeptemberi este kijőzanította, és most eszébe jutott, hogy a bácsi azt kérdezte tőle, kinek a lánya, és ő megmondta, hogy

a Tátrai Béláé, bemutatkozott, ahogy a papa tanította. Még soha senkinek sem kellett bemutatkoznia, nem is értette, hogy mire jó ez, idegennel nem volt szabad beszélni, aki meg nem idegen, azt ismeri. De most először tényleg hasznos volt, amit a papa mondott, nyújtotta a kezét, a néni sírt és nevetett, valamiért egyszerre a kettőt, nem lehetett eldönteni, melyiket inkább, ő meg az mondta.

„Kezit csókolom, Tátrai Vera vagyok.”

A néni összevissza csókolgatta a kezét, amiről nem szólt a papa, hogy ilyesmi a bemutatkozásnál várható, és nem is esett valami jól, kicsit undorító volt, de nem akarta megbántani a néni, hogy elhúzza a kezét. A bácsi azt mondta, ismerte a nagyapját, és valamiért helyesbíteni akart, „vagyis”, mondta, megvakarta a szakállát, csak az állán volt szőr, ősz volt, taszítóan sercegett, „vagyis”, mondta megint, aztán elhallgatott, a néni segítette ki, hogy „persze, biztosan ő volt az”. Már, ha a Verácska, így nevezte őt, becézve, a Verácska apukája mérnök. Vera tiltakozott, hogy nem, az ő apukája katona, mire az öregek megkönnyebbülten nevettek, pedig ez nem is volt mulatságos, de ők hosszan kacagtak, hogy persze, úgy értik, hiszen az apja katonai kötelékben van, de attól még nem rombol, hanem épít, hidakat, gátakat, ilyesmit.

Vera bólogatott, ez ismerős volt, a papa tényleg sokat beszélt hidakról meg folyókról, és sokkal kevesebbet a tankokról meg a katonákról, és ez a gondolat sajnos elterelte a figyelmét, így nem kérdezett a nagyszüleiről semmit. Most, hazafelé, a hűvösben ez annyira bántotta, mintha valami jóvátehetetlen hibát követett volna el, a bácsi meg csak annyit mondott magáról, hogy együtt harcoltak, együtt voltak a Tátrai tatával a fronton, és hogy jó ember volt, a mamáról meg semmit, pedig, ha kérdezett volna róluk, az olyan lett volna, mint valami leselkedés. A papa meg a mama ugyanazt mondta mindig, hogy korán meghaltak, sajnos, mindenki korán meghalt, soha semmi mást, izgalmasat.

Mire hazaért, megnyugodott, el is felejtette az egészet, a balsejtelmet, a rossz érzéseket, lenyomta a kertkapu kilincset, nem nyílt, be volt akasztva a rigli, megállt, nézte szemben a szürke szalagházat, ami neki nagyon tetszett, de a szülei szerint mogorva és visszataszító, pedig olyan szép volt, amikor így este világított a sok ablak, mintha apró tükrök lennének, vagy inkább egy óriási kirakó, esetleg karácsonyfaizzó lenne a ház. Az ott szemben, a szalagház oldal nem olyan sötét volt, mint az Alföldi utca kertés házas oldala, ahol ők laktak, és ahol volt ugyan kert, ami a papa szerint nagy érték, de szerinte nem. A papa szerint ő sokat játszhat kint, de a papa folyton elfejtette lekaszálni a kertet, és ő egyáltalán nem játszhatott sokat odakint. Ha a mama már megint „hiába kérte”, és a papa bent maradt szolgálatra, akkor ők inkább a játszótérre mentek, ahol jobb is volt, mert a többi gyerek is ott játszott, mind, akik szép és liftes emeletes házban éltek, szóval a kert Verácska számára egyáltalán nem volt semmiféle érték.

Elkalandoztak a gondolatai, a szalagház, a fények, a játszótér meg a kert, de ahogy a mamája nyitotta a kaput, és azt mondta, „itt vagyok már”, megint eszébe jutott a bácsi, ahogy serceg a szakállá, meg a bizonytalankodás. És ez a bizonytalankodás hirtelen ismerős lett, felismerte, hogy találkozott már vele, szinte mindig, ha róla vagy a szüleiről volt szó. Csak valahogy eddig nem rakta őket egymás mellé. De a bácsi tétova hallgatása megjelölte, felcímkezte a hallgatásokat, félrenézéseket, a sok

bizonytalankodást, mindet, mintha iskolai füzetek lennének, és most ott voltak a fehér vignetták előtte, fel tudta idézni őket, hogyan történt az iskolában, a boltban, edzésen és táncon, szóval, ahová járt, mindenütt előfordult már, hogy valaki óróra végre beszélt, és akkor inkább elhallgatott, mintha valami furcsa vagy titkos dolog jutott volna az eszébe. És ez a bácsi is kétségbeesve, szinte ijedten hallgatott el, amikor a nagyapjáról esett szó.

Ekkor nyílt az ajtó, a mama megölelte, de Vera csak épphogy visszaölelte, mert jeges, rémületes gyanakvás dermedtette meg belül.

**Кристиан Гречо. Вера (фрагмент)**  
*Чистый двор, аккуратный дом*

Она возвращалась домой из Нижнего города, ученица начальной школы, относил домашнее задание заболевшей однокласснице. Та, к счастью, только прогуливала – Вера с самого детства боялась всякой заразы и чувствовала отвращение, если ей приходилось объяснять арифметику сопливному, кашляющему ребенку. С облегчением, что сейчас точно ничего не подцепила, она улыбалась миру и площади Матяша. У ворот старого, крытого камышом дома сидели старики, полусгнившая деревянная скамья стонала под ними; каждый держал клюку, будто им и сидя нужно на нее опираться, и смотрели на Веру, следили, как она идет в их сторону, она же думала о том, надо ли ей поздороваться: с чужими, по словам папы, не надо, но эти чужие старики смотрят доброжелательно: с такими наверно все-таки надо, в этом вопросе родители крайне непоследовательны, и не могут объяснить почему. До них оставалось несколько шагов, но время или случайность решили этот вопрос: она дошла до скамьи, как вдруг из ничего, из солнечного, слепополуденного сияния разразилась дурная гроза, без всякого перехода полило как из ведра, бабушка с дрожащим подбородком, в платочке, и дедушка в черной шляпе испуганно звали ее к себе.

Сначала только на открытую галерею, а потом, когда туда начал попадать дождь, и внутрь, в темную кухню, сунули в руки полотенце, сначала она не хотела брать, но с белокурых косичек лилась вода, полотенце было приятным, мягким, теплым, потом старички предложили поужинать и захотели дать ей денег.

Вера удивилась, и они не стали настаивать, но бисквитный пирог с персиками съесть стоило, долго уговаривать не пришлось. Она откусила и начала жевать, челюсти стариков задвигались в унисон – они были счастливы, словно девочка оказала им величайшую любезность.

Она точно не знает, понятия не имеет, что именно, но в этот вечер впервые в жизни заподозрила, что с ней что-то не так. Домой шла очень медленно, куриной походкой, приставляя пятку к носку, резина кедров скрипела. Дождь перестал, желтые стены церкви на площади Матяша сияли еще несколько минут, солнце село, а она стояла и плакала, или нет, потому что не всхлипывала, просто слезы текли по лицу – она видела раньше, так плачет мама. Если рыдала Вера – то навзрыд, не так, как мама, которая могла прослезиться и от радости, и «просто

так». Но сейчас само получилось, не было грустно, только до слез растрогало, что она доставила столько радости этим бабушке и дедушке, приняв то, что они хотели дать.

Солнце пропало за домами, площадь стала пугающе серой и прохладной, Вера поежилась и поспешила домой, почти побежала, ранец запрыгал на спине. Ей пришло в голову, что побывать дома у этих стариков было как в сказке, или как на уроках закона божьего – и там, и там случались странные, добрые и непонятные дела.

Старики словно заморозили Веру: минуты, проведенные с ними, были как в тумане, далеки и подобны сну. Но прохладный сентябрьский вечер отрезвил ее, она вспомнила, как старик спросил, чья она дочь. Белы Татраи, – ответила Вера и представилась, как учил папа. Ей еще ни разу не доводилось представляться, непонятно, зачем это вообще надо: разговаривать с чужими нельзя, а кто не чужой – с тем знакомы. Но вот и пригодилась папина наука: она протянула руку, старушка заплакала и сразу засмеялась, и неясно, что лучше:

«Позвольте представиться: Татраи Вера».

Бабушка расцеловала ей руки – о чем-то таком при знакомстве папа не говорил. Это было неприятно, немного противно, но ей не хотелось обидеть старую женщину, отдернув руку. Дедушка сказал, что знал ее родного деда, что-то хотел уточнить, сказал «ну то есть» и почесал бороду. Седые волосы росли только на подбородке и отталкивающе скрипели. Старик снова сказал «то есть», потом замолчал, бабушка пришла ему на помощь, сказав, что «конечно, это был он». Ну да, если отец Верочки, как они ласково называли ее, если отец Верочки инженер. Вера возразила: нет, ее папа военный, на что старики облегченно засмеялись, хотя в этом не было ничего забавного. Но они долго хохотали: конечно, они понимают, ее папа хоть и военнообязанный, но не ломает, а строит – мосты, дамбы и тому подобное.

Вера кивнула. Она знала, папа и впрямь много говорит о мостах и реках, и намного меньше о танках и солдатах. Эта мысль отвлекла ее внимание, о своих бабушке с дедушкой так ничего и не спросила. Сейчас, по дороге домой, на холоде это мучило ее, словно она совершила какую-то непоправимую ошибку. Старик сказал только, что воевал на фронте вместе с дедом Татраи, и что тот был хороший человек. О маме вообще ничего не сказали, хотя, если бы она спросила – это выглядело бы как подглядывание за своей родней. Папа и мама всегда говорили одно и то же: оба, увы, рано умерли, ничего интересного.

Дойдя до дома, Вера успокоилась и забыла обо всем – о тяжелом предчувствии и неприятных ощущениях. Она нажала ручку калитки – та не открылась: щеколда наброшена. Вера остановилась, посмотрела на серую ленту домов напротив – они ей очень нравились, но родители считали их мрачными и отталкивающими, а ведь они красивые, когда много-много окон вечером светятся, как маленькие зеркала, и дом будто огромный пазл, или даже елочная гирлянда. На той стороне улицы Альфельди было не так темно, как через дорогу, на стороне коттеджей, где жила Вера в доме с садом – большая, как говорит папа, ценность, но Вера считает иначе. Папа говорит, она может много играть на свежем воздухе,

но сам вечно забывает выкосить траву во дворе, так что поиграть там вдоволь все равно не удастся. Если мама снова «который раз просила», а папа остался на службе, тогда они шли на детскую площадку, где было лучше - там можно поиграть с другими детьми. С теми, кто живет в красивых многоэтажных домах с лифтом; словом, для Веры сад вообще не имел никакой ценности.

Из головы выветрились мысли, дома-ленты, свет, площадка и сад, но мама открыла дверь, сказала: «а вот и я» – и снова вспомнились старик, скрипевший бородой, и нерешительность. И эта нерешительность внезапно оказалась знакомой, Вера осознала, что уже встречалась с ней, почти всегда, когда речь шла о ней или ее родителях. Только как-то не складывала их друг с другом. Однако неуверенное молчание старика обозначило, словно ярлыками пометило молчания, отводы глаз, всякие колебания, будто всё вклеено в школьную тетрадку и снабжено белыми этикетками. Она могла восстановить в памяти – что случилось в школе, в магазине, на тренировке или танцах, словом, куда бы она ни пошла, везде уже случалось: кто-то говорил о ней и сразу умолкал, будто вспоминал что-то странное или тайное. Этот старик тоже, отчаявшись, почти испуганно умолк, как только зашла речь о ее родном дедушке.

Открыв дверь, мама обняла Веру, но та едва ответила – страшное подозрение оледенило ее душу.

*Перевод Александры Алиповой ([zelen-a@mail.ru](mailto:zelen-a@mail.ru)). Занял второе место в номинации «венгерская проза» (2019)*

### **Кристиан Гречо. Образцовый дом**

Из Алшовароша, южной части города, возвращалась школьница: она шла домой от одноклассника – он сидел дома по болезни, и у него надо было забрать домашнее задание. Одноклассник всего-навсего прогуливал – к счастью: ей очень не хотелось бы объяснять арифметику, когда рядом кашляли и чихали; она уже боялась всяческих инфекций. Она с облегчением подумала, что сейчас точно ничего не подхватила, а поэтому шла, улыбаясь миру, площади Матяша и старому, крытому камышом дому, перед которым у входа на ветхой деревянной скамейке, стонущей под весом, сидели старики, даже сидя опираясь на свои палки, как будто без них было совсем невмочь. Они увидели Веру, а она как раз думала, надо ли с ними здороваться: папа говорил, что с незнакомыми не надо, но это были пожилые незнакомые и, по виду, очень приветливые незнакомые – поэтому, может быть, что с ними и нужно поздороваться. Родители никак не могут разобраться в этом, не могут объяснить, что и как. Но в последний момент в дело вмешалась погода – или случай: только Вера поравнялась со скамейкой, как среди солнечного дня из ниоткуда налетел ураган, ни с того ни с сего ударил ливень; бабушка в платке и дедушка в черной шляпе с тревогой окликнули ее, позвали к себе.

Сначала девочка стояла на крыльце, но когда капли стали долетать и дотуда, она зашла в темную кухню; старики сунули ей полотенце, которое она сначала не хотела брать, но Вера промокла насквозь, а полотенце было таким

теплым и мягким, что она согласилась; а потом ее угостили ужином и даже хотели дать денег.

Веру это настолько удивило, что они, увидев ее изумление, уже не настаивали на своем, но чуть-чуть мельбы, фруктового пирога, нужно было съесть просто обязательно, поэтому она не заставила себя ждать и откусила немного – бабушка с дедушкой сидели рядом, жамкая, как будто тоже жевали что-то, а в глазах у них сияла такая радость, как будто Вера оказала им неоценимую услугу.

Совершенно неясно, почему именно, но почему-то этим вечером она впервые в жизни заподозрила, что с ней что-то не так. Мелкими шажками, приставляя носок к пятке – подошвы скрипели – она медленно шла домой. Дождь уже кончился, стены собора Святого Матяша влажно блестели; солнце зашло, а она стояла на месте и плакала – точнее, не плакала, потому что всхлипываний не было слышно совсем, и только слезы текли: так, как она раньше видела у мамы. Вера плакала, когда было из-за чего, она не могла, как мама, плакать от радости или «просто так». Но сейчас почему-то подступили слезы, хотя ей было совсем не грустно, просто растрогалась от того, с какой радостью ее приняли старики только из-за того, что она не отказывалась от того, что они ей предлагали.

Солнце зашло за крыши домов, жутко, холодно серела перед Верой площадь. Девочка поежилась и пошла – почти побежала – домой, так, что сумка подпрыгивала на спине. Ей подумалось, что было у бабушки с дедушкой было хорошо, совсем в сказке или даже в библейской истории, где происходит что-то столь же странное, непонятное, но доброе.

Дедушка с бабушкой заворожили Веру, неясные, почти сказочные минуты с ними казались уже далекими. Холодная сентябрьская ночь прояснила мысли, и Вера вспомнила, что дедушка спросил, кому она приходится дочерью, и она ответила, что она дочь Белы Татраи, как и учил папа. Прежде ей не доводилось представляться, она не понимала даже, когда это может пригодиться, если с незнакомыми разговаривать нельзя, а с кем она знакома, тот ее имя уже знает. Но сегодня впервые пригодилось все то, что говорил папа, она протянула руки, почему-то сразу обе, потому что не могла решить, какую именно нужно; а бабушка плакала и смеялась. Вера еще сказала:

– Здравствуйте, меня зовут Вера Татраи.

В ответ бабушка поцеловала ей руку – папа не рассказывал, что такого нужно ожидать, когда знакомишься с кем-то. Вере не понравилось, было даже немного противно, но обидеть бабушку она не хотела, поэтому руку не отдернула. Дедушка сказал, что был знаком с ее дедом, но тут же почему-то хотел сказать по-другому:

– То есть, – сказал он, почесав седую бороду, которая росла у него на самом подбородке. Борода страшно скрипела, – то есть, – сказал он еще раз и замолчал.

Бабушка поддержала:

– Ну конечно, это точно был он.

И добавила еще, что отец Верачки – она уже ласково называла ее так – что отец Верачки – инженер. Вера возразила, что ее отец – солдат, на что старики с облегчением рассмеялись, хотя ничего смешного в этом не было, но они долго

хохотали; конечно, ее отец служил в армии, но не воевал, а строил мосты, плотины и все такое.

Вера кивнула. Это было понятно, ее папа действительно много рассказывал о мостах и реках и гораздо меньше о танках и солдатах, и эта мысль настолько отвлекла всех, что она ничего не спросила о своих бабушке и дедушке. Теперь, по дороге домой, ее сковывало холодом от мучительного осознания того, что она как будто бы совершила непоправимую ошибку. Дедушка еще сказал, что на фронте он сражался бок о бок с вериным дедом, что он был хороший человек. О бабушке он не сказал ничего, а спроси Вера об этом – так бы чувствовала себя, как будто подглядела за кем-то в замочную скважину. Папа с мамой всегда говорили, что дедушка с бабушкой рано умерли – раньше все умирали рано, ничего необычного.

Когда Вера подошла к дому, она уже успокоилась, забылись все тяжелые предчувствия; она дернула ручку, но дверь не открылась: закрыто на крючок. Вера подняла взгляд на серые стены длинного дома напротив, ей он очень нравился, а родителей он всегда отталкивал своим угрюмым видом. А его окна так красиво переливались в вечернем свете, как будто зеркальца – или нет, как огромная мозаика или елочная гирлянда. На той стороне улицы Алфёльди, где стоял длинный дом, было не так темно, как на той, где протянулись сады и где как раз жили они. Папа говорил, что сад очень нужен, но Вера думала совсем не так. Папа говорил, ей можно все время играть в саду, но он вечно забывал скашивать там траву, поэтому играть там было не очень удобно. Когда папа возвращался со службы, мама «без толку просила» его покосить в саду, и тогда они шли на детскую площадку – там было даже лучше, потому что туда ходили играть и другие дети, которые жили в красивых высоких домах с лифтами. В общем, для Веры сад был чем-то совсем ненужным.

Мысли Веры бродили вокруг длинного дома, света в окошках, детской площадки и сада, но как только мама открыла ворота и сказала «Уже иду», опять пришел в голову тот дедушка, как скрипела его борода, и как он замолчал в нерешительности. Эта нерешительность вдруг показалась знакомой, Вере уже приходилось сталкиваться с ней – всегда, когда речь шла о ней или о ее родителях. Только раньше как-то не складывалось все это в единую картину. Но, заметив нерешительность дедушки, она вспомнила, как в той же нерешительности замолкали в школе, в магазине, на спортивных занятиях и на танцах – куда бы она ни пошла, всюду, когда говорили о ней, вдруг резко останавливались, будто бы речь шла о чем-то странном, о каком-то секрете; теперь она разложила все по полочкам. Вот и дедушка тоже оборвал себя на полуслове, словно отчаявшись, испугавшись чего-то, когда речь зашла о ее деде.

В этот момент дверь открылась, мама обняла ее, Вера же ответила на объятия как-то машинально, внутри у нее точно инеем все сковало ледяное, чудовищное подозрение.

*Перевод Марии Фроловой (marie.frolova@mail.ru), студентки 4 курса НГЛУ им. Добролюбова (Нижний Новгород), специальность «Перевод и переводоведение (английский и немецкий языки)». Венгерским занимается самостоятельно на протяжении последних трех лет, интересуется литературой и историей Венгрии. Перевод занял третье место в номинации «венгерская проза» (2019)*

## Гречо Кристиан. Открытие

Вера направлялась домой из Нижнего города: после уроков ей нужно было занести домашнее задание своей приболевшей однокласснице. К счастью, та просто-напросто прогуляла: Вера с детства побаивалась всевозможных болезней и терпеть не могла объяснять арифметику сопливым и кашляющим подругам. Радуюсь, что сейчас ничего подобного с ней не произошло, она шла, улыбаясь всему миру.

На площади Матяша на крыльце одного из старых крытых соломой домов сидели старики. Покосившаяся деревянная лавочка скрипела под ними, и даже сидя они поддерживали свои палки, будто этим палкам тоже нужно было на что-нибудь опираться. Старики смотрели на Веру, пока она приближалась к их дому, и она всё думала, нужно ли ей с ними поздороваться, ведь по словам отца с незнакомыми людьми нельзя разговаривать, но эти незнакомцы были стариками, и так ласково на неё смотрели... А может быть, с теми, кто так на тебя смотрит, всё-таки стоит здороваться? В наставлениях её удивительно непоследовательных родителей ничего такого не упоминалось. Ответ на вопрос вдруг отыскался сам собой: как только Вера поравнялась с лавочкой, откуда ни возьмись налетел резкий ветер, так же внезапно вместо полуденного солнечного света сверху как из ведра хлынул ливень, и старушка с подвязанным шалью трясущимся подбородком вместе со стариком в чёрной шляпе, перепугавшись, сама же её и окликнула.

Вместе они прошли на веранду, а потом, когда и там застучал дождь, старики провели Веру в тёмную кухню и сунули ей в руки полотенце. Она хотела было отказаться, но с её светлых косичек ручьями стекала вода, а полотенце было мягким и тёплым. Вера пригрелась и успокоилась. Потом старики предложили ей поужинать и даже хотели дать несколько монет. Это так поразило Веру, что они не стали настаивать, но хотя бы яблоко непременно нужно было съесть, и когда она его надкусила, старики тоже принялись за еду, ужасно довольные, будто она сделала им большое одолжение.

Она не понимала, в чём дело, но впервые в жизни в душу к ней закрались какие-то беспричинные сомнения: что-то в этот вечер было с ней не так. Слишком уж долго она шла домой, куриными шажками, приставляя задник одной кеды к носу другой. Скрипели резиновые подошвы, дождь закончился, стены церкви на площади Матяша ещё какое-то время желтели, солнце скатывалось всё ниже, а она вдруг встала столбом и зарыдала. Или нет, не зарыдала — ибо она не всхлипывала, только слёзы текли по её лицу: ведь никто кроме мамы с ней ещё не был так ласков. Вера, когда она плакала, плакала обо всех своих неудачах, она не была похожа на маму, которая могла плакать от радости или просто так. Но сейчас, несмотря на эту их несхожесть, она плакала как мама: с ней не случилось ничего плохого, но её тронуло, что эти старики так обрадовались, когда она всего лишь приняла их заботу.

Солнце скрылось позади дома, площадь посерела, повеяло прохладой. Задрожав, Вера направилась домой, вскоре перейдя на бег, книжки в портфеле

громыхали за её спиной. Ей пришло в голову, что такие старики вполне могли бы быть персонажами какой-нибудь сказки или героями библейской притчи — именно там случаются такие добрые, странные и непостижимые вещи.

Вера была очарована стариками. Встреча с ними осталась далеко позади и уже казалась ненастоящей. Но прохладный сентябрьский вечер отрезвил девочку, и сейчас ей вспомнилось, как старик спросил у неё, чья она дочка, и она рассказала, что она дочка Татраи Белы, представившись, как её учил отец. Ей ещё никогда никому прежде не приходилось представляться, и она не понимала, для чего это: с незнакомцами разговаривать запрещалось, а знакомым людям не было нужды представляться. Но теперь вдруг наставления отца в самом деле оказались полезными: она протянула руку, — старушка и заплакала, и засмеялась сразу, невозможно было понять, чего больше, слёз или смеха, — и представилась:

«Очень приятно, Татраи Вера».

Старушка принялась целовать её руки. Отец ни слова не говорил, что при знакомстве следует ожидать чего-то подобного, и Вера не могла назвать это чем-то хорошим. Ей было немножко неприятно, но старушку не хотелось обижать, и она не стала отнимать руки. Старик сказал, что знал её деда, и почему-то хотел исправиться, добавив «то есть...», теребя бороду. Волосы у него остались только в бороде, совсем седые. Страшно шепелявя, он снова повторил «то есть...» — и снова запнулся, старушка бросилась ему на помощь: «Разумеется, это был он. А папа у Верочки — так она её ласково назвала — инженер». Да нет же, её отец военный, поправила Вера, и старики с облегчением рассмеялись. Они долго продолжали хихикать, хотя здесь не было ничего смешного, приговаривая, что конечно, они подразумевали, что папа у неё служит в армии, но только ничего по долгу службы не рушит, а наоборот, строит — мосты, дамбы, и всякое в этом духе.

Вера кивала: это было знакомо, отец в самом деле часто рассказывал о мостах и реках, и намного меньше — о танках и солдатах. Эта мысль, к сожалению, отвлекла её, и она больше ничего не спросила о своих бабушке с дедушкой. Сейчас же, этим стылым вечером по дороге домой ей было так больно, будто случилась какая-то непоправимая ошибка. А ведь старик так много рассказывал о себе, как они с её дедом вместе сражались, вместе были на фронте, и что хороший человек он был, её дед. О маме её старик ничего не говорил, однако, если бы она спросила про всех них, то могло бы стать, старики и рассказали бы что-нибудь неожиданное. Отец с мамой всегда повторяли одно и то же, что те оба рано умерли, увы, слишком рано умерли, — и никогда не поминали ни о чём интересном.

Подойдя к дому, Вера успокоилась и забыла обо всех своих сомнениях и тревогах. Она толкнула калитку, но та уже была заперта на засов и не поддавалась. Вера стала разглядывать длиннющий серый дом, по мнению её родителей — угрюмый и безобразный. Но ей очень нравился этот дом, он был так красив вечерами, когда загоралось множество окон. Окна напоминали крошечные зеркала, или, если точнее, гигантскую мозаику; весь дом был похож на светящуюся новогоднюю ёлку. Противоположная сторона этого дома была

светлее, чем та, что виднелась от сада на улице Альфёльда, где они жили. Этому саду отец придавал большое значение, но ей он был совсем безразличен. Отец же считал, что она может в досталь там играть, но он всё время забывал выкашивать в саду траву, и Вера совсем не могла играть в этих зарослях. Если бы мама снова тщетно просила её погулять в саду, а папа остался бы на службе, то они скорее бы пошли на детскую площадку, где было гораздо лучше, потому что там играли и другие дети — все, кто жил в красивой длинной многоэтажке. Поэтому сад не представлял для Веры никакой ценности.

Мысли её блуждали между длинным домом, яркими окнами, детской площадкой и садом, но когда её мама открыла дверцу калитки со словами «Я уже здесь!», перед глазами снова всплыл теребящий бороду старичок, и вновь её охватили сомнения. И смутные эти мысли вдруг оказалась знакомыми: она поняла, что они возникали у неё почти всегда, когда речь заходила о ней или её родителях. Только до сих пор почему-то она не сопоставляла их друг с другом. Но нерешительное молчание старика напомнило все недомолвки, убегающие в сторону взгляды, и теперь все эти случаи, как будто они были школьными тетрадами с чёткими надписями, она могла бы перечислить без запинки. Такое бывало в школе, в магазине, на тренировках и на танцах, — словом, куда бы она ни шла, всюду случалось, что кто-нибудь в конце концов заговаривал о ней и внезапно умолкал, будто что-то непонятное, тайное приходило в его голову. И старик этот тоже, когда заговорил про её деда, отчаявшись подобрать слова, почти замолчал от испуга.

Дверь открылась, и мама бросилась обнимать Веру, но та едва ответила на её объятия: её сковало ужасное, леденящее душу открытие.

*Перевод Елены Капитохиной (perechenuga@mail.ru). Живет в Талдоме, работает в Москве. В 2016 г. окончила бакалавриат журфака МГУ, кафедра дизайна СМИ. Художник аквагрима, кактусист, кандидат в мастера судомодельного спорта, волонтер Дружины охраны природы МГУ. На филологическом факультете начала изучать венгерский язык, на журфаке – родственный венгерскому финский, увлекается переводом и адаптацией текста. Перевод занял третье место в номинации «венгерская проза» (2019)*

## ВЕНГЕРСКАЯ ПОЭЗИЯ

**Anna T. Szabó. Róka**

Rókát fogtam, nem ereszt el,  
figyel orral, figyel szemmel,  
füle hegyes, foga éles,  
forró róka, vörös, éhes,

minden sejtje lüktet, lángol,  
rám néz ki a lángolásból,  
pillantása, mint a mágnes,  
ahogy delejezve rám les,

**Анна Т. Сабо. Лисица**

Хвать лисицу – не сбежит,  
Глаз не дремлет, нос не спит,  
Зубы остры, слух остёр,  
Голодна, красна – костёр!

В каждой клетке бьётся, пышет,  
На меня глядит и слышит,  
Взгляд-магнит за мной следит,  
Выжидает, ворожит,

állattá bűvölne engem,  
hogy a csapdát elfelejtsem,  
én az állat, ő az ember,  
forró mágnes, magmaszemmel,

embert fogott, nem ereszttem,  
én fogom őt, ő fog engem,  
bűvöletben néz és nézem,  
nem enged el, ezért én sem,

ketten tartjuk a reteszt –  
rókát fogtam, nem ereszt.

### **Анна Т. Сабо Т. Лиса**

Мной в плен была взята лиса.  
Нюх напряжён. Глаза в глаза  
Глядит, оскалившись, она,  
Красна, как пламя, голодна.

И в каждой клетке пульс стучит,  
И взгляд её меня манит.  
Как жрица этого огня,  
Она глядит, глядит в меня

И замышляет колдовство,  
Метаморфозы торжество:  
Я – зверь, она же – человек  
С горящим взглядом из-под век.

Она смогла меня поймать,  
Но я не буду отпускать  
Её. Огонь горящих глаз  
Взаимно сковывает нас.

Мы обе смотрим на засов.  
Я в плен была взята лисой.

*Перевод Анастасии Гавриленко  
(nastuwka@list.ru). Анастасия Юрьевна –  
учитель русского языка и литературы*

Превратить меня бы в зверя,  
Чтоб в ловушку шла, ей веря,  
Кто тут зверь, кто человек,  
Жжет как магма из-под век,

Человеку не сбежать,  
Значит, мне ее держать,  
Друг на друга смотрим с дрожью,  
Не отпустит, и я тоже.

Вместе нам засов держать,  
Хвать лисицу – не сбежать.

*Перевод Александры Алиповой  
(zelen-a@mail.ru). Занял второе место в  
номинации «венгерская поэзия» (2019)*

### **Анна Сабо. Лиса**

Я в лесу поймал лисицу:  
Жарко дышит и косится,  
Уши – клинья, зуб – как жало,  
Враз меня околдовала.

Бьётся пульс, лазейку ищет,  
Смотрит – будто из кострища,  
Я стою остолбенело —  
Как магнит, сковала тело.

— За меня лисою будь,  
Колдовство моё забудь,  
Я – охотник, ты – лиса,  
Уходи к себе в леса! —

Сверлит глазом. — Нет, подруга,  
Мы в ловушке друг у друга,  
Ты колдуешь — я в ответ,  
Нам назад дороги нет.

Так и ловим среди дня  
Я – лису, она – меня.

*Перевод Елены Капитохиной  
(perecheniga@mail.ru). Живет в Талдоме,  
работает в Москве. В 2016 г. окончила*

*московской школы №1231 имени В.Д. Поленова, филолог, кандидат педагогических наук. Относится к иностранным языкам с большим интересом, особенно в сопоставлении с русским: изучает черты сходства и отличия языковых систем. Перевод занял первое место в номинации «венгерская поэзия» (2019)*

*бакалавриат журфака МГУ, кафедра дизайна СМИ. Художник аквагрима, кактусист, кандидат в мастера судомодельного спорта, волонтер Дружины охраны природы МГУ. На филологическом факультете начала изучать венгерский язык, на журфаке – родственный венгерскому финский, увлекается переводом и адаптацией текста.*

ПЕРЕВОДЫ С ЧЕШСКОГО



## ЧЕШСКАЯ ПРОЗА

### Bohumil Hrabal. Automat svět

Zasklenou stěnou automatu stékaly stříbrné curůčky večerního deště, po náměstíčku kráčelo několik chodců v předklonu a drželo si klobouk nebo deštník. A do automatu pronikala ze salonku v prvním patře veselá hudba a hovor, který propukal v nezávazný smích. Paní výčepní roztočila piva a šla na toaletu. Když otevřela dveře, metr od podlahy visely perforované střevíce, pak do žlutočerveně kostkované sukně zastrčené nohy a potom kabátek se zplihlýma rukama z rukávů a dívčí hlavou vyvrácenou ke klopě... Oběšená dívka na pásku od montgomeráku na klíce větracího okénka. „No,“ řekla paní výčepní, pak přinesla štafle, jedna prodavačka nadzvedla tu oběšenou a paní výčepní ji dlouhým nožem od salámu odřízla. A hodila si dívku na ramena a odnesla ji za výčep do alkovny, položila ji na odkládací stůl, uvolnila škrťací pásek. A zvedla oči. Za zasklenou stěnou automatu stál v dešti mužský a zíral na ten odkládací stůl. Paní výčepní zatáhla kartonovou záclonku. Pak přijel pohotovostní vůz. Mladý lékař vběhl do automatu, dva zřízenci vytahovali nosítka. Lékař položil ucho na dívčí hrud', vzal ji za zápěstí a rozhrnul karton a rukama ukazoval, aby zřízenci už nechodili. „Jsme tady zbytečný,“ řekl. „A co my tady s ní?“ optala se paní výčepní. „Přijede patologie,“ řekl. „Tak ať přijede brzy, prodáváme tady jídlo a pití.“ „Tak to tu na tu chvíli zavřete,“ řekl doktor a vběhl do deště a pohotovostní auto se s ječením rozjelo.

### Богумил Грабал. Закусочная «Мир»

По застекленной стене закусочной стекали серебряные капли вечернего дождя; по площади шагали несколько пешеходов, наклонившись вперед, и придерживали свои шляпы или зонтики. В закусочную с банкетного зала на первом этаже проникала веселая музыка и разговор, который переходил в непринужденный смех. Официантка раздала пиво и пошла в туалет. Она открыла дверь и в метре от пола обнаружила висевшие перфорированные башмаки, укрытые желто-красной клетчатой юбкой ноги, пальтишко, из рукавов которого виднелись неподвижные руки, и девичью голову, повернутую к лацкану... Повешена девушка была на пояс от пальто, привязанный к ручке вентиляционного люка. «Ну», – сказала официантка, потом принесла стремянку; продавщица приподняла повешенную, и официантка длинным ножом для колбасы обрезала удавку. Она вскинула девушку на плечи и отнесла ее за пивную стойку, положила на откидной стол, ослабила удавку. И подняла глаза – за застекленной стеной закусочной под дождем остановился мужик и пялился на этот стол. Официантка задернула картонную занавеску. Потом приехала дежурная неотложка. Молодой врач вбежал в закусочную, двое вытаскивали носилки. Врач положил ухо на девичью грудь, взял ее за запястье и поднял занавеску, руками указывая, чтобы помощники уже не ходили. «Мы здесь не нужны», – сказал он.

«А что нам с ней делать?» – спросила официантка. «Приедет патологоанатом», – произнес он. «Пусть едет быстрее, мы здесь еду и напитки продаем». «Так закройте на минутку», – сказал доктор и выбежал в дождь, и дежурная машина с сиреной уехала.

*Перевод Юлии Жгулевой ([zhgulial@bk.ru](mailto:zhgulial@bk.ru)), магистрантки 2 курса Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, направление подготовки «Филология: русский язык и русская литература для иностранцев», г. Тюмень. Перевод занял второе место в номинации «чешская проза» (2018)*

### **Богумил Грабал. Закусочная «Мир»**

Серебряные струйки вечернего дождя стекали по большому, во всю стену, окну закусочной. По маленькой площади, держась за шляпы и зонты, шли согнувшиеся прохожие. А в закусочную из зала на втором этаже проникала веселая музыка и разговор, то и дело переходивший в лёгкий смех. Буфетчица налила в кружку пиво и направилась в уборную. Открыв дверь, она увидела висящие в метре от пола босоножки, потом прикрытые красно-желтой клетчатой юбкой ноги, жакет с обвисшими руками из рукавов и, наконец, голову, неестественно вывернутую к воротнику... Девушка висела на поясе от плаща на ручке форточки. «Господи!» – выдохнула буфетчица и побежала за стремянкой. Другая продавщица приподняла повешенную, и буфетчица отрезала верёвку длинным колбасным ножом. Затем взвалила девушку себе на плечи и отнесла её в нишу за стойкой, положила на складной стол, ослабила петлю. И подняла глаза. За окном закусочной стоял под дождем мужчина и смотрел на этот складной стол. Буфетчица перевернула картонную табличку на двери. Вскоре приехала неотложка. Молодой врач вбежал в закусочную, пока два санитаря доставали носилки. Доктор приложил ухо к груди девушки, обхватил пальцами запястье, затем подошёл к окну и жестами показал, чтобы санитары возвращались в машину.

– Мы здесь уже без надобности, – сказал он женщинам.

– А нам-то что с ней делать? – возмутилась буфетчица.

– Приедет патологоанатом, – бросил врач.

– Только пусть он поскорей приезжает, мы тут всё-таки еду с напитками продаём.

– Ну, закроетесь ненадолго, – пожал плечами доктор и выбежал под дождь. Машина скорой помощи со скрежетом тронулась.

*Перевод Анастасии Каганович ([xhxnasa789@mail.ru](mailto:xhxnasa789@mail.ru)), студентки направления «Медиажурналистика» Института Общественных Наук РАНХиГС при Президенте РФ. Перевод занял второе место в номинации «чешская проза» (2018)*

### **Богумил Грабал. Автомат Свет**

По витрине буфета-автомата стекали серебряные струйки вечернего дождя, проходящие по небольшой площади пешеходы пригибались и придерживали шляпу или зонтик. А из зала на втором этаже доносилась музыка и гул разговоров, прерывающийся взрывами хохота. Буфетчица подготовила пиво к

розливу и отошла в туалет. Когда она открыла дверь, в метре над полом висели перфорированные сандалии, потом торчащие из жёлто-красной клетчатой юбки ноги, а после пиджачок с повисшими из рукавов руками и девичьей головой, свёрнутой к лацкану... Девушка, повесившаяся на пояске от плаща на ручке вентиляционного окошка. «Ну-ну», – сказала буфетчица, потом принесла стремянку, одна из продавщиц приподняла повешенную, и буфетчица срезала её длинным ножом для колбасы. Перебросив девушку через плечо, она отнесла её в нишу за пивной стойкой, положила на приставной столик, ослабила сдавливающий горло пояс. И подняла взгляд. За витриной буфета под дождём стоял какой-то мужик, уставившись на столик. Буфетчица опустила картонные жалюзи. Потом приехала машина скорой помощи. Молодой врач вбежал в буфет, два санитары вытаскивали носилки. Врач приложил ухо к груди девушки, взял её за запястье, и, раздвинув жалюзи, жестами показал санитарам, что им не надо входить. «От нас тут никакого проку», – сказал он. – «А что нам с ней делать?» – спросила буфетчица. – «Приедут из морга», – сказал он. – «Так пусть приезжают быстрее, мы тут еду и напитки продаем». – «Так закройте ненадолго», – сказал доктор и выбежал в дождь, и машина скорой помощи отъехала под вой сирены.

*Перевод Алёны Резвухиной (angrest@mail.ru), студентки второго курса магистратуры по направлению «Культурология», специальность «Архетипы русской культуры», СПбГУ. Место жительства: Санкт-Петербург, ранее Калининград. Перевод занял третье место в номинации «чешская проза» (2018)*

### **Богумил Грабал. Закусочная Мир**

По стеклянной витрине закуской стекали серебряные струйки вечернего дождя, снаружи по небольшой площади шагало несколько прохожих, чуть наклонившихся вперед, каждый из них держал в руке шляпу или зонт. Из фойе на первом этаже доносились звуки веселой музыки и разговоров, постепенно переходящих в беззаботный смех. Официантка, закончив разливать пиво, отошла в туалет. Открыв дверь, она увидела дырявые башмаки, висящие примерно в метре над полом, полностью укрытые клетчатой юбкой ноги, пальто, с руками беспомощно торчащими из рукавов, и девичью голову, повернутую к воротнику... Девушка повесилась на поясе от военного плаща, привязанном к оконной ручке. “М-да”, – буркнула официантка и принесла стремянку, одна из продавщиц приподняла повешенную, и официантка перерезала петлю длинным ножом, предназначавшимся для резки колбасы. Она закинула девушку на плечи и отнесла ее в альков за барной стойкой. Положив девушку на стол, она ослабила петлю и подняла глаза. За витриной закуской под дождем стоял мужчина и таранился на стол. Официантка закрыла шторку. Затем приехала скорая. Пока санитары вытаскивали носилки, в закускую вбежал молодой врач. Он приложил ухо к груди девушки, взял ее за запястье, а затем приоткрыл шторку и рукой показал санитарам, чтобы они возвращались обратно. “Тут мы уже ничего не сможем сделать”, – сказал он. – “А что нам с ней делать?” – спросила официантка. – “За ней приедут из морга”, – ответил врач. – “Пусть поторопятся,

вообще-то мы здесь еду и напитки продаем”. “Значит, вам придется закрыться на некоторое время” – сказал врач, выбежал на дождливую улицу, и машина скорой помощи со свистом тронулась.

*Перевод Максима Пантелеева (panteleev.maxim@gmail.com). Родом из с. Приволжье, Самарская обл., 7 лет живет в Праге, выпускник Чешского технического университета (г. Прага), специальность «Электротехника, энергетика и менеджмент». Работает трейдером-аналитиком, учится по программе «Росдистант» в Тольяттинском государственном университете. Любит языки, владеет, кроме русского, чешским и английским. Перевод занял третье место в номинации «чешская проза» (2018)*

## ЧЕШСКАЯ ПОЭЗИЯ

**Vladimír Holan. Ó Kniho...**

Ó kniho, napětí a tlaku! Ano,  
neslyším, neslyšíš.  
Vnitřní vedení zpřetrháno,  
je zpřetrháno již.

Ach, byli velcí, tišší nežli hromy,  
u kterých potom směl a smí  
dech mízy dolů, takže stormy  
začly kvést pod zemí.

Co my však, kniho!... Havran klová  
sráz vykřičníků, jež tě vzněcují  
nejdelší nocí v roce slova,  
kde kopec kopcuje a věci věcují!

**Владимир Голан. О, книга...**

О, книга, ты напор и напряженье!  
Да, я не слышу, ты не слышишь тоже.  
Все связи порваны – признаем  
пораженье,  
И порваны давно, похоже.

Велики были, хоть и тише грома,  
Дыханье их аж до земли стекало,  
Да так, что даже под землей истома  
В цветущий сад деревья превращала.

Так, что есть мы, о, книга? Ворон  
чинный  
Склевал, волнуя, знаки восклицанья,  
И всколыхнул слова той ночи  
длинной,  
Где холм холмится в бездне  
мирозданья.

*Перевод Веры Соломахиной  
(veroniquesvrn@yandex.ru), преподавателя  
английского языка, г. Воронеж. Перевод  
занял второе место в номинации  
«чешская поэзия» (2018)*

ПЕРЕВОДЫ С КИТАЙСКОГО



## КИТАЙСКАЯ ПРОЗА

刘震云 著

### 《吃瓜时代的儿女们》(节选)

彩虹河上的彩虹三桥被炸塌时，杨开拓正在村里参加他外甥的婚礼。杨开拓是本县人，在县里便有许多亲戚朋友；但这些亲戚朋友的婚丧嫁娶，杨开拓一概不参加。不参加不是不近人情，而是这些人无法招惹。杨开拓是该县公路局局长，负责该县的公路和桥梁建设；这些亲戚朋友，便认为这些公路和桥梁，是杨开拓家的；自己家养的大肥猪，自家人不吃这肉，难道让不相干的人抢去不成？一见面，就跟他要工程干。杨开拓也不是没照顾过亲友，五年前，从××村到××村，欲铺一条柏油小路，三里路，造价五十万；杨开拓平日管的公路或桥梁建设项目，动辄造价几个亿；五十万元的工程，等于牛身上一根毫毛；于是把这根牛毛，交给一个本家侄子的工程队承包。三里长的柏油小路，一个月就修成了，看着也光鲜亮丽；但三个月后，路面东鼓一疙瘩，西塌一个坑；一下雨，汽车一碾，坑连坑，洼连洼，还不如原来的土路；让杨开拓招了不少骂。杨开拓问这侄子的爹也就是他的堂哥，侄子修路花了多少钱。堂哥理直气壮地答：

“二十万。”

五十万的工程，他们只花了二十万，留下三十万装进他们的腰包。杨开拓不佩服别的，就佩服他们胆大。谁最想贪污腐败？就是他们。这几年中央反腐倡廉，抓进去不少人，成了杨开拓拒绝亲戚朋友的理由，谁再给他要工程，他说：“你们也想让我进去吗？”名正言顺，就把事情给推了。虽然工程的事能推，但这些亲戚朋友，还有其他许多啰唆的事要办，杨开拓能不与他们接触，就不接触。

但今天外甥的婚礼，杨开拓却参加了。因为这个外甥不同别人，他是杨开拓大姐的儿子；杨开拓的大姐，又不同于别人，杨开拓从小是拉着大姐的衣襟长大的；没有杨开拓的大姐，就没有今天的杨开拓。杨开拓一岁时，当地流行脑膜炎，杨开拓也被传染上了，发高烧说胡话；三天之后，奄奄一息。那时国家还没实行计划生育，家里孩子都多，杨开拓姐弟七人，多一个或少一个，没人在意；杨开拓他妈又脾气暴躁，杨开拓还没断气，他妈就把他扔到草屋里，让他自生自灭。杨开拓的大姐那年九岁，每天三次，跑到草屋来看杨开拓，给他喂水。三天之后，杨开拓又缓了过来。如果当时大姐不给他喂水，杨开拓发着高烧，渴也渴死了。杨开拓自幼身体弱，在学校总受别的孩子欺负。受了欺负不会别的，就会哭。每次也是大姐出头，替他出气。现在大姐的儿子结婚，杨开拓决定破例参加，给大姐出头，撑撑场面。因为杨开拓是县里一位局长，他一到场，婚礼的规格，马上显得高了许多。婚礼过后，摆席吃饭。十几桌宴席，就摆在姐姐家的院子里。因为杨开拓身份最高，理所当然地坐到了主桌；主桌上，又坐在主位。主桌上除了杨开拓，还有来送新娘子的娘家人，几位叔叔大爷和哥哥弟弟；陪娘家人吃饭的，除了杨开拓，还有村里两位头面人物：本村的村长和会计；杨开拓有个姨家表弟，家是邻县的，邻县善搞劳务输出——所谓劳务输出，就是把一帮农民带到非洲盖房子修铁路，这个表弟在博茨瓦纳建筑工地上当焊工，现在回来休假，人晒得跟非洲人似的，因是从国外回来的，也坐了主桌。新娘子的娘家人都是乡下人，由于桌上有杨开拓，他们都显得拘束，眼睛盯着地，也不说话。表弟虽从国外归来，也不善言辞，盯着院子里的新房，在念门框上新贴的对联。这个村的村长是场面人，看着冷场，有些着急：

“杨局长，今天是大喜的日子，不能就这么绷着呀；不然客人回去，会说咱这边没人呀。”

村里的会计也忙帮腔：

“就是，咋着也得吃好喝好，不然丢的就不是咱村的人，是杨局长的人。”

为了替姐姐家撑场面，杨开拓提起精神：

“就是，今天不喝翻几个，谁也别想走出这院子。”

大家笑了，气氛也活跃了。娘家人中一个老汉说：

“杨局长，你天天经历的是大场面，俺们都是乡下人，没量啊。”

杨开拓：

“老人家，你要这么说，就是有量。喝酒跟干工作一样，有底气的人，才敢说自己不行。”

### **Лю Чжэньюнь. Поколение стадной эпохи (отрывок)**

В день, когда взорвался третий мост на реке Цайхунхэ, Ян Кайто гостил в деревне на свадьбе своего племянника. Сам он был из местных, родственников, и приятелей у него в этом уезде было предостаточно, однако мероприятия вроде свадеб, поминок и прочего Ян Кайто старался обходить стороной. Не то чтобы он был черствым, а не приходил лишь потому, что с его родней лучше было не связываться.

Надо сказать, что в своем уезде Ян Кайто был начальником управления и заведовал прокладкой дорог и мостов. Родня и друзья же на его должность и сопутствующие ей мосты и дороги глядели по-свойски, как говорится – раз сам свинью вскормил и не ешь, так неужто лакомый кусок чужим людям отдавать? Потому каждый раз, когда Ян Кайто встречался с близкими, они выпрашивали какой-нибудь подряд. И ведь нельзя сказать, что он о семье не радел – вот, например, лет пять назад нужно было между двумя поселками проложить короткую, в три ли, асфальтированную дорогу с бюджетом в полмиллиона. Обычно Ян Кайто заведовал проектами покрупнее, где речь о сотнях миллионов шла, и для него дорога за пятьсот тысяч – что капля в море. Так отчего бы эту каплю бригаде племянника в подряд не отдать, подумал он. Работа была выполнена за месяц, и дорога на первый взгляд вышла гладкая, а через три месяца началось – тут бугор, там яма; чуть дождь пройдет или машина проедет – всюду провалы и вмятины остаются. Дорога вышла еще хуже той грунтовой, что была до этого, а все шишки достались начальнику Яну.

Пошел Ян Кайто к своему двоюродному брату, отцу бригадира, разбираться, сколько денег племянничек на работу истратил. А брат без обиняков ему и ответил – двести тысяч.

Выходит, что из положенных пяти сотен потрачено было всего две, а триста тысяч ушли прямехонько родне в карман. Тут уж Ян Кайто ничего, кроме как

восхититься подобной дерзостью, поделаться не смог. Кто в итоге оказался жадным до чужих денег? Своя же родня. А в последние годы, после того как правительство развернуло антикоррупционную борьбу, уже немало ответственных лиц на горячем поймали, и Ян Кайто начал родственникам в таких делах решительно отказывать. Тем, кто просил, говорил: "Неужто вы и меня хотите под статью подвести?", на том разговор и заканчивался. Только хоть с работой вопрос был исчерпан, родня вечно находила предлоги поприставать к начальнику Яну, а потому контактов с ней он по возможности избегал.

Однако сегодня на свадьбу племянника Ян Кайто все же пришел. Ведь это был не кто-нибудь, а сын старшей сестры нашего начальника, и сестра эта тоже от других людей отличалась – можно сказать, что вырос Ян Кайто, держась за сестрину юбку. Если бы не она, не было бы сейчас начальника Яна. Когда он был еще годовалым ребенком, по округе прошла эпидемия менингита, вот и маленький Ян Кайто заразился, да так, что три дня с жаром в бреду метался, вот-вот – и дух бы испустил. В те времена никакой политики ограничения рождаемости и в помине не было, в каждой семье – семеро по лавкам. Семья Ян Кайто не отставала – нарожали семь детей, а там уж одним больше, одним меньше, никому и дела нет. К тому же нрав у хозяйки дома был крутой – еще не успел маленький Ян с жизнью распрощаться, мать возьми да и брось его, полуживого, в сарае, и будь что будет. Только старшая сестра, которой в ту пору было девять лет, младшего брата на погибель не бросила – по три раза на дню прибегала в сарай проведать его, да еще воды приносила. Прошло три дня, и мальчик пошел на поправку. Вот и выходит, что, если бы тогда сестра за ним не ходила, воды бы ему не носила, помер бы он в том сарае от жара и жажды. Ребенком Ян Кайто рос болезненным и слабым, детвора в школе его частенько задирали, а он и ответить-то ничего не мог, только ревел. Тут показывалась сестра и вместо него обидчикам отпор давала. Ну а нынче Ян Кайто решил сделать исключение из своих правил – показаться на свадьбе племянника и присутствием своей важной персоны поднять статус мероприятия. Он ведь не невесть кто, а уездный начальник, а потому едва он на порог ступил, как свадьба тут же обрела в значимости.

После официальной части, как водится, пришел черед банкета, и во дворе сестрино дома расставили с дюжину праздничных столов. Поскольку статус Ян Кайто был выше, чем у всех присутствующих, то его, разумеется, усадили не куда-нибудь, а за главный стол, да еще на почетное место. Помимо него, за тем столом разместились дядья и братья со стороны невесты, тут же пара деревенских "высших чинов" в лице старосты и бухгалтера, а также двоюродный брат Ян Кайто из соседнего уезда. Уезд этот в округе был известен своим так называемым "экспортом рабочей силы", то бишь отправкой деревенских на заработки в Африку, где те дома строили и железные дороги прокладывали. Вот и этот брат отработал сварщиком на стройке в Ботсване, вернулся домой на побывку, сам уже чернее африканца, но ведь из-за границы приехал – стало быть, место ему за главным столом. Родня невесты, вся из деревенских, оказавшись за одним столом с таким высокопоставленным лицом, как Ян Кайто, сконфузилась, глаза в землю

потупила и молчала. Сварщик из Ботсваны тоже, даром что с чужбины приехал, красноречием не блистал, знай себе разглядывал брачные покои и пристально изучал парные поздравления молодым, развешанные у дверей. Деревенский староста, как человек к мероприятиям привычный, глядя на напряженную атмосферу праздника, немного заволновался:

– Начальник Ян, что же это, такой счастливый день, а веселья-то и нет. А ну как гости по домам разойдутся и будут судачить, мол, на свадьбе и людей-то приличных не было.

Тут и бухгалтер ему в голос завел:

– А и правда, отчего бы и нам не погулять, иначе не просто наших деревенских подведем, а родню начальника Яна.

Ян Кайто, чтобы сестрину семью не обидеть и протокол соблюсти, воспрял духом и выдал:

– Ну, кто сегодня пару-тройку стопок не выпьет, того за порог не пустим.

Гости рассмеялись, и атмосфера тут же оживилась. Какой-то старик со стороны невесты обратился к Ян Кайто

– Эх, начальник Ян, вы-то к большим застольям привычны, не то что мы, деревенские, и пить-то не умеем.

На что ему Ян ответил:

– Вы, почтенный, как раз и умеете, раз так говорите. Ведь пить, что работать, а тот, кто говорит, что не выдюжит, и есть истинный умелец.

*Перевод Анны Пан ([anuo121800@mail.ru](mailto:anuo121800@mail.ru)), студентки 4 курса Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, профиль “Китайская филология”. Считает художественный перевод с китайского вызовом самой себе, поскольку сделать китайскую литературу понятной и доступной для русскоговорящего читателя зачастую очень трудно. Перевод предоставляет отличную возможность углубить знания как изучаемого А. Пан китайского языка, так и родного русского. Перевод занял первое место в номинации «китайская проза» (2018)*

### **Лю Чжэньюнь. Дети стадной эпохи (отрывок)**

Когда на Радужной реке обвалился Третий мост, Ян Кайто сидел в деревне на свадьбе у племянника. Ян Кайто был из местных, так что по всему уезду родственников и приятелей у него было немало; но только все церемонии – свадьбы ли, похороны ли, – всегда проходили без него. И не то чтобы он был человеком черствым, а просто со всеми этими братьями и сватьями совершенно невозможно было иметь дело. Ян Кайто служил начальником уездного управления автомобильных дорог и отвечал за строительство дорог и мостов в уезде; а потому и друзья, и родня неизменно считали все дороги и мосты собственностью семьи Ян Кайто. Как говорится, от своей свиньи сам мяса есть не станешь, но не отдашь ведь жирный кусок в чужие руки! Вот и стоило Ян Кайто кого-нибудь встретить, как у него тут же просили строительный проект. И ведь нельзя сказать, чтобы Ян Кайто не заботился о родных и друзьях: пять лет назад

он решил проложить асфальтовую дорожку от деревни А до деревни Б в три ли<sup>1</sup> длиной за пятьсот тысяч юаней. Дороги и мосты, которыми заведовал Ян Кайто, обычно обходились в сотни миллионов; при таком раскладе пятьсот тысяч юаней – капля в море; так что подряд на эту самую каплю он отдал бригаде своего племянника. Дорожка в каких-то три ли длиной месяц спустя уж была готова, чуть не сияла от новизны; но через три месяца с одного конца вздулась, с другого просела; стоит дождю пройти, как дорога уж вся разбита – яма на яме, кочка на кочке; вышла новая дорога еще и похуже прежней, грунтовой; тут уж на голову Ян Кайто посыпалось немало ругани. Тогда Ян Кайто пошел визнавать у отца этого племянника – то есть своего двоюродного брата – сколько его сын истратил на дорогу. Брат не моргнув глазом ответил:

– Двести тысяч.

Выходит, из пятисот тысяч они потратили лишь двести, а оставшиеся триста положили себе в кошелек. Ян Кайто даже восхитился их храбростью. И кто тут оказался нечист на руку? Его родня. В те годы ЦК как раз вел активную борьбу с коррупцией, было арестовано немало чиновников, так что Ян Кайто нашел способ отваживать друзей и родных: теперь, когда кто-то снова приставал к нему с просьбами, он отвечал: «И вы туда же – решили меня за решетку упечь?». Стоило найти правильные слова, как дело сразу пошло на лад. Правда, пусть по вопросам строительным его больше не тревожили, у всех этих родственников и друзей было предостаточно других проблем, с которыми можно было к нему привязаться, так что Ян Кайто как мог старался с ними не общаться.

Но на свадьбу племянника Ян Кайто все-таки пришёл. Потому что этот племянник был не то что другие – он был сыном старшей сестры Ян Кайто; а старшая сестра тоже была не ровня остальной родне – Ян Кайто, можно сказать, вырос, держась за ее подол. Словом, не было бы сестры – не было бы сейчас и Ян Кайто. В ту пору, как ему едва исполнился годик, по уезду гулял менингит, и Ян Кайто тоже заразился: у малыша подскочила температура, он начал бредить и через три дня был уже при последнем издыхании. В то время государство еще не проводило политику планирования рождаемости, детей в семье и без того хватало, у Ян Кайто было семь братьев и сестер: одним больше, одним меньше, – никому до этого не было дела. А у матери Ян Кайто, ко всему прочему, был крутой нрав: не успел еще сын испустить последний вздох, как она бросила его в соломенную хижину, предоставив воле судьбы. Сестре Ян Кайто тогда было девять; по три раза в день она бегала в хижину и носила ему воду. Через три дня Ян Кайто пришел в себя. Если бы сестра тогда не поила его, он так бы и лежал в жару и в конце концов умер бы от жажды. Ян Кайто с детства был слабеньким, и в школе ему вечно доставалось от других детей. В ответ на обиды он только и мог, что реветь. И всякий раз сестра приходила ему на выручку и вступалась за него. А сейчас у сестры женился сын, и Ян Кайто, вопреки своему обычаю, решил побывать на свадьбе, чтобы теперь прийти на выручку сестре, ну и придать событию значимости. Ведь Ян Кайто был начальником уездного управления:

---

<sup>1</sup> Ли – традиционная китайская мера длины, равная 0,5 километра. – *Прим. пер.*

стоило ему появиться, как свадьба тут же словно обрела особую торжественность. После церемонии принялись за угощение. Пир накрыли прямо у сестры во дворе, на десять с лишним столов. Раз Ян Кайто занимал самое высокое положение, то и сидеть он, само собой, должен был за главным столом; ну а за столом он, само собой, должен был сидеть на главном месте. За этим столом, кроме Ян Кайто, сидела еще семья невесты, несколько дядюшек и братьев; компанию семье невесты, кроме Ян Кайто, составляли еще два значительных лица: деревенский староста и счетовод; у Ян Кайто в соседнем уезде жил двоюродный брат со стороны жены, и в этом соседнем уезде отлично был налажен так называемый «экспорт рабочей силы» – на деле крестьян просто отправляли в Африку строить дома и ремонтировать железные дороги; так вот этот двоюродный брат работал сварщиком на стройке в Ботсване и приехал домой отдохнуть – такой загорелый, что от африканца не отличишь; а раз уж он вернулся из-за границы, то и его посадили за главный стол. Родня невесты вся была из простых сельских жителей, за одним столом с Ян Кайто им, казалось, было не по себе, и они уткнулись взглядом в пол, не издавая ни звука. Двоюродный брат, хоть и вернулся из-за границы, тоже не шибко умел говорить и упорно разглядывал дом новобрачных, читая парные надписи на двери<sup>1</sup>. Деревенский староста был человеком учтивым и, почувствовав неловкость, слегка засуетился:

– Начальник Ян, в такой счастливый день не пристало сидеть вот этак, проглотив язык; а не то гости разойдутся по домам, скажут, что здесь вовсе и нет никого.

Счетовод тут же поспешил поддакнуть:

– Точно, как-никак надо и поесть, и выпить, а то стыдно будет не нам, деревенским, а начальнику Яну.

Чтобы вместо сестры поддержать честь семьи, Ян Кайто решил их приободрить:

– Верно, пусть сегодня никто даже не помышляет выйти с этого двора, не опрокинув пару стопочек!

Все засмеялись, и за столом стало веселее. Тут подал голос старик со стороны невесты:

– Начальник Ян, у вас что ни день – то большое событие, ан мы-то все люди простые, не горазды пить.

Ян Кайто ответил:

– Дедушка, коли вы так говорите, значит, как раз в этом преуспели. С выпивкой ведь как с работой – только мастер решится сказать, что он ни на что не годен.

*Перевод Александры Храцовой (al-khr@mail.ru), студентки 2 курса магистратуры Восточного факультета СПбГУ по специальности «Современный Китай: экономика, политика, общество». Перевод занял второе место в номинации «китайская проза» (2018)*

---

<sup>1</sup> По случаю больших праздников, например, во время Нового года или свадьбы, китайцы вывешивают по обе стороны от входной двери красные бумажные полосы с пожеланиями. – *Прим. пер.*

## 东西《双份老赵》（节选）

老赵其实不老，“老”只是一个亲切的称呼，相当于“阿”。他长着二十多岁的头发，三十多岁的皮肤，却具备了一百岁的智慧。自打识字那天起，他的脸上就出现了思考的表情。这种表情一直保持到现在，如果不小心辨认，还以为来自他父母的基因，但实际上却是他勤于皱眉头的结果。

七年前，小夏婷婷玉立，说漂亮有漂亮，说气质有气质，是某家银行的职员。尽管追求她的男子排了长长一列，却没一个被她相中，原因是他们要么长得太白，要么显得幼稚，无法给她一种落地的感觉。直到老赵这张思考型的脸庞出现在窗前，她的心里才“咯噔、咯噔”。开始，老赵也不是来给她“咯噔”的，而是来存款，取钱。因为经常来，彼此由点头到交谈，渐渐地就混熟了。熟到差不多的时候，小夏劝老赵把钱全部存入本行。老赵说：“不能把所有的鸡蛋都放一个筐里，万一没拿稳，那就只剩下我这个蛋了，穷光蛋的蛋。”

这是排名数一数二的银行，哪怕所有的银行都倒闭了，也轮不到它倒闭。更何况老赵的那点钱就像沧海一粟，无论存进去或者取出来都不影响银行的总量。小夏觉得他多虑，甚至认为他不信任自己。老赵说：“我可以信任一个人，但不可以信任一个集团。”而小夏偏偏把银行当亲爹，并用它来检验老赵的忠诚度。老赵问：“难道喝一口茶，连杯也要一起吞下去吗？”

小夏说：“单位就像我的衣裳，你不会只爱我的身体吧？”

老赵于是又存了一笔定期。小夏问他是不是把全部都存进来了？老赵气得直打喷嚏，忍不住给她上课：“就像一个人不能只有一个信仰，否则，委屈的时候你都找不到安慰的理由。一家人不会同时上一条贼船，也不会同时坐一架飞机。为什么那么多人要找干爹？民间说法是保自己长命，而真正的原因却是多个干爹多条后路。”小夏被这剂猛药呛得连声咳嗽。她终于落地了，心像踩在水泥地板上那么踏实。不过结婚之前，她还得考验考验老赵。

小夏打开地图，指着最远的地方——麦哲伦海峡，说：“怎么样？”老赵说：“只要你开心，下个月就去。”小夏感动了，手指在地图上跳舞，舞着舞着，就舞到了夏威夷群岛。她说：“偶心疼钱，还是选近一点的地方吧。”老赵一拍桌子，整个太平洋都倾斜了。他说：“看不起人是不是？知道吗，你花谁的钱，谁就是交桃花运。”小夏的手指立即从夏威夷起飞，这回跳的是芭蕾。手指优雅地划过高山，越过海洋，像两只白天鹅落在桂林的山头。“就这儿吧。”小夏说。老赵被小夏变化的速度搞晕。他用一秒钟倒了倒时差，说：“对我的钱包，请你务必做到浪费光荣，节约可耻。”小夏笑了：“浪费你的，那不就等于透支我的未来吗？”

最后，他们选择了西部的一座山峰。那是个热门的景点，好多名人和有名字的人都去爬它。有位著名的董事长，每个季度都带着一群记者去爬，每爬一次，公司的股票

就连续涨停三天。老赵和小夏也想让他们的感情股涨一涨，于是都跟单位请了假。登机之前，老赵为每人买了两份保险。小夏看在眼里，喜在心尖尖。她一坐上飞机，就把脸靠住老赵的肩膀，死心塌地做他的零件。渐渐地，靠的和被靠的部位都有些麻，但是，谁都舍不得动一动。他们只用一个姿势就完成了一千多公里的飞行。

到了山下旅馆，小夏惊呼：“糟糕，我只预订了一间房。”老赵说：“难道还需要第二间吗？”“当然，我是有原则的。”说这话时，小夏把嘴认真地噘起来，不像是反话正说。老赵问总台还有没有多余的房？服务员说：“房间都必须在十天前预定。”老赵双手一摊，耸了耸肩膀，恳请服务员为他在走廊上加张床。服务员说：“不能在走廊上加，但可以加在房间里。”老赵像领到结婚证那么高兴，扭过头来征求小夏的意见。小夏说：“我一紧张就会失眠，一失眠就没力气爬山。”老赵说：“出来就是想放松，你先别紧张，千万千万别紧张……”

晚饭后，老赵跟着小夏进了房间。他们一个坐在椅子上，一个坐在床头，面对面地聊了起来。老赵越聊越来劲，不仅语速加快，而且满脸通红，仿佛雄鸡高唱，仿佛要这么一直唱到天亮。但是，小夏却聊得很不专心，她在为老赵今晚睡什么地方而不停地开小差。老赵说：“既然当时你只订一间房，那就说明你早已默认同吃同住这一事实。”小夏摇头，两手紧紧地抱住自己的双肩，忽地就缩小了，小得像只蚂蚁，让老赵和她的距离顿时变得遥远。老赵问：“难道你真不希望我住在这里？”小夏的头立刻变大，它毫不含糊地点了一下。老赵又问：“你确定？”小夏连连点头。凡事都问两遍，这是老赵多年养成的习惯。他说了一声“晚安”，便抬屁股，拉行李。小夏问他去哪？他说：“睡觉。”小夏说：“不是没房了吗？”老赵说：“我就怕你在关键的时候讲原则，所以出发前也预订了一间。”小夏惊讶得眼珠子都快掉了。她佩服老赵，甚至崇拜。

爬山的时候，每人只带一瓶矿泉水。由于小夏没经验，每次饮水量明显偏多。还没爬到山的五分之一，她就把一瓶水全部喝干。老赵告诉她，凡是有爬山经验的人，只用水来润润喉咙，绝不能牛饮。小夏责怪他为什么不早说。老赵从包里掏出另一瓶：“因为我早有准备。”爬到一处陡坡，小夏的手被带刺的灌木划破，裂开的口子渗出血来。老赵赶紧从包里掏出创可贴，封堵她的伤口。小夏说：“你想得真周到。”老赵说：“必须的。”

一路上老赵连扶带拉，总算把小夏带到了半山。到了这个高度，他们的视线就开阔了，野心也开始膨胀。看着周围被比下去的山峰，小夏一高兴，嚷着要爬到山顶。坡越来越陡，脚下打滑的次数越来越多。有时，他们的一只脚上去了，另一只脚却滑下去老远，仿佛要分裂身体，闹“腿独”。这样劈叉多了，小夏的裤裆便“嗞”地一声裂开。“还名牌呢，这么不禁劈。”她发着牢骚，赶紧蹲下，一步也不敢移动。尽管小夏已多次领教老赵的细心与周到，但这一次她是再也不敢奢望了。万万没想到，老赵竟然从背包里掏出了针线。小夏一边缝着裤裆，一边想还有比他更可靠的男人吗？没有，绝对没有。

当晚，小夏就叫老赵退掉另一间房。他们终于合并了。高兴的事大都相同，这里只说一件不高兴的。临回程的前一天，他俩到商店购物。老赵花了五千元为小夏买了一只玉镯。小夏当场把玉镯戴到手腕子上，频频摇晃，似乎要从上面摇出一首歌来。但是，没等小夏高兴完毕，老赵就偷偷地折回去，又买了一只和她手腕子上相似的镯子，连价

格都一样。小夏想买多买的这只肯定不是送给他亲人的，否则他不会偷偷摸摸。那么，只能说他还有见不得光的女友？小夏压住心中的不快，计划在回去半月之后再审他。半个月的时间，他要是真有“见光死”，就会把镯子送出去了。到那时……哼，即使他的脑子转得比计算机还快，恐怕也很难狡辩吧。

旅游归来，老赵每三天就跟小夏提一次结婚，就像一只准时的闹钟。他一共闹了五次，小夏便说：“坦白从宽，抗拒从严。你能不能先交代那只镯子？然后，再来跟我谈婚姻。”老赵的脸红得比闪电还快，仿佛偷东西被人当场拿下。小夏真以为自己抓住了窃贼，心有余悸地说：“差一颗米我就嫁给你了，好险！”老赵额头上的汗“噌噌噌”地往外冒。小夏像猫看老鼠那样看着他，问：“是不是送给前女友了？”老赵抹了一把额头汗，支支吾吾地说：“从头到脚，我就这么一点秘密，你……能不能给我留住？”小夏说：“要么爱秘密，要么爱我，A或者B，你只能二选一。”

老赵只好从柜子里拿出那只玉镯。小夏说：“天哪，你怎么还没送出去？速度也太慢了吧。”老赵说：“为什么一定要送人？”小夏说：“难道就为了锁在柜子里？”老赵说：“我是怕你的那只丢了，或者碎了，才又买了这只。如果你高兴，一只手戴一个，两只手可以同时漂亮。”小夏的脊背轻轻一颤，那是被感动的信号，但她仍然强迫自己保持足够的警惕，说：“你骗人。”老赵把柜门敞开。小夏看见柜子里摆满物品，有小时候用过的布娃娃，有中学、大学的毕业证，有奖状、邮票、相册、移动硬盘、钥匙、存折、保险单、速效救心丸、相机和手表等等。凡柜子里的统统双份，只有手表是单身，因为另一只正戴在老赵的腕子上。小夏顿时结巴。她说：“原，原来你喜，喜喜欢收，收藏。”老赵摇头，说：“多年来，我像保护内裤一样保护这个秘密，没想到还是被你撬开了。我担心这些东西丢失，就多备了一份，这样心里巨踏实。”

## Дун Си. Старина Чжао-Про-Запас

Чжао хотя и называли «стариной», но старым он еще не был – это было всего лишь дружеское обращение, наподобие того, как к некоторым китайским фамилиям добавляют приставку «А-». По волосам он сошел бы за двадцатилетнего, кожа у него была как у человека за тридцать, при этом он обладал мудростью столетнего старца. С тех пор, как старина Чжао выучился читать и писать, на его лице появилась печать мыслительного процесса. Это выражение сохраняется у него по сей день, и кое-кто, бывает, по ошибке принимает его за наследственные черты, однако на самом деле это результат старательного нахмуривания бровей.

Семь лет назад Сяо Ся, будучи работницей какого-то банка, слыла девицей видной: отличалась и стройностью, и красотой, и манерами. Поклонники выстраивались в очередь, но Сяо Ся никто не нравился: все они казались ей слишком изнеженными, инфантильными, ни на одного из них нельзя было положиться. Только когда в банковское окошко заглянуло лицо старины Чжао с его мыслительной печатью, сердце Сяо Ся заколотилось. Поначалу старина Чжао приходил не для того, чтобы будоражить чужое сердце – он только пополнял счет

или снимал с него деньги. Но так как появлялся он часто, мало-помалу они с Сяо Ся перешли от шапочного знакомства до более близкого общения. Тогда-то Сяо Ся и начала уговаривать старину Чжао все свои деньги отдать на хранение этому банку.

— Нельзя держать все яйца в одной корзинке, – возразил старина Чжао. – Нечаянно уронишь – все разобьются. И останусь я голодранцем.

Банк был один из лучших, и даже если бы все другие банки вдруг прогорели, этот выстоял бы. Весь капитал старины Чжао для такого банка – все равно что капля в море, сколько ни клади, сколько ни забирай обратно, никто и не заметит. Сяо Ся считала, что старина Чжао зря беспокоится, и даже решила, что он ей не доверяет. На это он возразил, что может верить человеку, но не компании. А для Сяо Ся, как назло, банк был как отец родной, и она решила проверить старину Чжао на преданность.

— Что ж теперь, когда пьешь чай, чашку тоже надо проглатывать? – возразил старина Чжао.

— Работа для меня – все равно что одежда, – заявила Сяо Ся. – Любишь меня – люби и мою юбку!

Старина Чжао добавил еще денег. Сяо Ся спросила: все, мол, сбережения внес, полностью? Старина Чжао расчихался от возмущения и выдал целую тираду:

— Нельзя человеку иметь только одну веру: случись чего, одной религии не хватит утешиться. Члены семьи не должны ввязываться в одну авантюру или садиться в один самолет. Почему люди ищут себе покровителей? Не для того, чтобы обеспечить себе благополучную жизнь, как говорят многие, а чтобы оставить побольше путей отступления.

Сяо Ся аж поперхнулась от такого напора. Наконец она нашла надежного человека, наконец почувствовала, что под ногами не то что твердая почва, а настоящий цементный пол. Но до свадьбы старине Чжао предстояло выдержать еще одну проверку.

Расстелив на столе карту, Сяо Ся ткнула пальцем в самую дальнюю точку – Магелланов пролив.

— Что скажешь?

— Захочешь – поедем в следующем месяце, – заверил старина Чжао.

Сяо Ся обрадовалась, палец закружил над картой, кружил, кружил и приземлился на Гавайских островах:

— Зачем кровные деньги растрачивать, лучше уж поехать куда поближе.

Старина Чжао как хлопнул ладонью по столу, весь Тихий океан перекосялся:

— Обидеть хочешь? Разве не знаешь – чьи деньги тратят, с тем и целуются?

Палец Сяо Ся снова взлетел вверх, закружил балетные па, пересек горы и моря и белым лебедем опустился на гуйлиньские вершины.

— Выбрала!

У старины Чжао от таких стремительных перемещений голова пошла кругом. Секунду он молчал, привыкая к новому часовому поясу.

— Тратить – так с размахом, чего мелочиться? – проговорил он.

— Твои деньги потрачу – мне же самой потом меньше достанется, – засмеялась Сяо Ся.

Наконец выбрали одну гору на западной стороне. Место популярное, много знаменитых и именитых приезжает, чтобы на эту гору подняться. Взять хотя бы того известного председателя правления, который навещается в эти края каждый сезон, собирая вокруг себя толпу журналистов, и всякий раз, когда он там появляется, акции компании взлетают до небес и три дня не падают в цене. Старине Чжао и Сяо Ся хотелось, чтобы и их чувства так же взлетели до небес, поэтому оба взяли на работе отпуск. Перед посадкой в самолет старина Чжао купил для каждого по две страховки. Сяо Ся как увидела это, на сердце потеплело. В самолете она уткнулась лицом в плечо старины Чжао, прилепилась к нему решительно и бесповоротно. Вскоре и уткнувшейся, и тому, в кого уткнулись, стало неудобно, все затекло, но нарушать идиллию неосторожным движением ни одному не хотелось. Так они и просидели весь путь, тысячу с лишним километров, в одной позе.

Как добрались до гостиницы у подножия горы, Сяо Ся вскрикнула:

— Черт побери! Я забронировала только один номер!

— А что, разве нужен второй? – не понял старина Чжао.

— Конечно. Я девушка с принципами! – Сяо Ся надула губы – показать, что не шутит.

Старина Чжао пошел к стойке регистрации, спросил, остались ли еще свободные номера. Ему ответили, что в гостинице бронирование за десять дней. Старина Чжао развел руками, пожал плечами, попросил поставить для него кровать в коридоре.

— В коридоре нельзя, – сказали ему. – Можно только в номер добавить еще одну кровать.

Старина Чжао, радостный, как новобрачный, повернулся к Сяо Ся – мол, что скажешь.

— Когда я волнуюсь, я не могу уснуть, – заныла Сяо Ся, – а когда не спишь, нет сил взбираться на гору!

— В отпуске положено отдыхать, а не волноваться, – возразил старина Чжао. – Так ты уж не волнуйся, пожалуйста, только не волнуйся...

После ужина старина Чжао с Сяо Ся уединились в комнате. Один сел на стул, другая – на кровать, завели разговор. Старина Чжао чем дальше болтал, тем пуще пыл, затараторил, лицо покраснелось, ни дать ни взять петух раскукарекался, дай ему волю, так бы и кукарекал до утра. Вот только у Сяо Ся сердце было не на месте, в голове одна мысль крутилась: где старина Чжао будет спать?

— Раз ты забронировала только один номер, – сказал старина Чжао, – значит, сама молча согласилась жить вместе.

Сяо Ся замотала головой, руками крест-накрест вцепилась себе в плечи и как-то резко съежилась, стала маленькой, словно муравьишка, лишь бы оказаться подальше от старины Чжао.

— Что, правда хочешь, чтобы я ушел? – спросил тот.

Голова Сяо Ся, до того размером с муравьиную, сразу выросла до нормальной человеческой, чтобы как следует закивать.

— Уверена? – уточнил старина Чжао.

Сяо Ся снова покивала.

Спрашивать обо всем по два раза было многолетней привычкой старины Чжао. Пожелав Сяо Ся спокойной ночи, он поднял зад со стула и подхватил свои вещи. Сяо Ся спросила, куда он идет.

— Спать, – ответил старина Чжао.

— Так ведь негде?

— Я с самого начала боялся, что в ключевой момент объявятся твои принципы, поэтому еще до отъезда забронировал номер про запас, – объяснил он.

Сяо Ся от изумления так глаза вытаращила, что они чуть не выпали. Ее уважение к старине Чжао поднялось на новый уровень, дошло до преклонения.

Во время подъема на гору каждый нес с собой по бутылке воды. Сяо Ся, человек без опыта в этом деле, пила большими глотками; не одолев еще и одной пятой части пути, она допила все подчистую. Старина Чжао начал объяснять, что альпинист, когда пьет, должен только слегка промочить горло, а никак не хлебать залпом. Сяо Ся разозлилась: почему, мол, сразу не предупредил?

— Потому что я заранее подготовился, – сказал старина Чжао, выуживая из рюкзака еще одну бутылку.

Карабкаясь по крутому склону, Сяо Ся до крови порезала руку о колючий кустарник. Старина Чжао мигом вытащил из кармана пластырь, наклеил на ранку.

— Ты обо всем подумал! – похвалила его Сяо Ся.

— Так и должно быть, – сказал он.

Тащил, тянул Сяо Ся за собой старина Чжао, наконец дотянул до середины горы. На этой высоте при новом открывшемся виде в них разыграли амбиции. Глядя кругом на более низкие, уже, считай, покоренные вершины, Сяо Ся обрадовалась и заявила, что хочет добраться до самой макушки их горы. А склоны становились все круче и круче, ноги все чаще стали поскользываться. Порой одна нога оставалась наверху, а вторая отъезжала далеко вниз, словно грозясь расщепить туловище пополам. Во время одного из таких шпагатов у Сяо Ся с треском порвались штаны в том самом месте.

— А еще фирменные, называется! Вшивое качество! – запричитала Сяо Ся, сидя на корточках и не смея двинуться с места.

Пусть Сяо Ся не единожды убеждалась в предусмотрительности старины Чжао, в этот раз она ни на что не надеялась. Каково же было ее изумление, когда старина Чжао достал из рюкзака иголку с ниткой! Нет, более надежного мужчины не найдешь, думала Сяо Ся, зашивая штаны. Просто не существует!

Тем вечером Сяо Ся велела старине Чжао отказаться от запасного номера и вернуться к ней. Голубки наконец воссоединились. Среди всех радостных событий, схожих между собой, был лишь один омрачивший отпуск случай. За день до возвращения домой парочка заглянула в магазин, и старина Чжао купил Сяо Ся яшмовый браслет за пять тысяч юаней. Сяо Ся тут же нацепила браслет на запястье, крутит им, вертит, браслет звенит, словно песню поет. Но не успела Сяо

Ся вдоволь нарадоваться, как старина Чжао потихоньку вернулся обратно и приобрел еще один браслет, точно такой же, как у Сяо Ся на руке, по той же цене. Сяо Ся была уверена, что второй подарок не мог предназначаться кому-то из родственниц – иначе почему старина Чжао купил его украдкой? Выходит, думала она, у него есть тайная подружка? Сяо Ся отложила эту невеселую мысль на потом, решила через полмесяца устроить старине Чжао допрос. Если тот и впрямь завел интрижку на стороне, за две недели браслет точно обретет новую хозяйку. И тогда... ха, тогда даже старине Чжао при всей его сообразительности не удастся улизнуть от ответа.

Вернувшись из поездки, старина Чжао каждые три дня, словно точный будильник, заводил разговор о свадьбе. Когда «будильник прозвенел» пять раз, Сяо Ся объявила:

— Ну что, как говорится, чистосердечное признание смягчает наказание! Пока не расскажешь, для кого купил второй браслет, о свадьбе даже не упоминай!

Лицо старины Чжао молниеносно налилось краской, как будто его поймали с поличным на месте преступления.

— А ведь я чуть было не вышла за тебя, – с содроганием проговорила Сяо Ся, решив, что вывела его на чистую воду. – Чудом пронесло!

У старины Чжао на лбу пот выступил. Сяо Ся вцепилась в него, как кошка в мышку:

— Что, бывшей пассии подарил?

Старина Чжао вытер лоб ладонью.

— У меня есть один секрет, только один, – проблеял он. – Можно... можно мне его сохранить?

— Либо твой секрет, либо я, – отрезала Сяо Ся, – либо «А», либо «Б», выбирай.

Некуда деваться, старина Чжао достал из шкафа яшмовый браслет.

— Вот те раз! – удивилась Сяо Ся. – До сих пор не подарил? Что-то ты не торопишься.

— А что, обязательно кому-то дарить? – возразил старина Чжао.

— Ну ты же его купил не для того, чтобы в шкафу держать!

— Я боялся, что ты или потеряешь свой браслет, или разобьешь, – сказал старина Чжао. – Поэтому купил еще один на всякий случай. Если хочешь, носи два сразу. Будет в два раза красивее.

У Сяо Ся по спине пробежала мелкая дрожь – знак, что ее тронули его слова, однако она призвала себя не терять бдительности:

— Все ты врешь!

Старина Чжао распахнул дверцы шкафа. Взгляду Сяо Ся предстали полки, полные всякого добра: были там и детские тряпичные куклы, и школьные аттестаты, и институтские дипломы, похвальные грамоты, марки, фотоальбомы, жесткие диски, ключи, сберкнижки, страховые полисы, пачки таблеток, фотоаппараты, наручные часы... Каждой вещи было по паре, только браслет хранился в одном экземпляре, потому что второй такой же болтался у Сяо Ся на запястье. На Сяо Ся аж заикание напало.

— Т-так ты к-коллекции собираешь? – выдавила она.

Старина Чжао покачал головой.

— Много лет я берег этот секрет как зеницу ока, прятал, как трусы под штанами, не думал, что ты о нем узнаешь. Я боялся, что эти вещи потеряются, поэтому к каждой подобрал пару про запас. Так на сердце куда спокойнее!

*Перевод Ольги Кремлиной (olgakremlina@yandex.ru). 26 лет, живет в Санкт-Петербурге, работа сейчас не связана с языками. Влюблена в китайский язык вот уже 8 лет; мечтает стать настоящим переводчиком китайской художественной литературы. Перевод занял первое место в номинации «китайская проза» (2019)*

## КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

余光中 ( 1928 – 2017 )

### 《乡愁》

小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头

后来呀

乡愁是一方矮矮的坟墓

我在外头

母亲呵在里头

而现在

乡愁是一弯浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头

Юй Гуанчжун (1928 – 2017)

### Ностальгия

В детстве

Ностальгия лишь почтовая марка.

Я – здесь,

Мать – там.

Повзрослев, я считал

Ностальгия – узкий билет в руке.

Я – тут,

Жена моя – там.

Позже я понял,

Ностальгия – это низкая могила у ног.

Я – здесь,

Мать моя – там.

Но сейчас

Это бурлящая морская пучина во тьме.

Я – здесь,

А земля моя – там...

*Перевод Александры Ним (95nim@mail.ru), студентки магистратуры специальности «Преподавание китайского языка как иностранного» Шэньсийского педагогического университета, г. Сиань (КНР). Перевод занял второе место в номинации «китайская поэзия» (2018)*

**Юй Гуанчжун (1928 – 2017)**  
**Ностальгия**

Ностальгия в детстве – марка на конверте.  
Здесь я нахожусь, мама где-то там.  
Юность... Ностальгию я нашел в билете.  
Здесь, на корабле я, а невеста там.  
Годы пролетели... Ностальгия снова:  
Я перед могилой, мама внутри, там.  
Ныне на проливе вновь Ты подступила,  
Здесь сейчас стою я, материк же там.

*Перевод Ольги Садовниковой (superstishion@mail.ru), аспирантки Иркутского государственного университета (направление подготовки «Языкознание и литературоведение», направленность «Теория языка»); старшего преподавателя кафедры востоковедения и регионоведения АТР в ФГБОУ ВО «ИГУ»; учителя китайского языка частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа Леонова» г. Иркутска. Перевод занял третье место в номинации «китайская поэзия» (2018)*

**闻一多 《发现》**

我来了，我喊一声，迸着血泪，  
“这不是我的中华，不对，不对！”  
我来了，因为我听见你叫我；  
鞭着时间的罡风，擎一把火，  
我来了，不知道是一场空喜。  
我会见的是噩梦，那里是你？  
那是恐怖，是噩梦挂着悬崖，  
那不是你的，那不是我的心爱！  
我追问青天，逼迫八面的风，  
我问，（拳头擂着大地的赤胸）  
总问不出消息；我哭着叫你，  
呕出一颗心来，——在我心里！

## Вэнь Идо. Открытие

Вернулся я. И, горечь слез глотая,  
Кричу: "Нет больше моего Китая!"  
Вернулся я, ведь зов твой мне был слышен;  
Исхлёстан жизнью, поднимал я выше  
Надежды огонек. Увы, напрасно.  
Кошмар лишь вижу: где в нём ты, неясно;  
Лишь сон: в нём страх висящего над бездной;  
Но нет там милой сердцу Поднебесной!  
Взывал я к небу, к ветру обращался,  
И достучаться до земли пытался.  
Ответа не нашёл я. И, рыдая,  
Вырвал ком сердца; в нём обрёл тебя я!

*Перевод Елены Ким ([kimsky2000@mail.ru](mailto:kimsky2000@mail.ru)). Живет в г. Бишкек (Киргизия). Окончила музыкально-хореографическое училище. Профессиональный любитель во всех занятиях, связанных со звуком (музыка в ее бесчисленных проявлениях), изображением (графика, фото, видео) и словом (иноязычным в том числе). Зарабатывает на жизнь уроками английского, корейского и прочих языков. Никогда не занималась поэтическим переводом специально и намеренно. Перевод занял первое место в номинации «китайская поэзия» (2019)*

## Вэнь Идо. Обнаружил

Я пришёл, закричал, из глаз хлынула кровь  
Нет, не тот здесь Китай, что в привычку вошёл  
Я пришёл лишь услышал, зовёшь ты меня.  
Словно пеплом, будто бы вихрем огня,  
Ветер с севера, радость мою пепеля,  
Обратил всё в кошмар, в нём ищу я тебя;  
Только ужас стоит предо мною стеной  
Но не вижу я в нём тебя, мой дорогой;  
Я допытывал ветер, расспрашивал небо,  
Разбивал руки в кровь я о душу земли  
Не услышав ответа, я тихо заплакал  
На осколки рассыпалось сердце моё  
Сердце моё....

*Перевод Алины Тягуновой ([Zalina.yurievna@gmail.com](mailto:Zalina.yurievna@gmail.com)), Родом из г. Донецка (Украина). Закончила Волгоградский социально-педагогический университет по специальности педагогическое образование (английский и китайский языки). Прошла обучение в Тяньцзиньском университете иностранных языков (Китай). Высоко ценит саморазвитие и путешествия – вечный двигатель духовного роста личности. Перевод занял второе место в номинации «китайская поэзия» (2019)*

## **Вэнь Идо. Осознание**

Я здесь, кричу, потоки алых слез роняя:  
«Обман, не этот я Китай отчизной звал!»  
Я здесь, я мчал на зов твой, плетью подгоняя  
Времен ветра; дорогу факел освещал,

И вот я здесь, пришел, не зная, что напрасно.  
Кошмарный сон, но въявь — тебя ли вижу в нём?  
Во сне, где бездны край, и ужас, и опасность?  
Не верю, не к тебе пылал любви огнём!

Вопросом мучил небеса, ветра планеты,  
Стучал я землю в грудь, допытывался, но  
Зову тебя я, плача — кто мне даст ответы?  
Исторгнул сердце я — так чувствует оно.

*Перевод Юлии Каретниковой ([karetnikovajs@gmail.com](mailto:karetnikovajs@gmail.com)), студентки 4 курса факультета востоковедения и африканистики ИИЯ МГПУ, г. Москва. Изучает китайский язык 4 года, прожила год в Китае, Сучжоу. Перевод занял третье место в номинации «китайская поэзия» (2019)*

**В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ**



## Из переводов Сергея Капустина

*Сергей Сергеевич Капустин родился 14 марта 1984 года в Омске. В 2011 году переехал в Санкт-Петербург. Окончил Омский государственный технический университет по специальности «Менеджмент организации» в 2007 году. Работает в типографии Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). Переводит прозу и поэзию. Рабочие языки — испанский, норвежский.*

### Antonio Mingote. De muerte natural

*«Era mi marido y ha muerto».*

*(Fría respuesta de madame Geoffrin, protectora de enciclopedistas, al joven invitado que le preguntó por el raro y modesto vejete que solía sentarse en el extremo de la mesa de los banquetes de madame).*

*«En un lugar, cerca de este pueblo donde estamos, estaba preñada una yegua, y crecióle tanto la barriga, que al tiempo de parir reventó y salió de ella una mula, la cual murió luego, y tenía también la barriga tan crecida, que su dueño determinó de ver lo que estaba dentro y, abriéndola, le hallaron otra mula de que estaba preñada...»*

*Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas*

*«El mañana y el mañana y el mañana se deslizan uno tras otro hasta que llega nuestro último instante. Y todos nuestros ayeres no han sido otra cosa que bufones cediendo el paso a la polvorienta muerte. ¡Apágate, apágate, luz fugaz! La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico orgulloso que consume su turno en el tablado y de quien nadie vuelve a acordarse. Es una historia contada por un idiota, llena de ruido y de furia, y que nada significa».*

*William Shakespeare, Macbeth, 5, 5*

*Todas las muertes son naturales. Es tan natural que muera el enfermo incurable como que fallezca el que cuelgan por el cuello con una soga.*

*Yo mismo*

### Carta de amor

**Querida señorita Matilde:**

No piense cuando reciba esta carta de amor que la he escrito apremiado por la pujante primavera que embriaga los sentidos. No, señorita Matilde, lo hago porque el examen del implacable calendario me advierte que el tiempo pasa raudo, y no puedo

perder un minuto más sin comunicarle un antiguo sueño en el que me veo cabalgando, incansable, hasta llegar a su casa; hago allí caracolear mi caballo tordo bajo su balcón y usted aparta el visillo de encaje para saludarme gentilmente con su mano blanquísima.

Usted me tildará de fantasioso diciendo que un humilde jornalero como yo no puede tener un caballo tordo ni de ningún otro color, y que bastante haré con mirar su balcón desde lejos, ya que si osara acercarme, sus criados azuzarían contra mí los perros ferocísimos.

Pero ¿es acaso imposible que por un capricho del azar —se celebran rifas y loterías sin cesar, señorita Matilde— me vea yo dueño de un caballo que a mí me gusta imaginarlo tordo y que haría que sus criados me saludaran con respeto?

Muchas veces he imaginado que los dos correteábamos por los campos y yo le cantaba hermosas canciones de amor mientras usted saboreaba los arándanos silvestres u otros frutos recolectados por mí, a veces con riesgo de mi vida, al borde de enormes precipicios. Usted dirá a esto, señorita Matilde, que, como es completamente sorda, sería inútil que le cantara nada. Pero yo le digo: usted límitese a saborear los arándanos en silencio —puesto que también es muda—, y deje que yo me ocupe de lo demás.

También me imagino a veces a mí mismo paseando a su lado por el jardín bañado por la luna, llevándola a usted tiernamente abrazada por el talle y sintiendo en mi mejilla el roce de sus cabellos rubios como el oro. Usted objetará sin duda que mal podría pasear conmigo por el jardín, con luna o sin ella, cuando le es imposible abandonar la silla de ruedas que usa desde que se quedó completamente paralítica. Pero yo le diré que no hay barreras para la imaginación y puedo imaginármela caminando, como puedo imaginar que sus cabellos blancos son rubios, tal como eran hace cuarenta años, cuando la vi por primera vez.

Si cree, en fin, que todo es tan difícil, déjeme imaginar algo sencillo, como el ir hasta la puerta de su casa, a pie desde luego, y dejar en el umbral un ramito de violetas. Y si usted me dice que tampoco esto es posible porque los guardianes de la cárcel no me permitirán salir, y menos para una cosa tan tonta como dejar violetas en su puerta, le replicaré que tiene razón, pero, en cambio, puedo escribirle una larga poesía amorosa y mandársela por correo, que eso sí me estaría permitido.

Usted me dirá que no puedo escribir nada puesto que soy analfabeto; y yo le contestaré que puedo dictársela a alguien, que aquí hay gente muy culta.

Al llegar a este punto seguramente usted aducirá que poca cosa puedo dictar en la media hora que queda antes de amanecer, cuando se cumplirá la sentencia que me condena a ser colgado por el cuello de una horca en el patio de la prisión. Y yo le replicaré que si se pone usted así no vamos a ninguna parte, señorita Matilde.

En fin, yo me he esforzado en ser amable, pero si usted se empeña en sus tiquismiquis, allá usted.

Suyo afectísimo,  
Eduardo Tejeruela.

## La casa de los muertos

La calle de la pequeña ciudad donde yo vivía entonces sólo tenía números impares, y muy pocos, los que hay entre el uno y el once, o sea, seis casas exactamente.

La acera de enfrente corría a lo largo de un alto muro de ladrillo que cercaba el patio del asilo de Sordomudos, por eso la calle se llamaba calle de la Tapia. Ni un solo árbol asomaba sus ramas por encima del muro como sucede en casi todos los muros. Ya comprenderá usted que era una calle bastante triste.

En el número 5 únicamente (iba a decir únicamente vivían; no) únicamente habitaban muertos. Nos lo decía Tomás, el portero, que era el único vivo en la casa. (Vivió más de cien años; parece ser que lo de vivir con muertos es muy sano).

—Todos están muertos y bien muertos —nos decía Tomás—. También Martita, desde luego.

Martita, la niña de las trenzas, era una preciosidad. Tenía ocho o diez años, como nosotros, y nos dejaba jugar con su diábolo. (Seguramente usted no ha visto un diábolo ni sabe qué es; en aquel tiempo, hace más de ochenta años, se jugaba mucho al diábolo). Todos estábamos enamorados de Martita y no nos importaba que estuviera muerta, porque a los niños les tienen sin cuidado esas supersticiones.

Jugábamos con Martita en la acera de la tapia, y a veces caía el diábolo al otro lado, al patio del asilo (el diábolo es una cosa que se tira al aire y se recoge y se vuelve a tirar más alto, y otra vez y a menudo cae al otro lado de las tapias de los asilos de sordomudos), y todos nos disputábamos el honor de recuperarlo escalando la tapia para pasar al otro lado y buscar el diábolo, que a veces rebotaba hasta los rincones más inverosímiles. (El diábolo solía ser de goma ¿sabe usted?) Casi siempre había por allí un sordomudo que nos lo señalaba con el dedo y le dábamos las gracias mientras pensábamos: «Lástima que no haya en este patio ni un solo árbol, con lo que se agradece la sombra en el verano».

En el número 5 de mi calle, además de Martita, habitaban otros muertos: la mamá de Martita, que llevaba una pamelita, nunca le vimos otro sombrero, siempre la pamelita, debe de ser porque los muertos no se cambian, no como los vivos, tan mudables. Un señor llamado señor Cutando, que salía todas las mañanas con una gran cartera donde se leía en letras doradas: URGENTE; caminaba presuroso hasta el extremo de la calle, en la confluencia con el paseo de los Olmos, y esperaba a que pasara alguien para preguntarle: «¿Puede usted decirme hacia dónde cae el Ministerio de Ultramar?», pregunta que, naturalmente, no tenía respuesta, porque el Ministerio de Ultramar, de estar en algún sitio, estaba en Madrid. Así que el transeúnte decía no lo sé, o creo que han puesto allí una mercería, o lo tengo en la punta de la lengua, o no decía nada y dejaba en la ignorancia al señor Cutando, que se encogía de hombros, consultaba su reloj y se volvía a casa con su cartera de urgencias.

A veces me cruzaba con el señor muerto en la calle cuando iba al colegio, y me decía, cariñoso, palmeando suavemente mi cartera: «Estudie usted, Antoñito, estudie usted bien para que llegue a ser un hombre de provecho como yo.» (No le extraña que el

señor Cutando me tratara de usted; en aquel tiempo se trataba de usted a todo el mundo, a los padres, a los contertulios, a los amantes, incluso a los cocheros con caballos de raza y a los camareros de algunos casinos, siempre que hubieran hecho el bachillerato. Había respeto en aquel tiempo).

También en el número 5 de la calle de la Tapia moraba la guapísima María de la Constitución, llamada así en memoria de la Constitución de 1856, que, aunque nunca se promulgó, contaba con la admiración fervorosa del padre de María, un progresista que detestaba la Constitución reaccionaria y clerical de 1845, no le parecía suficientemente avanzada la de 1837 —aunque, según decía, no era despreciable—, y había ya olvidado la de 1812 por romántica y *démodé*. María de la Constitución no sabía a qué constitución se refería su nombre, aunque su padre se lo explicó minuciosamente antes de desaparecer en un naufragio.

—Ya se me ha olvidado. Eso pregúntenselo a Tomás, que se acuerda de todo.

Y, efectivamente, Tomás se acordaba muy bien de la Constitución de 1856, a la que se refería el nombre de María de la Constitución, incluso podía recitarla de memoria, aunque últimamente se le olvidaban algunos artículos.

En el número 5 de mi calle de la pequeña ciudad de mi infancia habitaban otros inquilinos muertos. A pesar de mi edad proveya los recuerdo bastante bien, pero no quiero cansarle a usted hablándole de cada uno de ellos con detalle.

Sepa usted que aunque sentíamos verdadero afecto por Martita, la del diábolo, a medida que iba pasando el tiempo nuestra atención derivaba hacia María de la Constitución.

—Adoro a esa mujer —declaró Rogelio Puente deume el día de su decimoquinto cumpleaños.

—Y Martita...

—Martita es una niña.

Era cierto, Martita seguía siendo la niña de las trenzas mientras nosotros crecíamos, nos salía pelusa en el bigote, se nos ponía voz de barítono y el diábolo empezaba a darnos asco.

—Pues antes os gustaba —lloriqueaba Martita, ante la resistencia de todos nosotros a saltar la tapia del asilo para rescatar el artilugio. Y tenía que acudir a Tomás, el portero de su casa, que hacía una instancia en papel de barba, con una póliza de 0,15, solicitando del director del asilo permiso para entrar en el patio a recuperar el diábolo, porque en aquel tiempo las cosas se hacían todas con mucha formalidad, y gracias a eso España ha llegado a ser una nación próspera y respetada en toda Europa como lo es hoy.

Perdone usted la digresión. El caso es que cada día nos parecía Martita más pequeña y cada momento nos parecía María de la Constitución más hermosa. Claro que éramos nosotros, la pandilla de la calle de la Tapia, los que íbamos mudando, mientras que las chicas del número 5, Martita y María de la Constitución, permanecían inmutables, porque los muertos no envejecen.

Con el tiempo, Martita encontró otros amigos: el niño del número 3, que aunque era brutísimo trataba a Martita con mucha consideración porque su madre, la esposa del procurador, le decía: «Gerardín, trata a Martita con mucha consideración, porque está muerta y los muertos merecen respeto y atenciones por parte de los vivos, que hay que

ver la suerte que tenemos.» Así es que Gerardín escalaba sin protestas la tapia cuando era necesario, y sólo se resistía a hacerlo cuando el diábolito lo había encolado Clotilde, la niña pelirroja del 7, que también se había hecho amiga de Martita, y que muchas veces lo encolaba adrede sólo para que Gerardín trepara por la tapia. «Los hombres están para eso, te lo digo yo», decía la niña, y Martita se admiraba de que su amiga supiera tanto de los hombres y se asombraba cuando le contaba los muchos regalos que le hacían los amigos de su mamá, que Martita se habría muerto de envidia de no haberse muerto ya de la escarlatina en 1898, que vaya año.

Entre tanto nos dedicábamos a otras señoritas más bien vivas, aunque en aquellos tiempos, tan mesurados y decentes, las relaciones con las señoritas eran dificultosas, porque el estar viva no parecía entonces de muy buen tono y menos aún demostrarlo, y sólo las mal educadas se ponían a vivir con denuedo en cuanto tenían ocasión y únicamente cuando no estaba su madre.

El único de la pandilla de la calle de la Tapia que no se interesaba por las señoritas era Rogelio Puente deume, que seguía enamorado de María de la Constitución y lo seguiría estando eternamente, según decía él mismo.

Rogelio Puente deume pasaba muchas horas ante el balcón de María de la Constitución, apoyado en la tapia del asilo de Sordomudos, sólo para verla cuando salía al balcón a regar los geranios. La chica le sonreía dulcemente, y un día le tiró una flor, y por la noche —era verano— dejó que la acompañara hasta el paseo de los Olmos y se sentaron en un banco y estuvieron largo tiempo mirándose a los ojos.

—Supongo que te acordarás de que María de la Constitución está muerta —le decíamos los amigos que, como ya éramos mayores, estábamos a merced de los prejuicios y del qué dirán.

—No me importa, la amo —declaraba, enfático, Rogelio—. Su muerte pertenece al pasado, y yo sólo quiero vivir el porvenir, estar a su lado lo que me resta de vida.

Aunque nos mostrábamos displicentes, todos en el fondo envidiábamos la suerte de nuestro amigo, que no tenía que soportar las tonterías y los caprichos de las señoritas vivas bien educadas, que la única manera que sabían de demostrar decentemente que estaban vivas era dando la lata.

En cambio María de la Constitución, enamorada como estaba de Rogelio, sólo tenía que demostrar que lo amaba, y se lo demostró acogiéndolo en su cama por las noches, preparándole un succulento desayuno por las mañanas y dándole la llave de la casa por si se entretenía en el café y volvía tarde. (En aquel tiempo los hombres íbamos todas las noches al café a hablar de los sucesos de Barcelona, de don Alejandro Lerroux y de *La Chelito*).

Por fin se casaron. El párroco puso reparos al principio basándose en que, según los libros de la parroquia y las certificaciones reglamentarias, María de la Constitución había muerto de tisis galopante en 1879. Pero el interés por evitar el escándalo y salvar a aquella pareja que vivía en el pecado inclinó al buen sacerdote a la tolerancia, y bendijo la unión matrimonial el 9 de mayo de 1911, santos Nicolás y Geroncio, obispos; Timoteo, mártir, y Gregorio, confesor.

Fui testigo de la boda. Felicité a la pareja de todo corazón y les deseé una eterna felicidad. Al día siguiente salí para Madrid y nunca más he vuelto a la pequeña ciudad

de mi infancia. Fue mi paisano, Gerardo Matitegui, el Gerardín del que ya le he hablado, que sucedió a los de mi generación en la recogida del diábolito, quien me contó el final de esta historia.

\* \* \*

Gerardín, ya don Gerardo, se casó al fin con Clotilde, aquella pelirroja que sabía tanto de los hombres. En cuanto a Martita, la niña muerta de las trenzas, se fue de viaje con su mamá y un señor de chaleco floreado que solía visitarla, y no ha vuelto.

—Aquella señora de la pámela era una lagarta. Menuda mosca muerta —decía Clotilde, que, según ella, tenía razones para llamarla tanto una cosa como la otra.

—¿Y Rogelio Puente deume? —quise saber—. ¿Cómo fue su matrimonio con María de la Constitución?

María de la Constitución y Rogelio Puente deume fueron felices durante bastante tiempo. Tal vez hasta que Rogelio, que cada día pasaba más tiempo en el café, empezó a engordar, se le cayó el pelo inesperada y vertiginosamente y se le llenaron los hombros de caspa. El aspecto de Rogelio era muy distinto al de aquel esbelto y enamorado muchacho de años antes. Y el cambio era tanto más evidente y perturbador cuanto que María de la Constitución seguía tan hermosa y gentil como el día en que se casó.

Así lo apreciaba también Roque Totuel, mozo de comedor en el asilo de Sordomudos y sordomudo él mismo, que, plantado en el patio del establecimiento, contemplaba a María de la Constitución cuando ella regaba las macetas. Una tarde, la muchacha le sonrió, y el guapo mozo levantó la mano en un tímido saludo. Al otro día María le tiró una flor de geranio por encima de la tapia y Roque la saltó para llegar a la calle y trepar hasta el balcón a darle las gracias por señas. María de la Constitución le dijo también por señas que de nada y que si quería pasar a la salita a tomar café. El mozo aceptó la invitación, tal vez por no enzarzarse en explicaciones por señas, que es tan complicado. Ella le insinuó que si estaba cansado de saltar tapias y escalar balcones podía tenderse en la cama a descansar, cosa que Roque entendió muy bien en cuanto María le quitó la chaqueta y lo empujó al dormitorio. Se tendió en la cama y ella se tendió a su lado, y ya los dos tendidos decidieron —empezaban a entenderse muy bien por señas— que mejor era desnudarse y seguir la conversación entre las sábanas.

Lo que hicieron en el acto lo repitieron todas las tardes desde aquella, mientras Rogelio estaba en el café, pues ya no le bastaba ir al café por las noches y acudía también por las tardes, con lo que la caspa de sus hombros aumentaba de forma desmedida.

El sordomudo y la muerta llegaron a la conclusión, sin decirlo, porque, aparte de las dificultades del diálogo, tampoco era muy necesario, que habían nacido el uno para el otro.

—Lástima que vayas camino de viejo —le decía al mozo treintañero la mujer nacida setenta y ocho años antes.

Y él sonreía tristemente, advirtiendo la preocupación de la mujer, incapaz de remediarla. «Como no quieras que me muera yo también...», le decía con la mirada. Y ella: «No, no, déjalo, estás bien así... por el momento».

Cuando Rogelio Puente deume más estaba disfrutando de las delicias de la tertulia, hablando de *La Chelito*, de don Alejandro Lerroux y de los aerostatos dirigibles que se estaban poniendo de moda, llegó el camarero con una carta que acababan de traer.

«Mientras usted está en el café hablando de tonterías y llenándose de caspa —decía la misiva—, su mujer se la pega a pierna suelta. Si quiere sorprenderla vuelva a su casa esta tarde a las cinco y comprobará cómo se mancilla su tálamo nupcial. Un amigo».

El tálamo nupcial era aún en 1921 algo con lo que no valía gastar bromas. Saltó Rogelio de la silla a las cinco en punto y corrió hacia su casa. Vaciló antes de entrar. Se acusaba a sí mismo de desleal por haber dado crédito al infame anónimo. María de la Constitución no era una mujer vulgar. ¿Cómo podía ser vulgar una muerta? Aunque, pensándolo bien, estar muerta no era tan excepcional. Las había a miles y de todas clases. Pero su mirada franca e inocente... Aquello no podía ser verdad.

Encontró a su mujer desnuda, en la cama, mientras Roque Totuel, que no lo había oído llegar, interrumpía, asombrado al verle, la sencilla tarea de ponerse los calzoncillos largos.

Hubo un silencio dramático.

—¿Pero es que ni siquiera vas a intentar justificarte antes de que te mate? —preguntó Rogelio, amartillando su revólver.

Se encogió de hombros la adúltera.

—Yo ya estoy muerta. Eso, a él.

Y señalaba a Roque, que ya se había puesto los calzoncillos y dudaba entre seguir vistiéndose o marcharse de allí antes de que fuera tarde.

—Tienes razón —admitió Rogelio.

Apuntó cuidadosamente y le metió a Roque Totuel tres tiros en el corazón. El sordomudo, muerto en el acto, se derrumbó al pie del armario de luna.

—O sea, que has recibido el anónimo —dijo María de la Constitución.

—¿Sabías?!

—Lo escribí yo misma. Estaba segura de que reaccionarías como un hombre de honor —en aquel tiempo se tomaba muy en serio el honor, sobre todo el honor de uno mismo—. Has hecho justamente lo que estaba previsto, matar a mi amante.

—¡Eres despiadada y cruel! ¿Tanto te molestaba tener que hablar sin que nadie te escuchara? ¿Es que te estorbaba el pobre chico?

—Al contrario, me he dado cuenta de que es el compañero ideal, joven, incansable y mudo. Sólo tenía un defecto, estaba expuesto a envejecer como te ha sucedido a ti, que hay que ver en lo que te has convertido.

Se miró Rogelio en el espejo del armario junto al que yacía el cadáver de Roque y advirtió que, efectivamente, aquel calvo, casoso y barrigudo, tan deteriorado, tenía un aspecto poco amable.

—Pero el vínculo matrimonial...

—Los muertos no tenemos manías. Ahora Roque será joven para siempre, pues es un muerto como yo.

Se irguió entonces el muerto, con el pecho vulnerado por tres agujeros de los que manaban otros tantos arroyuelos sangrientos. Mojó el índice en su propia sangre y dibujó con ella en el espejo un corazón. Luego, debajo, escribió: SIEMPRE.

—Vamos, vamos, Roque —dijo María de la Constitución dulcemente tomándole de la mano—, tampoco hay que exagerar.

Salió Rogelio de la alcoba espantado, sin volver la cabeza, llegó a la calle y corrió hasta perderse entre el personal que bajaba por el paseo de los Olmos, de vuelta de la plaza de Toros. (Había toreado *Bombita*, una oreja, vuelta y ovación).

\* \* \*

No se ha vuelto a saber nada de Rogelio Puentedeume. También María de la Constitución y Roque Totuel desaparecieron de la calle de la Tapia (se dice que están en Venezuela) y apenas nadie los recuerda.

La casa número 5, la casa de los muertos, la ha comprado un banco para poner una sucursal, pero no hay nada que hacer mientras la casa no se desaloje. Aunque Tomás, el portero, murió a la edad de ciento quince años y lo enterraron en Albalate del Arzobispo, aún queda el señor Cutando, que sigue saliendo con su cartera todas las mañanas a preguntar hacia dónde cae el Ministerio de Ultramar. De modo que la cosa va para largo, sobre todo si se piensa que no hay manera de que se muera.

### **El prodigioso viaje de Arsenio**

El primer ayudante accionó la palanca, despacio, pero con pulso firme. Los ayudantes segundo y tercero vigilaban atentamente sus respectivos contadores, y el ayudante número cuatro, cuyo trabajo se había limitado a los preparativos rutinarios, miraba por encima del hombro del profesor Martín.

Detrás del cristal se formó una niebla luminosa; partículas rojizas danzaron locamente de un lado a otro, y la opacidad central empezó a tomar forma. Bastaron dos minutos.

—Bien —dijo el profesor Martín—. Aquí está el conejo.

Y allí estaba el conejo. Un conejo vulgar con una brizna de hierba en la boca.

Los ayudantes uno, dos, tres y cuatro se limitaron a contemplar el conejo con inquietud. No acababan de acostumbrarse a la prodigiosa máquina ni a la imperturbabilidad del profesor ni a los conejos.

—Éste ha traído hierba. Pero ¿de qué siglo?

—No parece afectado —dijo el primer ayudante.

El profesor Martín asintió gravemente.

—Ya estamos seguros de que todos vuelven en perfecto estado. Ha llegado el momento de la experiencia definitiva.

Los ayudantes se miraron unos a otros y un escalofrío recorrió las cuatro espaldas.

Desde que la máquina del tiempo fuera construida, cinco conejos habían sido trasladados a épocas más o menos remotas. El primero fue enviado al año anterior, estuvo allí durante tres minutos y se le hizo volver con sencillez. Pero no parecía el mismo. Algo le había impresionado tremendamente; parte de su pelo castaño era blanco

ahora y en su mirada destellaba la ira, mezclada con una sombra de espanto... Cuando quisieron tocarlo se agazapó en un rincón enseñando los dientes, amenazador. Dio tres vueltas sobre sí mismo y murió. Al hacerle la autopsia encontraron una pequeña bobina de inducción perfectamente empalmada a su intestino.

—Alguien ha sufrido una distracción —dijo el profesor Martín mirando severamente al ayudante número dos, que era el electricista.

—No volverá a suceder —prometió el ayudante, ruborizado.

Se hicieron nuevas conexiones, se ajustó la instalación y todo fue revisado minuciosamente en busca de bobinas de inducción o cualquier otra clase de material eléctrico fácil de olvidar.

El segundo conejo volvió sin novedad.

Es decir, no tenía ninguna incrustación mecánica en su organismo, pero estaba tiritando. Al tocarlo advirtieron la humedad.

—Nieve —dijo el profesor Martín—. Es imposible. El año pasado, el día... —miró el calendario de pared— el día siete de agosto no nevó por estos alrededores.

—Tal vez ha ido a parar lejos de aquí... —insinuó el ayudante número uno.

—O no habrá caído en agosto. ¿Lo habremos proyectado al invierno pasado?

De un modo u otro, la máquina no funcionaba con la exactitud que todos esperaban. Había que rendirse a la evidencia. Los conejos eran trasladados en el tiempo, sin duda, puesto que el conejo colocado en la cámara encristalada desaparecía al accionar la palanca y volvía a aparecer en el momento preciso. ¿Pero a qué época o a qué lugar iban aquellos inocentes animales?

Se hicieron nuevas verificaciones. Se ajustó la máquina y un tercer conejo ocupó su puesto en la cámara. Se esfumó en la neblina dorada con destino al siglo VIII.

—Lo he proyectado muchos siglos atrás, cuando aquí no había más que bosques. No me gustaría recuperarlo atropellado por un Ford T.

Sin embargo, el conejo regresó ensangrentado e inquieto. Dio un salto fuera de la cámara en cuanto abrieron la puerta y los cinco científicos lo persiguieron por todo el laboratorio hasta acorralarlo.

—Le han mordido —dijo el profesor Martín—. Tiene la señal clarísima de unos colmillos. Un perro, seguramente.

Aquel conejo curó de sus heridas, pero conservó toda su vida un aire de pasmo. Ni siquiera un sedentario conejo de laboratorio puede admitir con calma que se le traslade a un bosque antiguo y que además le muerdan.

—¿Pero estamos seguros que ha sido en el siglo ocho?

El ayudante número cuatro, que era quien tenía menos trabajo, apareció al día siguiente con un grueso libro en las manos y un gesto de inquietud en el rostro.

—No había bosque —anunció tímidamente.

El profesor Martín dio un respingo.

—¿Cómo? ¿Qué quiere decir?

El libro lo explicaba claramente. En aquel lugar hubo desde siempre un gran lago que desapareció en el siglo XVII, cuando el río fue desviado hacia las posesiones del Gran Duque Luis. Nada de bosque, pues, en el siglo VIII.

—Entonces las mordeduras...

—¡Habrá sido un pez!

La idea fue rechazada de plano. Había que admitir que la máquina seguía siendo imperfecta. Si estaba ajustada en el tiempo, cosa que tampoco se podía saber con seguridad, las coordenadas del lugar no coincidían. O viceversa.

—Necesitamos un hombre —anunció el profesor después de una larga meditación—. Un hombre que nos diga dónde ha ido a parar y en qué época. No desprecio a los conejos, pero tenemos que admitir su ineficacia como informadores. Alguien tiene que ir allá...

—Yo mismo —dijo el primer ayudante.

—No, no. Usted es necesario aquí. Sus conocimientos sobre el metabolismo último y las divergencias nucleicas...

—Entonces yo —se apresuró a decir el segundo ayudante.

—De ninguna manera. ¿Quién iba a controlar los corpúsculos épsilon y la carga psicodinámica y...?

Fue rechazado el segundo ayudante. Y también el tercero, y desde luego, el cuarto.

—Iría yo mismo —dijo el profesor—, pero...

Pero quedaban aún muchas maravillas por realizar en aquel escondido laboratorio y así lo comprendieron todos. El profesor era demasiado importante para arriesgarse a perderlo.

—¿Y si enviáramos a Arsenio?

—¿Arsenio? Sí, podría ser una solución... Pero ¿querrá él colaborar con nosotros?

—Yo me encargaré de sondearle —dijo el cuarto ayudante.

El cuarto ayudante encontró a Arsenio escardando los macizos de margaritas enanas, de las que estaba orgulloso.

—Puede que no sean lo bastante enanas para un científico como usted —dijo Arsenio, pasando el dorso de la mano por su áspera barba gris—. Pero son bonitas. ¿O no?

—Claro. Son preciosas.

—Comprendo que un torpe jardinero no pueda aspirar al aplauso de un sabio como el profesor Martín, pero si él se dignara...

—Precisamente el profesor está muy interesado por usted.

—¿De veras?

—Se trata de un experimento...

Arsenio escuchó la explicación con calma. La cosa era fácil. Saldría bien, desde luego. Si los conejos habían vuelto con buena salud (el cuarto ayudante no descendió a dar detalles innecesarios), no había razón para que un jardinero fracasara. El profesor esperaba mucho de aquella colaboración.

—Bien, bien... —dijo Arsenio, quitándose el sombrero de paja para frotarse con un pañuelo su reluciente calva—. Si creen que yo sirvo para eso...

A pesar de todo, el profesor quiso experimentar con dos conejos más. Quería tener la seguridad de que Arsenio iba a ser recuperado vivo, aunque no supieran, por el momento, desde dónde.

El cuarto conejo regresó del siglo XIII (se suponía) con encomiable desenvoltura. Y el quinto, enviado a una época muy lejana, pero absolutamente indeterminada, era el que ahora ramoneaba su pretérito hierbajo tras los cristales de la cámara, como si aquello no tuviera nada de particular.

—¡Bien! —exclamó el profesor Martín frotándose las manos—. No hay duda de que esto funciona. Y ahora... ¡Arsenio!

—Su trabajo se limitará a ver, oír y contárnoslo todo a la vuelta.

—Parece fácil —dijo Arsenio.

El profesor Martín adoptó un tono grave, sin dejar de ser afectuoso.

—Va usted a participar en un prodigio, Arsenio. Espero que conservará su serenidad. Sepa que cuenta con nuestra admiración y nuestro agradecimiento anticipado.

—Gracias, profesor. Estoy dispuesto.

Los preparativos fueron esta vez más prolijos que nunca. Entre enviar al pasado un conejo o un jardinero había una diferencia, que incluso aquellos ocupadísimos hombres de ciencia sabían apreciar. Trabajaban en silencio, con el ánimo oscilante entre el orgullo y el temor. Por fin instalaron a Arsenio en la cámara. Todo estaba a punto. No faltaba más que accionar la palanca.

—Bien, Arsenio —dijo el profesor—. Ánimo y hasta luego.

—Hasta luego, profesor —dijo Arsenio.

Y aquel saludo, en boca de un hombre que se disponía a viajar a través de un puñado de siglos (¿diez?, ¿quince?, ¿veinte?), parecía absolutamente natural.

El primer ayudante tragó saliva, tal vez más trabajosamente que en las ocasiones anteriores, y, con la firmeza de siempre, empezó a bajar lentamente la palanca. Se produjo la bien conocida neblina dorada. Brillantes corpúsculos empezaron a danzar locamente alrededor de Arsenio. Sin perder la sonrisa, el jardinero fue esfumándose poco a poco hasta desaparecer.

—¿Ha dicho si sabía nadar? —preguntó el profesor, que por primera vez parecía anhelante.

—Sabe.

Habían previsto que apareciera en el agua, o en un desierto, o en los hielos de una montaña, o en una ciudad exótica.

—Está perfectamente instruido. Sabrá afrontar cualquier contingencia.

—Y en cinco minutos, ¿qué le puede suceder?

Habían pasado tres y ya la mano del profesor se crispó sobre los conmutadores.

Necesitó hacer un gran esfuerzo para esperar dos minutos más.

En el momento justo, el primer ayudante empuñó la palanca. La neblina, la danza de los corpúsculos y una opacidad que se fue perfilando poco a poco... ¡Arsenio! Allí estaba otra vez.

No había perdido su aire tranquilo, su sonrisa... En la mano traía algo. ¿Un pedazo de pan? Arsenio lo mordió con satisfacción.

—¡Hola! —dijo con la boca llena.

—¡Vamos, sáquenlo, pronto!

Le ayudaron a salir de la máquina y le hicieron sentar en una silla.

—¿Se encuentra bien? ¿Qué ha pasado? Hable.

—Ha sido estupendo —dijo el jardinero.

—¿Dónde ha ido a parar? Vamos, cuéntelo todo.

—Pues verá...

Arsenio hizo una pausa, sonriente; parecía disfrutar de la expectación.

—¿Lo ha mirado todo bien? ¿Se ha fijado en los detalles?

—Creo que sí. De pronto me he encontrado en el campo. No era éste, desde luego. Un campo distinto, con otra vegetación, otro color, seguramente lejos de aquí. Y había gente...

—¿Llevaban armaduras, golas, redingote...?

—Iban vestidos... bueno, con vestidos antiguos, como los que se ven en los cuadros, pero era gente corriente y tranquila. Me han hablado, pero no los he entendido. Seguramente hablaban inglés, puede que fuera catalán, no sé... Habían ido al campo a merendar. Algunos me miraban, seguramente por mi traje que les ha debido de resultar chocante, y uno de ellos me ha dado esto. Está rico —Arsenio masticaba con la mirada perdida en un paisaje lejanísimo—. Me he acordado de usted, profesor. Me dijo que iba a participar en un prodigio. ¿Se refería a eso? Porque allí estaban unos miles de personas merendando, y toda la comida ha salido de una cesta donde apenas había cinco panes y dos peces...

**Антонио Минготе. Рассказы**  
**(Из сборника «Естественной смерти»)**

*«То был мой муж, и он приказал долго жить».*

*Этот равнодушный ответ обронули уста мадам Жоффрин, покровительницы учёных мужей, когда её гость, молодой человек, осведомился об одном скромном чудаковатом старичке, который на банкетах у мадам одиноко посиживал на другом конце стола.*

*«У одной беременной кобылы в соседнем селении до того раздалось брюхо, что, когда пришло время рожать, оно возьми да разорвись, и оттуда явилась на свет самочка мула, которая вслед за тем умерла, но и у этой пузо оказалось таких размеров, что хозяин решил посмотреть, что же там такое внутри, и по вскрытии та была найдена беременной очередной самочкой мула...»*

*Антонио де Торкемада*

*«Сад изысканных цветов»*

*«Бесчисленные "завтра", "завтра", "завтра"*

*Крадутся мелким шагом, день за днем,*

*К последней букве вписанного срока;*

*И все "вчера" безумцам освещали  
Путь к пыльной смерти. Истлевай, огарок!  
Жизнь – ускользающая тень, фигляр,  
Который час кривляется на сцене  
И навсегда смолкает; это – повесть,  
Рассказанная дураком, где много  
И шума и страстей, но смысла нет».<sup>1</sup>*

Уильям Шекспир  
Макбет, 5, 5

*Не бывает неестественной смерти. Когда умирает неизлечимо  
больной – это так же естественно, как найти смерть на  
виселище.  
Я сам*

### Любовное послание

Дорогая сеньорита Матильда!

Когда получите это письмо, полное нежных излиятий, не подумайте, что оно навеяно весной, которая так будоражит наши чувства. Отнюдь, сеньорита Матильда. Я пишу к вам, ибо по тщательному рассмотрению безжалостного календаря прихожу к выводу, что время несётся на всех парах, и, не теряя более ни минуты, спешу поведать вам свой давний сон, в котором неутомимый я скачу на коне, пока не оказываюсь у заветного дома. Там, в моём сне, я заставляю серого своего жеребца выделять вольты под самым вашим балконом, а вы одёргиваете кружевную занавеску и грациозно машете мне беленькой ручкой.

Вы, наверно, сочтёте меня самонадеянным, мол, где это видано, чтобы скромный подёнщик вроде меня имел серого коня (как, впрочем, и любой другой масти), и высказываетесь в таком духе, что с меня хватило бы посмотреть на балкон издали, потому как, если бы я дерзнул приблизиться, ваши слуги спустили бы на меня страшных псов.

Но разве судьба не могла бы быть столь благосклонна, чтобы одарить меня конём серой масти, о котором я так мечтаю – жизнь – это сплошная лотерея, сеньорита Матильда, – и чтобы слуги ваши приветствовали меня как почтенного сеньора?

Сколько раз воображал я себе, как мы блуждаем вдвоём по полям, я пою вам прекрасные песни о любви, а вы соблазнительно кушаете дикую чернику или другие ягоды, что собирал я для вас подчас с риском для жизни, находясь на краю пропасти. На это вы скажете, сеньорита Матильда, что, так как ничегошеньки не

---

<sup>1</sup> Перевод М. Лозинского. – Здесь и далее прим. пер.

слышите, было бы бессмысленно устраивать для вас песнопения. Но вот вам мой сказ: уплетайте чернику молча – вы ведь ещё и немая, – а остальное предоставьте мне.

Порой представляю себе, как иду рядом с вами по залитому лунным светом саду, нежно обнимаю вас за талию и чувствую на щеке прикосновение ваших золотистых русых волос. Вы, конечно, станете возражать, дескать, прогуляться со мной в саду – при луне или же без неё – было бы несколько проблематично, когда вам никак нельзя покидать инвалидное кресло, к которому прикованы с тех пор, как вас полностью парализовало. Но по мне, так мечтать не вредно, и я вполне могу представить, как вы прохаживаетесь, – воображаю же я ваши белёсые от седины волосы русыми, какими они были сорок лет назад, когда я впервые увидел вас.

Одним словом, если, по-вашему, всё настолько серьёзно, позвольте мне помечтать о чём-нибудь совсем безобидном, скажем, о том, как я являюсь (разумеется, пешком) к вашему крыльцу и оставляю на нём скромный букет фиалок. А если вы скажете, что и это невозможно, потому как тюремные надзиратели воспротивятся моему уходу, тем более ради такой сущей безделицы, как возложение фиалок у ваших дверей, – что ж, вы совершенно правы. Но зато я могу сложить балладу о любви и послать её вам по почте, уж этого мне точно никто не запретит.

Вы опять-таки возразите: как он может что-то написать, ведь он неграмотный? А я отвечу вам: я продиктую кому-нибудь – должны же здесь быть образованные люди.

Тут вы резонно заметите: много же он надиктует за те полчаса, что остались до рассвета, когда будет приведён в исполнение приговор, осуждающий его на смертную казнь через повешенье на виселице во дворе тюрьмы. Но, послушайте, такими темпами мы так никуда и не сходим с вами, сеньорита Матильда.

В общем, я, как мог, старался быть любезным. Ну, а если вам угодно церемониться, делать нечего – отправляйтесь на тот свет.

Ваш покорный слуга  
Эдуардо Тэхеруела.

### **Дом мертвецов**

Я жил тогда в маленьком городке, на улице, что имела лишь нечётные номера, коих всего-то насчитывалось с первого по одиннадцатый, или ровно шесть домов.

Противоположная сторона улицы тянулась вдоль высокой кирпичной ограды, за которой располагался приют для глухонемых. Потому улицу окрестили Кирпичной. Ни одно дерево не раскидывало над стеной свои ветви, как это бывает почти со всеми стенами. Вы, наверное, уже догадались, какое это было унылое место.

Дом номер 5 (хотел сказать: единственный дом, где жили – нет) – единственный дом, где обитали мёртвые. Нам поведал об этом Томас, швейцар, который во всём доме один только был живым существом (прожил, между прочим, больше ста лет; оказывается, житьё с мертвецами действует весьма благотворно).

– Все они там нежилыцы, – говаривал Томас. – И Мартита ваша не исключение.

Мартита, прелестное создание с косичками, находилась в том возрасте (восемь-десять лет), что и мы, и давала нам играть с её *дьяболо*. (Вы, конечно, не застали дьяболо и знать не знаете, что это такое. Но в то время, больше восьмидесяти лет назад, в дьяболо играли повсеместно). Все без исключения были влюблены в Мартиту, и нас нисколько не смущало, что она мертва, потому что детям чужды подобные суеверия.

Мы играли с Мартитой на тротуаре, рядом с кирпичной стеной, и дьяболо иной раз перелетало на другую сторону, во двор приюта. Дьяболо – это такая штука, которую подбрасываешь вверх и ловишь, ещё раз бросаешь, на сей раз повыше, и так снова и снова. Частенько оно падает за ограждения приютов для глухонемых. Каждый оспаривал для себя право перелезть через стену и отыскать игрушку, что порой отскакивала в самые неожиданные места; и немудрено – она ведь резиновая. И всякий раз мы натыкались на какого-нибудь глухонемого, который показывал пальцем, куда она упала, благодарили его, а сами думали: «Жаль, что у них во дворе нет ни одного дерева – всё было б где спрятаться летом от жары».

В доме номер 5 по той самой улице помимо Мартиты обитало ещё несколько мертвецов. Среди них мама Мартиты; носила соломенную шляпку – никакой другой на ней замечено не было, только соломенная, – и так изо дня в день. Должно быть, мёртвые не переодеваются, не то, что эти непостоянные живые. Один сеньор (его называли сеньором Кутандо) выходил по утрам с большим портфелем, на котором золотыми буквами значилось: СРОЧНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, – и спешил в конец улицы, на пересечение с аллеей Вязов, где поджидал первого встречного, дабы обеспокоить того вопросом: «Вы не подскажете, где тут Заморское Министерство?» Вопрос, на который, естественно, не могло быть ответа, ибо Заморское Министерство – в Мадриде. Один прохожий отвечал, что не знает, другой – что там теперь галантерейный магазин, у третьего вертелось на языке, четвёртый молча проходил мимо – и все, как один, оставляли сеньора Кутандо в неведении. Тот пожимал плечами, смотрел на часы и со своим «срочным» портфелем отправлялся восвояси.

Иногда, когда я шёл в школу, наши пути с мёртвым сеньором пересекались. Он, весь такой внимательный, говорил мне, слегка похлопывая по моему портфелю: «Учитесь, Антонито, учитесь хорошенько, чтобы вы стали таким же полезным обществу человеком, как я». (Пусть вас не удивляет, что сеньор Кутандо обращался ко мне на «вы»; в те далёкие времена на «вы» обращались ко всем: к родителям, приятелям, любовникам, даже к кучерам с породистыми

лошадьми и официантам всяких там заведений, если только они имели среднее образование. Да, тогда уважали так уважали).

Ещё в доме номер 5 по Кирпичной улице проживала очаровательная Мария де ла Конститусьон, наречённая так в память о конституции 1856 года, в которой, хотя это никогда не афишировалось, превозносился до небес отец Марии, прогрессист, люто ненавидевший реакционную клерикальную конституцию 1845 года. Конституцию 1837 года он не признавал за скудость передовых настроений, но и никчёмной её не считал. А вот о конституции 1812 года, этом, по его словам, плоде романтических мечтаний, и думать позабыл как о чём-то не заслуживающем внимания, да, к тому же, она порядком *démodé*<sup>1</sup>. Сама Мария де ла Конститусьон, когда её спрашивали, в честь какой конституции ей дали такое имя, вполне искренне отвечала, что забыла, хотя родитель самым тщательным образом разъяснил ей сие перед тем, как пропасть без вести во время кораблекрушения, и следом добавляла: «Спросите лучше Томаса, он всё помнит».

Томас и впрямь великолепно знал конституцию 1856 года, давшей имя Марии де ла Конститусьон, и даже мог зачитать её наизусть. Однако последнее время некоторые статьи ему не давались.

Дом за номером 5 по Кирпичной улице маленького городка моего детства населяли и другие покойники. Несмотря на мой преклонный возраст, я помню их очень хорошо. Но подробно останавливаться на них не буду, дабы не утомлять читателя.

Шло время. И, хотя все мы сохли по Мартите, той девочке с дьяболо, наше внимание стало переключаться на Марию де ла Конститусьон.

– Я обожаю эту женщину! – выдал Рохелио Пуэнтедеуме в день своего пятнадцатилетия.

– А Мартита?

– Мартита – малявка.

И правда, Мартита всё ещё оставалась девочкой с косичками, тогда как мы росли, над верхней губой у нас пробивался пушок, голос превращался в баритон, и дьяболо начинало внушать нам отвращение.

– Но ведь раньше вам нравилось! – хныкала Мартита, когда мы не давали ей перелезть во двор приюта для глухонемых, куда улетал её хитроумный механизм. И ей приходилось искать помощи у привратника её дома Томаса, который на невзрачной бумажонке писал прошения к директору приюта, присовокупляя к ним чек в 0,15 песо, с просьбой разрешить вход на территорию, дабы заполучить обратно дьяболо. В то время (да простит мне читатель это отступление) ни одно дельце нельзя было уладить без того, чтобы не прибегнуть к её величеству формальности, благодаря чему, собственно, испанцы стали процветающей и уважаемой во всей Европе нацией. Каковой мы являемся и по сей день.

Дело в том, что Мартита день ото дня казалась нам всё меньше и меньше, а Мария де ла Конститусьон – ещё прекраснее. Конечно же, это мы менялись, вся наша шайка с Кирпичной улицы, а те девочки из пятого дома оставались прежними, потому как мёртвые не старятся.

---

<sup>1</sup> устарела (фр.).

Со временем Мартита нашла себе новых друзей. Мальчуган из третьего дома (такого дурня ещё поискать) был с ней весьма обходителен, потому что его матушка, жена прокурора, наказала ему: «Жерардин, обращайся с Мартитой почтительно, ведь простые смертные заслуживают доброго к ним отношения – должны же мы ощущать своё превосходство». Так что Жерардин не прочь был слазить за дьяболо, однако неохотно шёл на это, когда одна из новоиспечённых подружек Мартиты, рыжеволосая Клотильда из седьмого дома, нарочно закидывала его куда подальше, лишь бы только Жерардин беспрестанно лазил по заборам. «Для этого мужчины и созданы, уж поверь мне», – заявляла девочка. А Мартита восхищалась подругой, которая столько всего знает о мужчинах, и всякий раз удивлялась, когда та хвастала несметным количеством подарков, кои преподносят ей друзья её маменьки. Так что Мартите в пору было б умереть от зависти, когда б не померла от скарлатины в 1898. Что за год был, однако!

Между тем нас прельщали другие девушки... более живые, что ли. Хотя в те стародавние времена, времена обузданных желаний и крайней благопристойности, отношения с сеньоритами складывались не так-то просто, ибо считалось дурным тоном иметь молодой особе страстную натуру и тем паче выказывать её на людях, и лишь невоспитанные девицы при любом удобном случае, разумеется, когда поблизости не оказывалось родительницы, вели себя так, как не подобает нежным и чутким созданиям.

Из нашей компании на Кирпичной улице один только Рохелио Пуэнтетеуме не заглядывался на сеньорит, ибо всё ещё был без ума от Марии де ла Конститусьон и уверял, что это навеки. Прислонившись к ограде приюта, он мог часами простаивать против окон возлюбленной, дабы полюбоваться на неё в минуты, когда она будет поливать на лоджии герань. Завидев его, девушка расплывалась в милой улыбке. А однажды бросила ему цветок и тем же вечером – было лето – согласилась пройтись с ним до аллеи Вязов. Они присели на скамейку и долго ещё не могли оторвать глаз друг от друга.

– Надеюсь, ты не забыл, что Мария де ла Конститусьон мертва, – каждый считал своим долгом напомнить ему об этом. (Так как мы стали взрослыми, то находились во власти предрассудков и прислушивались к мнению окружающих.)

– Мне плевать. Она для меня всё! – бил себя в грудь Рохелио. – Её смерть уже в прошлом, а я намерен жить будущим и прожить с ней до конца своих дней.

Однако, как бы мы ни противились, в глубине души каждый завидовал счастью товарища, которому не надо было выносить капризов и глупостей благовоспитанных девиц с горячим темпераментом, которые, желая продемонстрировать свой пыл и оставаться при этом в рамках приличий, только и делали, что порядком вам докучали.

Что до Марии де ла Конститусьон, без памяти влюблённой в Рохелио, от неё требовалось одно: доказывать свою любовь. Что она и делала, деля с ним по ночам свою постель, готовя ему аппетитный завтрак и давая ключи от дома на случай, если его посиделки в кафе затянутся. (То было время, когда мужчины каждый вечер ходили в кафе обсудить события в Барселоне, потолковать о доне *Алехандро Леррусе* и *Ла Челито*).

В конце концов они поженились. Поначалу пастырь воспротивился венчать их, ссылаясь на приходские книги и регламентирующие свидетельские акты, из коих явствовало, что Мария де ла Конститусьон умерла от скоротечной чахотки в 1879 году. Но, дабы не доводить до скандала и отпустить им этот страшный грех, он уподобился смиренному священнослужителю и 9 мая 1911 года благословил сей семейный союз, призвав в свидетели святых Николаса и Херонсио, епископов, мученика Тимотео и духовника Грегорио.

Я был шафером на свадьбе. От всего сердца поздравил молодожёнов и пожелал им жить в любви и согласии. На следующий день я отбыл в Мадрид и больше никогда не возвращался в маленький городок моего детства. А чем закончилась эта история, мне рассказал мой земляк Жерардо Матитеги, да-да, тот самый Жерардин, который продолжил нашу традицию лазить за дьябло.

\*\*\*

Жерардин, теперь уже дон Жерардо, женился в итоге на Клотильде, той рыжеволосой, что так хорошо знала мужчин. Что касается Мартиты, простой смертной девочки с косичками, она отправилась в путешествие со своей мамой и неким сеньором, который имел обыкновение навещать к ним в украшенном цветами жилете, да так и не вернулась.

– Та сеньора в соломенной шляпке, хоть и ходила мертвяк-мертвяком, такой тихоней с придурью, а была себе на уме, – говорила Клотильда, добавляя, что это её суждение небеспочвенно.

– А Рохелио Пуэнтедуеме? – поинтересовался я. – Как его семейная жизнь с Марией де ла Конститусьон?

Парочка эта долго ещё жила душа в душу, вероятно, покуда Рохелио, проводивший уйму времени в кафе, не начал отъедать себе брюхо, не лишился в одночасье волос, а плечи его не покрылись густым слоем перхоти. Это был уже не тот подтянутый влюблённый юноша, каким я его знал прежде. И столь разительная перемена никак не вязалась с обликом Марии де ла Конститусьон, остававшейся всё такой же обворожительной, как и в день свадьбы.

Того же мнения придерживался и Роке Тотуел, прислужник в столовой приюта для глухонемых (тоже глухонемой), который, околачиваясь во дворе приюта, куда его подчас выпроваживали, поглядывал на Марию де ла Конститусьон, пока та поливала цветочные горшки. И вот однажды девушка улыбнулась ему, и красивый паренёк робко помахал ей рукой. На следующий день Мария бросила ему за кирпичную ограду цветок герани. Окрылённый Роке сиганул через стену, чтоб очутиться на улице, и, взобравшись на балкон к даме сердца, жестами стал расточать ей свою признательность. Мария де ла Конститусьон так же, знаками, дала понять, что не стоит благодарности и что при желании он мог бы пройти в гостинку на чашечку кофе. Юноша принял приглашение, очевидно, не желая забираться в дебри, пытаясь изъясниться жестами, ведь это так непросто. Она между делом намекнула, мол, если он устал скакать по изгородям и взбираться на балконы, то может отдохнуть на её постели.

А когда толкнула его в спальню, предварительно сняв с него пиджак, тут-то он смекнул, что к чему. Повалился на кровать, рядом улеглась она. И вот лежат голубки и решают – уже весьма сносно понимали жесты друг дружки, – что неплохо бы раздеться да продолжить беседу под одеялом.

То, что случилось после, повторялось отныне каждый божий день, пока Рохелио посиживал себе спокойно в кафе, где обретался теперь круглые сутки, отчего перхоти на его плечах прибавлялось не по дням, а по часам.

Глухонемой и покойница, между тем, без лишних слов поняли, что рождены друг для друга.

– Жаль, что ты когда-нибудь состаришься, – говорила тридцатилетнему парню женщина, рождённая назад тому семьдесят восемь лет. А он, видя её беспокойство, но будучи не в силах развеять его, лишь грустно улыбался. Взгляд же его говорил: «Может, тебе бы хотелось, чтобы я тоже помер...» «Нет-нет, не подумай, – увещала та, – ты и так очень даже ничего... пока».

В момент, когда Рохелио Пуэнтетеуме находился на пике удовольствия, что дарует общение в кругу друзей (болтали о Ла Челито, доне Алехандро Леррусе, входивших в моду управляемых аэростатах), перед ним вырос официант с письмом в руках.

Послание, которое только что принесли, гласило: «Пока вы тут прохлаждаетесь, собирая всякий вздор и покрываясь с ног до головы перхотью, ваша благоверная напропалую изменяет вам. Если хотите застукать её, возвращайтесь домой в пять вечера – убедитесь сами, как оскверняют ваше брачное ложе.

Доброжелатель».

Что до их брачного ложа, шутки на эту тему были плохи ещё в 1921 году.

В пять ровно Рохелио пулей выскочил из кафе и помчался домой. Вот он уже за дверью, но войти, однако ж, колеблется. Да кто он после этого, раз поверил гнусной анонимке, распекает он себя. Мария де ла Конститусьон не какая-нибудь там похотливая женщина. В самом деле, разве за мёртвыми это водится? Хотя, если подумать, грешницы (они же живые мертвецы, как гласит Писание) были всегда и везде, куда ни плюнь. Опять же этот невинный взгляд... Мерзкая, гнусная клевета!

Вошёл.

Неверная лежала на постели во всей своей неприкрытой наготе; а ошарашенный Роке Тотуел, по причине глухоты не сразу заподозривший неладное, был застигнут за тем, что пытался влезть в такую нехитрую штуковину как кальсоны.

Повисло театральное молчание.

– Ты что, даже не попытаешься оправдаться перед тем, как мне тебя прикончить? – взводя курок револьвера, обращается к жене Рохелио.

Та лишь пожимает плечами:

– Да я и так уж мертва. Это ты лучше ему скажи. – И показывает на Роке, который напялил на себя кальсоны и стоит раздумывает: заниматься туалетом дальше или дать стрекача, пока не поздно.

– Будь по-твоему, – заключил Рохелио. Хорошенько прицелился – и три пули угодили в сердце бедного Роке. Тот замертво рухнул перед зеркальным шкафом.

– Никак получил анонимку? – сказала Мария де ла Конститусьон.

– Так ты знала?!

– Я сама её написала, будучи уверенной, что ты поступишь так, как поступил бы всякий, кому есть дело до его чести. (В те годы ревностно оберегали честь и достоинство, в особенности свои.) Ты правильно сделал, что пристрелил моего любовника. Другого я от тебя и не ожидала.

– Нет в тебе ни капли жалости! Небось, осточертело, что никто не желает слушать твою трепотню? Чем тебе парнишка не угодил?

– Да как он может не угодить? По мне, так это самый идеальный вариант: молодой, полный сил, да ещё и немой. Один только был у него недостаток: рисковал превратиться в такую же антикварную ветошь, как и ты. Взгляни, на кого ты стал похож.

Рохелио повернулся лицом к зеркальному шкафу, рядом с которым валялся труп Роке, и отметил, что тот лысый, пузатый, покрывшийся перхотью, вконец обрюзгший тип и впрямь представляет собой душераздирающее зрелище.

– А как же обет хранить верность?

– О, покойники – народ нещепетильный. Зато Роке теперь вечно молодой: такой же мертвец, как и я.

При этих словах покойник приподнялся. Из его простреленной груди фонтаном била кровь. Смочив в ней указательный палец, восставший из мёртвых изобразил на зеркале сердце и ниже приписал: «НАВСЕГДА».

– Давай, Роке! Давай! – подбадривала Мария де ла Конститусьон, нежно беря его ладонь в свою. – Но преувеличивать тоже, знаешь ли, не к чему.

Перепуганный до смерти Рохелио бросился вон из спальни и, очутившись на улице, понёсся куда глаза глядят, пока на аллее Вязов не смешался с толпой, возвращавшейся с корриды. (То был триумф *Бомбиты*.)

\*\*\*

О Рохелио Пуэнтетеуме с тех пор ни слуху ни духу. Мария де ла Конститусьон и Роке Тотуел тоже куда-то подевались с Кирпичной улицы (поговаривают, они поселились в Венесуэле), да и вряд ли там кто-нибудь помнит о них.

Дом мертвецов – тот, что за номером 5 – выкупил какой-то банк, но, покуда жильцы не съедут, дело с мёртвой точки не сдвинется – и не бывать там никакому филиалу. Да, не стало уже швейцара Томаса (дожил до ста пятнадцати лет, покоится в Альбалате-дель-Арсобиспо), но есть ещё сеньор Кутандо, который по сию пору носит каждое утро со своим портфелем и заводит разговор о Заморском Министерстве. И не видно этому конца и края – к разговору о том, что нет такой силы, которая свела бы его в могилу.

## Необычайное путешествие Арсенио

Первый помощник медленным, но уверенным движением руки жмёт на рычаг, приводя механизм в действие. Второй и третий помощники сосредоточенно всматриваются в циферблаты каждый своего прибора, а четвёртый, чья работа ограничивается рутинными приготовлениями, выглядывает из-за плеча профессора Мартина.

Стекланную камеру заволакивает светящейся дымкой. Красноватые частицы бешено снуют из стороны в сторону, и вот туманность начинает обретать форму. На всё про всё уходит две минуты.

– Хо-ро-шо, – протягивает профессор Мартин. – А вот и кролик.

В камере откуда ни возьмись появляется кролик, самый обыкновенный, с кусочком травинки во рту.

Четыре ассистента, которым в диковинку и чудо-машина, и невозмутимость профессора, и кролики, с нескрываемым волнением разглядывают животное.

– Так, этот прихватил с собой травки, – отмечает профессор Мартин. – Хотел бы я знать, из какого века.

– И, похоже, ему хоть бы хны, – полагает первый помощник.

Профессор окидывает всех многозначительным взглядом и сообщает:

– Итак, нам доподлинно известно, что они возвращаются целыми и невредимыми. Настало время для самого главного эксперимента.

Помощники переглядываются; по спинам пробегают мурашки.

С тех пор, как была изобретена машина времени, пять кроликов побывали в разных эпохах. Первого переместили на год в прошлое, он пробыл там три минуты и благополучно вернулся назад. Однако животное словно подменили: кролик был страшно возбуждён, коричневая шёрстка местами стала белой, а глаза сверкали гневом. Когда хотели до него дотронуться, он забился в угол, угрожающе выставив зубки, и, обернувшись вокруг своей оси три раза, испустил дух. При вскрытии нашли маленькую индукционную катушку, идеально примыкавшую к кишечнику.

– Никак рассеянностью кто-то страдает? – сердито бурчит профессор.

Электрик (он же помощник номер 2), которому и сделано замечание, клянётся, что такого больше не повторится.

Всё по-новому присоединяется, производится тщательный осмотр, авось, забыли индукционную катушку или какую другую электрическую деталь – и оборудование вновь готово к работе.

На сей раз никаких изменений в окраске, но кролика порядком знобит.

– Снег, – констатирует профессор, прикоснувшись к зверьку. – Не может быть. В прошлом году, – смотрит на настенный календарь, – седьмого августа снега в здешних краях не выпадало.

– Может, он очутился где-нибудь в другом месте? – намекает первый помощник.

– Или в другом времени года, – откликается профессор.

Как бы там ни было, а факт остаётся фактом: в машине имелся существенный изъян. Да, кролики перемещались во времени; доказательство тому – их исчезновение из стеклянной камеры в самый момент пуска механизма и появление назад с точностью до секунды. Но вот вопрос: действительно ли эти безобидные зверьки попадали в заданные время и место?

Следуют новые приготовления. Третий кролик занимает своё место в камере, чтобы, растворившись в золотистой мгле, очутиться аж в восьмом веке.

– Я послал его на много веков назад, когда здесь были одни сплошные леса, – объявляет профессор, – ибо мне не улыбается, чтобы какой-нибудь Ford сделал из него лепёшку.

Но и в этот раз кролик возвращается ни жив ни мёртв, да в придачу изрядно потрёпанный, о чём свидетельствуют пятна крови на его тельце. Как только дверца камеры открывается, зверёк даёт дёру, принуждая пятерых учёных носиться за собой по всей лаборатории, пока наконец не загоняют его обратно.

– Его кто-то укусил, – говорит профессор Мартин. – Видите, след от клыков. Сомнений нет, это собака.

Зверёк благополучно отошёл от ранений, но от чего ему было вовек не отойти, так это от столбняка, что отнюдь не мешало ему вздрагивать при одной мысли, что он будет заброшен в какой-нибудь древний лес, где его непременно кто-нибудь цапнет.

Но как знать наверно, что животное побывало в восьмом веке?

На следующий день ассистент номер 4 (тот, который занят меньше других) является в лабораторию с толстым фолиантом под мышкой; вид у него весьма озабоченный. Собирается с духом и объявляет:

– Леса в то время здесь не было.

Профессор Мартин аж подпрыгивает:

– То есть, как это «не было»?

В книге на сей счёт говорилось, что на том самом месте испокон веку вплоть до века семнадцатого находилось большое озеро, однако всё поменялось, когда русло реки было отклонено к владениям Великого герцога Луиса. Никакого, стало быть, леса в восьмом столетии.

Откуда тогда укусы, спрашивается?

Версия о рыбе безоговорочно отбрасывается.

Следовало признать, что машина и впрямь была далека от совершенства: если не происходило сбоя во времени (за что никак нельзя было ручаться), подводили координаты. И наоборот.

– Нам нужен доброволец, – выходит из задумчивости профессор. – От него мы узнаем, где и в какой эпохе он окажется. Не считите за неприязнь к кроликам, но информаторы, надо сказать, из них никудышные. Кому-то надо отправиться туда...

Вызывается первый помощник.

– Нет, нет. Вы нам нужны здесь. Ваши познания в области конечного метаболизма и нуклеиновой дивергенции...

– Тогда я, – спешит предложить свою кандидатуру второй помощник.

– Никоим образом. Не вы ли собирались отследить поведение у-хромосом и психодинамическую нагрузку?

Так поочерёдно отклоняются все кандидатуры.

– Я бы сам пошёл, – говорит профессор, – но...

Но в стенах секретной лаборатории – каждый это сознавал – таилось такое множество чудес, что подвергать опасности профессора было бы верхом безрассудства.

– А как насчёт Арсенио?

– Арсенио? А что, это мысль... Вот только захочет ли он сотрудничать с нами?

Прозондировать почву берётся четвёртый помощник. Он-то и застаёт Арсенио за пропалыванием клумб, которые украшают дорожки сердцу хозяина карликовые маргаритки.

– Может, на ваш учёный глаз они вовсе даже не карликовые, – приветствует гостя Арсенио, тыльной стороной руки почёсывая серую щетинистую бороду. – Но они хорошенькие, правда?

– Да, чудненькие.

– Я, конечно, понимаю, что нерадивому садовнику нечего ждать похвалы от нашего мудрейшего профессора Мартина, но если бы он всё же снизошёл...

– Профессору как раз нужна ваша помощь.

– В самом деле?

– Речь идёт об одном эксперименте...

Что ж, это Арсенио по душе. Дело-то нехитрое, думает он. Всё пройдёт без сучка без задоринки. Если уж с кроликами обошлось (ассистент решил не вдаваться в подробности), садовник и подавно обречён на успех.

– Ладно, идёт. – Арсенио снимает шляпу, чтобы протереть платком блестящую лысину. – Если, по-вашему, я и впрямь гожусь для этого...

Тем не менее, профессор взялся поставить опыты ещё на двух кроликах, дабы лишний раз убедиться, что Арсенио будет вызволен целым и невредимым, хоть и неясно пока откуда.

Четвёртый кролик, предположительно побывавший в тринадцатом веке, находился в прекрасном расположении духа; а пятый, засланный в эпоху настолько древнюю, что та не поддаётся описанию, был как раз тот, что прихватил с собой травки и сейчас как ни в чём не бывало уминал её.

– Отлично! – довольно потирает руки профессор Мартин. – Провалиться мне на этом месте, если она не работает. А теперь... Арсенио!

– Итак, мой друг, от вас требуется смотреть, слушать и рассказать всё нам по возвращении.

– Как будто ничего сложного, – роняет садовник.

– Вам предстоит соприкоснуться с чудом, Арсенио, – отеческим тоном напутствует профессор. – Всецело полагаюсь на вашу выдержку. Знайте же, что мы восхищаемся вами, и заранее выражаем свою признательность.

– Спасибо, профессор. Я готов.

Никогда ещё приготовления не велись с таким тщанием, как в этот раз. Одно дело – кролики, и совсем другое – садовник; даже эти вечно занятые учёные мужи умудрились уловить разницу. Во время работы все помалкивали. Гордость и страх смешались воедино.

Наконец Арсенио водворяется в камеру. Вот-вот всё начнётся. Остаётся только спустить рычаг.

– Ну, Арсенио, мужайся, – говорит профессор. – До скорого.

– До свидания, профессор.

И уж больно естественно звучат прощальные слова в устах человека, которому с минуты на минуту предстоит пройти сквозь десяток-другой столетий.

Первый помощник собирается с мыслями: не каждый день ставишь опыты на людях – и со свойственной ему решительностью медленно давит на рычаг. Камеру заполняет золотая дымка, и вот уже сверкающие частицы неистово мечутся вокруг Арсенио. Мало-помалу садовник испаряется. Лицо его озаряет улыбка.

– Он не говорил, умеет ли он плавать? – вырывается у профессора, которого впервые видят таким возбуждённым.

– Умеет, – раздаётся ответ.

Ведь Арсенио мог появиться где угодно: в воде, в пустыне, в заснеженных горах, в экзотическом городе.

– Он здорово обучен. Никакая опасность ему не грозит.

– Каких-то пять минут. Что с ним может случиться?

На исходе третья минута, и только ценой невероятных усилий профессор не останавливает машину раньше времени.

...Вот он, долгожданный момент! Первый помощник хватается за рычаг. Учёные наблюдают знакомую картину с дымовой завесой и танцующими частицами... Не верится глазам! Перед ними предстаёт безмятежное, улыбающееся лицо Арсенио. Но что это у него в руках? Похоже на кусок хлеба. Так и есть. И Арсенио смачно от него откусывает.

– Здорово! – приветствует он с набитым ртом.

– Скорее! Вытаскивайте его оттуда!

Подопытному помогают выбраться из машины и усаживают в кресло.

– Вы хорошо себя чувствуете? Как всё было? Говорите.

– Это было потрясающе, – отвечает садовник.

– Где вы очутились? Ну же, рассказывайте.

Едва открыв рот, Арсенио замолкает; его, очевидно, забавляет держать всех в напряжении.

– Вы хорошо всё рассмотрели? Детали не упустили?

Конечно же, Арсенио добросовестно выполнил свою работу.

– Ну так вот, – продолжает садовник. – Глядь – а вокруг меня какой-то пустынный сельский пейзаж. Не здешний, конечно. С нашей местностью ни малейшего сходства: и растительность там другая и краски не те. Короче, ехать туда прилично. И люди, значит...

– В рыцарском облачении?

– Ну-у-у, одеты они хорошо. Наряды у них такие древние, прямо как на картинах. И люди-то они миролюбивые, простые. Они обращались ко мне, да где мне было понять их. Определённо, они говорили по-английски, а, может, и по-каталански – кто их знает? Все эти простолюдины пришли на поле пообедать. Некоторые оборачивались на меня, должно быть, им не давала покоя моя одежда, а один из них дал мне эту вкуснятину. – Арсенио жуёт, отрешённо уставившись в одну точку. – Там тысячи людей занимались трапезой, а вся еда появлялась из корзины, в которой было всего пять хлебов и две рыбы<sup>1</sup>. Мне сразу вспомнились ваши слова, профессор. Вы ведь это имели в виду, когда говорили, что мне предстоит соприкоснуться с чудом?..

### Комментарии

«ДОМ МЕРТВЕЦОВ»

*Дьябло* – старинная детская игра с конусообразными волчками.

*Алехандро Леррус Гарсия* (1864–1949) – испанский государственный и политический деятель. В начале 20 в. активно участвовал в республиканском движении в Каталонии, первоначально на его левом фланге, в дальнейшем эволюционировал вправо. В 1911 основал Республиканскую радикальную партию. Входил в состав «Революционного комитета», созданного в 1930 на совещании лидеров буржуазных республиканцев и социалистов. В 1931 министр иностранных дел республиканского правительства. В 1933–1935 возглавлял ряд правых правительств.

*Ла Челито* (наст. имя – Консуэло Портела; 1885–1959) – испанская певица.

*Бомбита* (наст. имя – Рикардо Торрес; 1879–1936) – испанский тореадор.

### Из переводов Александра Чистякова

*Александр Чистяков – выходец из России, жил в Италии. Сейчас живет в Бельгии. С детства участвует в олимпиадах: по математике, физике, химии, теперь по переводам – благодаря выученным языкам.*

### Giovanni Verga (1840–1922). Il Tramonto di Venere

Quando Leda, astro della danza, splendeva nel firmamento della Scala e del San Carlo, come stella di prima grandezza, contornata di brillanti autentici, e regalava le sue scarpette smesse ai principi del sangue e del denaro, chi avrebbe immaginato che un giorno ella sarebbe stata ridotta a correre dietro le scritte e i soffietti dei giornali, cogli stivalini infangati e l'ombrello sotto il braccio – a correre specialmente dietro un mortale qualsiasi, fosse pur stato Bibì, croce e delizia sua?

Poiché Bibì era anche un mostro, un donnaiuolo, il quale correva dal canto suo dietro tutte le gonnelle, e concedeva perfino i suoi favori alle matrone ancora tenere di cuore, adesso che la sua Leda batteva il lastrico, in cerca di scritte e di quattrini, e lui

---

<sup>1</sup> В Евангелиях «От Матфея» (14:15/21) и «От Марка» (6:35/44) описано, как Иисус Христос совершил чудо умножения хлебов и рыб: накормил пять тысяч человек пятью ячменными хлебами и двумя рыбами. – *Прим. пер.*

aspettava filosoficamente la dea Fortuna al Caffè Biffi, dalle 5 alle 6, nell'ora in cui anche le matrone s'avventurano in Galleria – oppure tentava di sforzarla – l'instabil Diva – a primiera o al bigliardo, tutte le notti che non consacrava alla dea Venere, come chiamava tuttora la sua Leda, quand'era fortunato alle carte o altrove, o quando non la picchiava, per rifarsi la mano.

Ahimé sì! L'indegno era arrivato al punto di fare oltraggio ai vezzi per cui aveva delirato, un tempo – per cui i Cresi della terra avevano profuso il loro oro. Le rinfacciava adesso, brutalmente: – Dove sono questi Cresi?

– Ah, l'ingrato, che dimenticava quanto gliene fosse passato per le mani di quell'oro; con quanta delicatezza la sua Leda gliene avesse celato spesso la provenienza, per non farlo adombrare, lui che era tanto ombroso, allora! E i sottili artifici, le trepide menzogne, i dolci rimorsi che rendevano attraente l'inganno fatto all'amante, per l'amante stesso, onde legarlo col beneficio! E le care scene di gelosia, e le paci più care!... Che importa il prezzo? Non era *lui* il suo tesoro, il suo bene?

Ma ciò che ora rendeva furiosa specialmente la povera dea Venere, erano le infedeltà gratuite e umilianti di Bibì; gli idilli che le toccava interrompere dinanzi alla tromba della scala, colle serve del vicinato; il lezzo di sottane sudice che egli le portava in luogo di violette di Parma. Aveva un vulcano in corpo, l'indegno! Ardeva per tutte quante della stessa fiamma che consumava lei pure, ahì derelitta – di persona e di beni!

O dolcezze perdute, o memorie! Quando invece Bibì correva dietro a lei, come un pazzo, in quella memorabile stagione dell'*Apollo* che fece perdere la testa anche a dei principi della Chiesa! Ebbene, essa aveva preferito Bibì, né signore né principe, allora, ma giovin, studente e povero, venuto dal fondo di una provincia, ricco solo di entusiasmi, per imparare musica, o pittura – una bell'arte insomma. La più bell'arte, per lui, fu di saper conquistare, senza spendere un quattrino, il cuore di Leda, la quale in quell'epoca teneva legata al filo dei suoi menomi capricci quasi una testa coronata. Capriccio per capriccio, essa preferì il nuovo, quello che aveva il sapore del frutto proibito, un'attrattiva insolita, la freschezza e la grazia di un primo palpito: – Lettere, mazzolini di fiori, incontri semifortuiti al Pincio, ogni fanciullaggine, in una parola. Ei ripeteva, supplice, come un eroe della scena: – Un'ora!... e poi morire!...

– No! – rispose ella infine. – No! Vivere e amar!

– Amor, sublime palpito!... Il fatto è che ne fu presa anche lei stavolta, allo stesso modo che aveva fatto ammattire tanti altri. – Ma presa, là, come si dice, pei capelli. Così il fortunato giovane ascese furtivo all'ambito talamo del geloso prence. Gli schiuse l'Eden lei stessa, tremante, a piedi nudi – i divini piedi cantati in prosa e in versi! – Bibì, che a sentirlo era un leone indomito, tremava anche lui come una foglia. E se lo prese, lei, trionfante per la prima volta! – Come sei timido, fanciullo mio!

– Tanto che Sua Altezza, seccato infine da quelle fanciullaggini, degnò aprire un occhio, e li scacciò dall'Eden. Che importa? Il mondo non era seminato di teatri e di mecenati che portavano in palma di mano lei e Bibì? Soltanto, come i principi son rari, e i mecenati vogliono sapere dove vanno a finire i loro denari, i due amanti fecero le cose con maggior cautela, e le fanciullaggini a usci chiusi. Bibì era felice come un Dio, viaggiando da una capitale all'altra, in prima classe, ben vestito, ben pasciuto, a tu per tu

cogli impresari e i primi signori del paese che accorrevano a fare omaggio alla sua diva. Se bisognava eclissarsi qualche volta discretamente dinanzi a loro, lo faceva con un sorriso che voleva dire: – Poveretti! – Le stesse scene di gelosia sembravano combinate apposta per infiorare quel paradiso, come una carezza all'amor proprio di entrambi, una protesta dignitosa dell'amante, e una delicata occasione offerta all'amata di tornare a giurargli e spergiurargli la sua fede: – No, caro!... Lo sai!... Sei tu solo il signore e il padrone... Ecco! –

Basta, ora si trattava di non lasciarsi sopraffare da quell'intrigante della Noemi, che le rapiva agenti ed impresari, alla Leda, con tutte le armi lecite e illecite, e le portava via le scritture – una che non aveva dieci chili di polpa sotto le maglie! – E le portava via anche Bibì, il quale si dava il rossetters ai baffi, e si metteva in ghingheri per andare ad applaudirla, *gratis et amore*.

– Ma il ballo nuovo del cavalier Giammone non me lo porta via, no! – giurò a se stessa la bella Leda.

Da un mese, Barbetti e tutti gli altri giornalisti che vendono l'anima a chi li paga, non facevano altro che rompere la grazia di Dio ad artisti ed abbonati con quel nome della Noemi stampato a lettere di scatola. Già erano in tanti a far la spesa degli articoli, i protettori della casta vergine! Ma il ballo nuovo del cavalier Giammone non l'avrebbe avuto, no!

Il cavaliere stava appunto parlandone coll'impresario, chiusi a quattr'occhi, dinanzi al piano del Gran Poema storico-filosofico-danzante, sciorinato sulla tavola, allorché capitò all'improvviso la signora Leda, in gran gala, e col fiato ai denti.

– Cavaliere mio!... scusatemi!... Non si parla d'altro sulla piazza!... Sarà un trionfo, vi garantisco!... Lasciatemi vedere...

– Ah! – sbuffò il coreografo colto sul fatto. – Oh!...

– E si buttò sulle sue carte, quasi volessero rubargliele. L'impresario, dal canto suo, diede una famosa lavata di capo al povero tramagnino che stava a guardia dell'uscio.

– Ho dato ordine di non essere disturbato, quando sono in seduta! Nessuno entra senza essere annunziato!...

– Dopo tanti anni che le porte si spalancavano dinanzi a lei, e gli impresari le venivano incontro col cappello in mano! Se non la colse un accidente, fu proprio un miracolo. Barbetti, che la incontrò all'uscita così rossa e sconvolta, non poté tenersi dal dirle ridendo:

– Come va, bellezza?

– Senti! – rispose lei, fuori della grazia di Dio davvero; – senti, faresti meglio a stare alla porta della Noemi, per vedere chi va e chi viene, giacché fai quel bel mestiere!

– All'occasione la signora Leda aveva la lingua in bocca anche lei – la bocca amara come il tossico. – Per rifarsela dovette fermarsi al Biffi, a bere qualche cosa. Bibì era là, al solito, in trono fra gli amici. Tutti quanti, ad uno ad uno, per far la corte a lei e a lui, cominciarono a dire ira di Dio della Noemi – che non aveva scuola – che non aveva grazia – che non aveva questo e non aveva quest'altro. Già l'avevano tutti quanti a morte coll'Impresa che lasciava disponibili i migliori soggetti. Poi, dopo che l'amorosa coppia si fu congedata, fra grandi inchini e scappellate – Bibì stavolta volle

accompagnare la sua signora per sentir bene come era andata a finire, un po' inquieto e nervoso in fondo, ma disinvolto, giocherellando colla mazzettina, lei tutta arzilla e saltellante, col sorriso di cinabro e le rose sulle guance (quantunque si sentisse soffocare nella giacchetta atillata) per non dar gusto ai colleghi, Scamboletti, il celebre buffo, ch'era anche il burlone della compagnia, mandò loro dietro questo saluto:

– Lei sì che n'ha della grazia di Dio!... Una balena! – Anzi citò un'altra bestia.

– Senza invidia però, Bibì! – Senza invidia, a lui, Bibì, ch'era un pascià a tre code, e di donne ne aveva sino ai capelli, damone e titolate?... Basta, era un gentiluomo! E sapeva anche quello che andava reso alla sua signora. Ma in quanto all'arte però non era partigiano, e ammirava ugualmente tutti i generi. Leda era del genere classico? E lui l'aveva fatta subito scritturare al Carcano, un teatro di cartello anche questo, non c'è che dire. Oggi, pei balli grandi, bastano le seconde parti, gambe e macchinario. Piacciono anche questi? Ebbene, batteva le mani lui pure, senza secondi fini.

Ma la Leda, che non aveva più un cane che le battesse le mani, era diventata gelosa come un accidente, e gli amareggiava la vita, povero galantuomo. Lagrime, rimproveri, scene di famiglia continuamente. Alle volte, magari, lui doveva buttar via il tovagliolo a mezza tavola, per non buttarle il piatto in faccia. Tanto, quella poca grazia di Dio gli andava tutta in veleno.

Si rappattumavano dopo, è vero; perché quando si è fatto per un uomo quello che aveva fatto lei!... – E quando si è un gentiluomo come era lui!... Ma però artisti l'uno e l'altra, dopo la commedia delle paci e delle tenerezze si tenevano d'occhio a vicenda, e la signora Leda, a buon conto, aveva messo un tramagnino alle calcagna di Bibì, per scoprire il dietro scena nel repertorio delle sue tenerezze. Talché gli amici al vederlo sempre con la guardia del corpo, gli affibbiarono il titolo di *Re di picche*.

Infine tanto tuonò che piovve, la sera stessa della beneficiata di Leda, che non c'erano duecento persone al Carcano. Ella cercò di sfogarsi con Bibì “il quale faceva il risotto” alla Noemi, invece! lui e i suoi amici! bestie e animali tutti quanti, che non sapevano neppure dove stesse di casa il vero merito! e si lasciavano prendere all'amo dalle grazie di quella diva, la quale rideva di loro, poi – sicuro! – di lui pel primo! – Gonzo!

– Via, fammi il piacere! – interruppe Bibì accendendo un mozzicone di sigaro dinanzi allo specchio.

– Ah, non vuoi sentirtela dire? Già, quella lì non ti piglia certo pei tuoi begli occhi, mio caro! – Schizzava fuoco e fiamme dagli occhi, lei, colle ciglia ancora tinte e il rossetto sulla faccia, così come si trovava all'uscire dal teatro, una Furia d'Averno – dopo tutto quello che aveva fatto per lui, e le occasioni che gli aveva sacrificato, ricconi e pezzi grossi, che se avesse voluto, ancora!...

– Fammi il piacere, via! – tornò a dire Bibì con quel ghignetto che la faceva uscire dai gangheri.

– Allora senti! Bada bene a quello che fai! Bada bene, veh! Che son capace di andare a romperle il muso, alla tua casta diva! – E qui un mondo di altre porcherie: – che lui era roba sua, di lei, giacché lo pagava e lo manteneva, e si rompeva la grazia di Dio, laggiù al Carcano, per mantenergli anche la casta diva! – Allorché era in bestia la signora Leda sbraitava tal quale come la sua portinaia, e vomitava gli impropri che

aveva inteso al Verziere, quando stava da quelle parti. – Puzzone! Svergognato! Ti pago perfino il sigaro che hai in bocca!... – Scendere sino a queste bassezze, via! Talché Bibì stavolta perse il lume degli occhi e l'educazione, e gliene disse d'ogni specie anche lui, buttando in aria ogni cosa, dediche, omaggi, ritratti e corone sotto vetro, tutto quanto v'era in salotto, e quando non ebbe più che dire buttò anche le mani addosso a lei, senza riguardo neppure al rossetto e alle finte che costavano 50 lire al paio. – Già al Carcano non ci avrebbe ballato più per un pezzo, la brutta bestia, tante gliene diede, – e il meglio era di prendere il cappello e andarsene via, poiché il vicinato era tutto sul pianerottolo, e colla Questura lui non voleva averci a che fare di nuovo, dopo che gli aveva rotto le scatole per altre sciocchezze.

Stavolta sembrava bell'e finita per sempre fra Bibì e la sua signora. – Ciascuno per la sua strada, e alla grazia di Dio tutt'e due, in cerca di miglior fortuna, – se non fossero stati i buoni amici che vi si misero di mezzo. Tanto, dopo tanto tempo che stavano insieme, erano più di marito e moglie. No, lei non poteva starci senza Bibì. Fosse sorte, fosse malia, la teneva legata ad un filo, come essa ne aveva tenuti tanti, uomini seri, ed uomini forti, che in mano sua sembravano delle marionette. E anche Bibì, a parte l'interesse, un cuor d'oro in fondo, che non si poteva dire lo facesse muovere l'interesse, ormai. Non tornò a servirla in ogni maniera e a procurarle le scritture egli stesso? in America, in Turchia, dove poté, giacché al giorno d'oggi soltanto laggiù sanno conoscere ed apprezzare le celebrità. – Prova i vaglia postali che lei mandava, poco o molto, quanto poteva.

Un cuor d'oro. E allorché la povera donna batté il bottone finale, e sbarcò a Genova senza un quattrino, borsa e rifinita, chi trovò alla stazione, a braccia aperte? Chi si fece in quattro per scovarle qua e là mezza dozzina di ragazze promettenti, e insidiarla maestra di ballo addirittura? Chi le prestò i mezzi, a un tanto al mese, per metter su “pensione d'artisti” – una speculazione che sarebbe riuscita un affarone, se non ci si fosse messa di mezzo la Questura, che l'aveva particolarmente con Bibì?

E come ogni cosa andava di male in peggio, cogli anni e la disdetta, chi le prestò qualche ventina di lire, al bisogno, di tanto in tanto, quando si poteva? Dio mio, le ventine di lire bisogna sudare sangue e acqua a metterle insieme; e quando si diceva prestare, da lui a lei, era un modo di dire.

E al calar del sipario, infine, allorché la povera Leda andò a finire dove finiscono gli artisti senza giudizio, chi andò a trovarla qualche volta all'ospedale, e portarle ancora dei soldi, se mai, per gli ultimi bisogni?

Bibì ne aveva avuto del giudizio, è vero, e un po' di soldi aveva messo da parte, col risparmi e gli interessi modici, tanto da render servizio a qualche amico, se era solvibile, e da far la quieta vita, coi suoi comodi e la sua brava cuoca. Perciò quelle visite all'ospedale gli turbavano la digestione, gli facevano venire le lagrime agli occhi, e non era commedia, no, quando ne parlava poi cogli amici, al caffè.

– Bisogna vedere, miei cari! Una cosa che stringe il cuore, chi ne ha! L'avreste creduto, eh? Lei abituata a dormire nella batista!... E ridotta che non si riconosce più... Un canchero, un diavolo al petto... che so io... Non ho voluto vedere neppure. Lei ha sempre la mania di far vedere e toccare a tutti quanti. E delle pretese poi! Certe

illusioni!... Non si dà ancora il rossetto? Misera umanità! Ieri, sentite questa, vo sin laggiù a Porta Nuova, apposta per lei, con questo caldo, e trovo la scena della *Traviata*: “O ciel morir sì giovane...” “Mia cara:.. giovani o vecchi... Voi guarirete, ve lo dico io!” “Ah! Oh!” Allora viene la parte tenera, e vuol sapere se sono sempre io... lo stesso amico... da contarci su... “Certo... certo... Diamine!...” O non mi esce a dire di condurla via? Sissignore – che una volta via di lì è sicura di guarire – che vogliono operarla – che ha paura del medico: “Per carità! Per amor di Dio!” “Un momento, cara amica! Che diamine, un momento!” Ella si rizza come una disperata, afferrandomi pel vestito, baciandomi le mani... Non ci torno più, parola d'onore!

– E vedendo che ci voleva anche quello, dalla faccia degli amici, Bibì asciugò una furtiva lagrima.

### **Джованни Верга (1840 - 1922). Закат Венеры**

Когда Леда, звезда танцевального искусства первой величины, сверкала на хрустальном своде Ла Скалы и Сан Карло, и сверкали настоящие бриллианты её украшений, когда жаловала свои истёртые балетные туфельки принцам голубых кровей или финансовым королям, кто мог бы тогда представить, что наступит день, и ей придётся опуститься до того, чтобы рыскать по городу с зонтом под мышкой и в изгвазданных сапожках, домогаясь ангажемента или хотя бы упоминания о себе в газетной статейке, и волочиться за кем? – за простым смертным, пусть даже и самим Биби, её проклятием и отрадой.

Потому что Биби был ко всему ещё и чудовищем, бабником, не пропускавшим ни одной юбки, не брезговавшим даже почтенными тётушками, сохранившими мягкость в сердце; а сейчас, когда его Леда оказалась буквально на улице, тщась раздобыть хоть какую-то роль и хоть какие-то деньги, он безмятежно отдавался на волю богини Удачи в кафе Биффи, с пяти до шести вечера, в то самое время, когда тётушки выбирают на променад в Галерею, или же пытался склонить её — ветреную Деву — на свою сторону, играя ночь напролёт в карты или бильярд, разумеется, если не посвящал эту ночь богине любви, Венере, как по-прежнему называл он свою Леду, когда везло ему в карты или ещё во что, да и просто, когда не поколачивал её, просто оттого, что чесались руки.

Увы! Недостойный, дошёл он до того, что пренебрегал ласками, от которых сходил когда-то с ума, ласками, в погоне за которыми Крёзы этого мира проматывали целые состояния. Теперь же он грубо попрекал её: «Ну и где твои Крёзы?» — неблагодарный, забывший о том, сколько золота из тех состояний протекло сквозь его пальцы; с какой же чуткостью избегала его Леда упоминаний о происхождении того золота, чтобы не будить его подозрительность — ведь он был таким подозрительным в то время! Мастерские уловки, ложь с замирающим сердцем, сладость раскаяния — так соблазнительно держать любовника на золотом поводке, оставляя его в неведении, для его же, любовника, пользы! И как

дорого обходились сцены ревности, и в какие суммы вставало примирение... Да что те деньги? Разве не был он сам её сокровищем, её достоянием?

Но более всего доводили до иступления несчастную богиню Любви мимолётные и унижительные для неё измены Биби: идиллические картины с соседскими служанками, на которые выпадало ей наткаться — прямо на лестнице возле дверей, вонь замызганных нижних юбок, что притаскивал он вместо давешней «Пармской фиалки»... В теле недостойного бурлил раскалённой лавой вулкан! Пылал он своим жаром ко всем без разбору, и тот же жар снедал и её, но увы, лишённую внимания и обездоленную!

О утерянная нега, о дым воспоминаний! Ведь было время, и это Биби сходил по ней с ума, в тот незабываемый театральный сезон, когда она вскружила голову даже кому-то из церковных владык! Так нет же, всем предпочла она тогда Биби, не сильного мира сего, не даже просто господина благородных кровей, а бедного мальчишку-студента, заявившегося из глухой провинции, с собой имевшего только горячее желание учиться — музыке, живописи ли, — неважно, главное — чему-то высокому. Самым высоким для него оказалось не стоившее ему ни гроша покорение сердца Леды, малейшие прихоти которой в то время спешил исполнить чуть ли не наследник престола. Но её прихотью стала новизна с привкусом запретного плода, манящая необычностью, свежестью и очарованием первого сердечного трепета — букетики цветов, записки, вроде как случайные встречи в Пинчо... — озорство, одним словом. Словно герой на сцене, он вновь и вновь молил: «Один лишь час! А после я готов на смерть!»

И она сдалась: «Нет! Жить полной жизнью и любить!»

Любви возвышенный порыв... Беда в том, что на этот раз чувства захватили её с головой — сразу и бесповоротно — точно так же, как раньше она сводила с ума других. Вот так и выпало юному счастливику прокрасться в опочивальню наследного ревнивца. Врата рая открыла она сама, дрожа от волнения, ступая по полу босыми ногами — этими ножками, воспетыми в стихах и прозе! Биби — послушать его дотолле, так свирепый лев — тоже дрожал как осиновый лист. И она, впервые ликуя, приняла его: «Мальчик мой, какой же ты робкий!»

Но Его Высочество не стал закрывать глаза на все эти озорства, доводящие его до иступления, и в конце концов прогнал их из Рая. Да что с того? Мало ли на свете театров и меценатов, готовых пригреть её и Биби? Однако, поскольку принцы не встречаются на каждом шагу, а меценаты желают знать, на что идут их деньги, наши любовники стали вести себя осмотрительнее, и озоровали теперь за плотно закрытыми дверями. Биби был на седьмом небе от счастья, путешествуя первым классом по столицам, приодетый, раскормленный, запанибрата со всеми импресарио и аристократами, захаживавшими засвидетельствовать своё восхищение к его диве. И если приходилось ему порой отступить в тень, то делал он это с лёгкой усмешкой, означавшей: «Жалкие людишки!», а сами сцены ревности, казалось, подстраивались специально, чтобы расцветить благолепие жизни, этакий повод выразить сдержанную досаду для одного и удобный случай вновь и вновь клясться в верности для другой: «Да нет же, милый, ты ведь знаешь! Тебе одному отдана я безраздельно! Да, да!» — но хватит об этом, сейчас

нужно не дать себя опередить этой проныре Ноэми, что не гнушается никакими средствами, уводя агентов и импресарио у Леды, выхватывая роли прямо из-под носа, и это штучка, у которой под блузкой нет и десяти килограмм мяса! А ещё она уводит у Леды её Биби, ведь это ей он теперь ни за что ни про что рукоплещет, набриолинив усы и вырядившись франтом. «Но уж танцевальную партию из новой партитуры самого Джаммоне она у меня не отхватит, нет и нет!» — поклялась себе прекрасная Леда.

Последний месяц Барбетти и прочая продажная журналистская братия докучали донельзя артистам и подписчикам — имя этой их Ноэми аршинными буквами кричало отовсюду. И пусть даже многие купились на газетные статейки, о защитники пресвятой девы, но танец из нового опуса самого Джаммоне этой Ноэми не достанется, нет уж!

Мэтр как раз обсуждал с глазу на глаз с импресарио разложенный на столе историко-философско-танцевальный высокопоэтический опус, когда к ним ворвалась запыхавшаяся синьора Леда, при полном параде:

— Маэстро!.. Простите ради Бога!.. Все только об этом и говорят!.. Я Вас уверяю, успех будет ошеломительный!.. Позвольте взглянуть...

— Ох! — только и смог выдохнуть застигнутый врасплох хореограф, — Ох!

И бросился плашмя на стол, словно его листы собирались украсть. Импресарио со своей стороны накинулся со взбучкой на несчастного мима, поставленного в тот день никого не пускать у дверей:

— Я же распорядился меня не беспокоить во время приёма! Никому не дозволено входить без предуведомления!

И это после стольких лет, когда двери сами распахивались перед ней, а импресарио подобострастно расшаркивались! Её чудом не хватил удар. Когда она, удручённая и с пылающими щеками, выходила на улицу, ей встретился Барбетти, не удержавшийся от ехидного:

— Как дела, красотка?

— Слушай, — ответила она вне себя, — слушай, ты, тебе бы лучше встать у дверей Ноэми и следить там за столпотворением, раз уж ты заделался халдеем.

При случае синьора Леда не лезла за ядовитым словечком в карман.

Чтобы прийти в себя, она решила зайти в Биффи и заказать чего-нибудь. Биби восседал там, как водится, окружённый друзьями. Все как один принялись обхаживать её и Биби, мешая с грязью Ноэми — и выучки-то у неё нет, и пластичности-то никакой, и того тоже у неё нет, и ещё другого, и третьего. И все хором проклинали антрепризу, не привлекающую лучших исполнителей. Потом, когда под учтивые поклоны и снятые шляпы наша парочка направилась к выходу, — в этот раз Биби решил сопровождать свою синьору домой, чтобы лучше узнать, чем всё закончилось, волнуясь и в глубине души беспокоясь, но внешне не подавая виду и поигрывая тростью; Леда шла наигранно куражась, губы алели улыбкой, щёки розовели (хоть она и задыхалась в тесном жакете) назло соратницам, — Скамболетти, известный балагур и записной шутник компании, проводил их таким напутствием:

— Вот это я понимаю, телеса! Что твой кашалот!

Вообще-то он использовал другое слово.

— Биби, не подумай, что я завидую!

Не завидовать ему, Биби, великому визирю, чей гарем был полон великосветских дам? Пустое, он ведь джентльмен! И он прекрасно знает, каких комплиментов достойна его дама. Что же до искусства, то у него не было особых предпочтений. Леда танцевала классику? Что ж, он сразу же устроил её в театр Каркано, тоже в общем-то весьма и весьма, чего уж говорить. А сам... По нынешним временам, для концерта-гала достаточно нагнать толпу артистов — были бы ножки на сцене да театральные реквизиты. Публике нравится? Ну и славно, он хлопает вместе со всеми, без всякой задней мысли.

Но Леда, которой не хлопала ни одна собака, стала ревнивой и подозрительной и отравляла несчастному джентльмену жизнь. Слезы, упрёки, безобразные сцены. Порой ему доводилось швырять в сторону салфетку, не закончив обеда — а иначе бы он швырнул ей тарелку в лицо, да и один чёрт, кусок не пошёл бы уж в горло. Правда, после они примирялись: многие ли делают для своего кавалера больше неё, и много ли таких джентльменов как он? Но, будучи артистами, что один, что другая, исполнив ритуал примирения, наши голубочки не спускали друг с друга глаз, и синьора Леда не преминула приставить знакомого мима приглядывать за Биби, надеясь вывести того на чистую воду. Приятели же Биби, видя его постоянно в сопровождении почётного караула, присвоили ему титул Короля Без Взятков.

Но всё это были ещё цветочки. Гроза разразилась в день бенефиса Леды в Каркано: полуторатысячный зал не был наполнен и на четверть. И она высказала всё, что думает, своему Биби — тот, мол, со всей развесёлой компанией прилип к Ноэми! Мерзкие твари, все до одного! Отправились туда, где настоящее искусство и не ночевало! Попались на крючок к этой дивке с сомнительными прелестями! Она же водит вас всех за нос, и тебя, простофиля, — я уверена, — в первую очередь!

— Да ладно, брось ты, — прервал её Биби, раскуривая огрызок сигары перед зеркалом.

— А, не нравится? Конечно, эта штучка водится с тобой уж явно не за твои красивые глаза, дорогуша! — накрашенные глаза Леды пылали гневом, и румянами пылали её щёки, настоящая фурия, она ещё не смыла театральные гримы, вернувшись со сцены, — после всего того, что она сделала для него, чем пожертвовала — ведь стоило только захотеть, и обладатели сказочных состояний, и сильные мира сего, и даже...

— Брось, ладно уж тебе, — повторил Биби с той ухмылкой, что так выводила её из себя.

— Ах так? Ну тогда смотри у меня, если я чего узнаю, я ведь не поленюсь, пойду и разукрашу ей морду, этой твоей непорочной деве!

И она вылила на него ещё не один ушат грязи — и что принадлежал он ей с потрохами, раз уж она его целиком и полностью содержала, и что там, в Каркано, упиралась она, как раб на галере, и для чего? Чтоб спускал он всё на свою непорочную деву? Когда её величество Леда выходила из себя, бранилась она не

хуже кухарки, плюясь такими ругательствами, которым позавидовали бы на базарной площади, возле которой она когда-то жила.

— Вонючий мерзавец! Бесстыжий! Даже твои сигары, и те куплены на мои деньги!

Подумать только, до чего она опустилась в споре — у Биби померкло в глазах, и, забыв о хороших манерах, он выдал ей всё, что думает, по ходу дела перевернув в гостиной всё вверх дном, швыряя на пол подарки, посвящения, картины, укрытые стеклянными колпаками короны, словом, всё, что попало под руку, а потом под руку ему попала и сама Леда, с её яркой помадой и накладными ресницами, 50 лир за пару. Чёртова кукла долго ещё не попляшет в своём Каркано, так он её разукрасил... Ему ничего не оставалось, кроме как надеть шляпу и убраться из дома — соседи все уже высыпали на лестничную площадку, а с законом Биби больше не хотел связываться, ему и так изрядно попортили крови за всякую ерунду.

В этот раз, казалось, между Биби и его синьорой всё кончено: каждый пошёл было своей дорогой, с Божьей помощью, в поисках лучшей доли, но тут вмешались добрые друзья — мол, после стольких лет вместе Леда и Биби стали даже больше, чем мужем и женой. Нет, она не могла жить без Биби. Судьба? Приворот? Как бы то ни было, привязана она была накрепко, как случилось ей самой привязывать других, суровых и сильных мужчин, в её руках становившихся тряпичными куклами. Да и Биби, если забыть про интерес, золотое сердце, по сути, — нельзя сказать, что им двигал один лишь шкурный интерес, теперь-то. Разве он не помогал ей всячески, не искал для неё роли? Везде, где только мог, в Америке, в Турции — по нынешним временам, только там и знают и ценят настоящих звёзд... Куда он только не ездил — достаточно посмотреть на адреса почтовых переводов, что посылала она ему, когда могла и сколько могла.

Золотое сердце. А когда несчастная, уцепившись за последнюю соломинку, сошла с поезда в Генуе, без гроша в кармане, истрёпанная и измотанная, кто встречал её на перроне с широко раскрытыми объятиями? Кто разбился в лепёшку, набрав с полдюжины подающих надежд девиц, и устроил её аж преподавателем бальных танцев? Кто одолжил ей, за небольшой месячный процент, средства на устройство «артистического пансионата» — афера удалась бы на славу, если б только не вмешались стражи порядка, давно точившие на Биби зуб?

А поскольку всё катилось от плохого к худшему, от года к году, от отказа к отказу, кто одалживал порой на её нужды по двадцатке, когда мог, разумеется? Бог мой, двадцать лир, да чтобы собрать такие деньги, это ж сколько нужно пота и крови! И к тому же это только называлось «одалживал».

И наконец под самый занавес, когда бедняжка очутилась там, где оказываются все беспечные артисты, кто ходил навещать её в больнице, и, если уж на то пошло, то и не единожды, и приносил ей денег, на последние нужды?

Биби не был беспечным, что правда, то правда; ему удалось отложить определённую сумму, экономя и давая в долг под небольшие проценты, так что он мог при случае выручить кого-то из друзей, разумеется, под надлежащие

гарантии; он жил спокойной жизнью, ни в чём себе не отказывая и держа личного повара. Так что от посещений больницы у него начиналось несварение желудка, а на глазах выступали слёзы, не притворные, нет, когда он делился впечатлениями с друзьями в кафе.

— Это надо видеть, дорогие мои. Если у вас есть сердце, оно не может не сжаться от боли! Кто бы поверил? Она, привыкшая спать на тонких простынях... Совсем плоха, её просто не узнать... Язва, грудная жаба, откуда я знаю? Даже и смотреть не стал. У неё же вечно дикое желание всем показать свои болячки, обязательно дать потрогать... А уж претензии! И самообольщение! Подумать только, помада! До чего же ничтожно человечество, если... Вчера, вы только послушайте, по этой жаре я дотащился аж до самых Новых Ворот, исключительно ради неё, и чем меня встречают?! «Простите вы навеки...!» Травиата! «Такая юная, иду навстречу смерти...» — «Милочка, рано или поздно... К тому же вы обязательно выздоровеете, я вас уверяю!» А она всё ахает да охает и, самое трогательное, спрашивает, может ли она по-прежнему... на меня, как в старые времена... положиться, как на друга... «Ну разумеется, право слово!» Не замолвлю ли я словечко, чтоб выпустили её? Именно! Мол, как только вырвется оттуда, то мигом выздоровеет — её же хотят резать — а она боится докторов: «Умоляю! Ради всего святого!» — «Успокойся, дорогуша! Да подожди ж ты секунду!» А она тянется с постели, хватает меня за пиджак, руки целует... Нет уж, увольте, я туда больше не ходок, клянусь честью!

— прочитав по лицам друзей, что подошёл подходящий момент, Биби промокнул слезинку украдкой.

### **Massimo Bontempelli. L'amante fedele (Premio Strega, 1953)**

#### **Nitta**

Possedevo un'automobile: una sera da un luogo di villeggiatura accompagnai certa gente alla stazione della città piú vicina. Il treno era in ritardo, loro dicevano: "Vattene pure, si fa buio, fino a casa hai forse cento chilometri, ecc.". Ma io ho preferito aspettare; per andarmene poi traverso la notte piena, quando il creato si rifà semplice ed eterno.

Partita la gente uscii dalla stazione e ripresi in fretta il mio posto al volante. In breve ero fuori delle case, via per il bel viale diritto, a fari accesi.

Ma non mi sentii felice. Era una notte avvizzita. Il nero che copriva confusamente il cielo era pieno di strappi ove tremava qualche stella piccola, da quel nero colava per l'aria un impuro grigiore. Andando, non sentivo dormire la terra, come nelle notti vere. Anche l'aria dei prati respirava a stento.

Dove la strada entra in una boscaglia, a un tratto mi parve di udire un breve gemito, ma come oppresso, da sotto le radici forse, e taceva súbito. Le braccia dei rami piú bassi tentavano afferrarmi al passaggio, la luce dei fari colpiva nei tronchi crudelmente, tutto mi infastidiva: solo il mormorio del motore scorreva come un ruscello. Dopo il bosco ricomincia la prateria ma non ci sono piú alberi;

dura solo, di qua e di là della strada, il ritmo ostinato dei paracarri che non finiranno mai piú. Qui rinacque improvviso quella voce d'un attimo, la stessa, come un

respiro súbito spento. Rallentai. Da dove scaturiva? Dal cuore della terra? o da quelle piccole stelle che si vergognano? Forse da molto piú vicino? Ora taceva, io allora spasimavo nella voglia d'udirli un'altra volta. Mi sforzai di mettermi a cuore freddo per capirla bene, rallentai l'andare e spensi i fari per essere piú raccolto. Era davvero scomparsa. Pure io continuavo ad avvertire, non so dove, scorrente nell'aria o strisciante tra le ruote o lungo il cielo o sotterra, o tutt'intorno a me come l'aria che si respira, una invisibile presenza accompagnare la mia corsa. Niente, follia. Me ne riscossi, riaccesi i fari.

"Le presenze invisibili" farneticavo accelerando: ricordo che da ragazzo per un certo tempo questa frase mi piacque molto. un peccato che al ginnasio non mettano in programma un poco di demonologia, avrei imparato qualche esorcismo. Ma chi può sapere se questa presenza sia maligna o benigna? istata una specie di piccolo fischio: forse qualcuna delle frecce sottili che Lilith lancia alla Terra dal secondo satellite ? oh forse lei, lei in persona che viene a cercarmi, Lilith, dea della notte? Sarebbe giusto, lo ha detto Plotino ad Amelio: "Sta agli Dei venire a noi, non a noi andar a cercare gli Dei". Ho anche letto (chi sa dove) che non c'è da aver paura della "presenza" se si tiene in mano una pianta di ortica; non fosse tanto buio, forse in quei prati se ne trova. E diceva che stringendo in pugno per sette anni un vampiro, questo si cambia in ortica. Ho letto pure che per vedere un fantasma basta mettersi sugli occhi la placenta d'una gatta nera primogenita: una parola! Via, il sistema piú spiccio sarà sempre ricorrere al canto. Che cosa cantare? quale sarà la melodia o melope; l piú adat!-a a interessare le presenze occulte?

Qualunque; la prima che viene in mente: L'importante è l'animo, L'accento che ci metti. Ecco: Jerum! Jerum! Hallo hallohé!

Potenza dell'incomprensibile. Avevo appena gettato con tutta la mia voce contro la notte l'invocazione beffarda, che di colpo, quasi a rispondermi, rinacque nell'aria piú netto il gemito; in ritmo una, due, tre volt(: il tempo ch'io misi a dominare le mie mani che avevan fatto fare un orrendo guizzc al volante, rimettere in linea la macchina, rallentare poi cautamente frenare, fermarla.

Quel terzo gemitto s'era spento in un soffio, intorno a me si stendeva ora uno smisurato silenzio. Ma io immobile rimasi, e attento, certissimo che il suono sarebbe riapparso tra poco. Aspettavo, tendevo l'udito, sentivo calmarsi i battiti del mio cuore.

Non tardò molto.

Questa volta rampollò tenue, dal nulla, e crebbe a gradi. Si fa uguale e continuo. S'alza un istante, ricade, ripiglia. Ha preso forma di respiro, un fiato sottile e dolente; e non cessa piú. D'improvviso agghiacciai, perché mi resi conto che m'era vicinissimo, dietro, alle spalle. Mi feci animo, di colpo mi voltai. Ebbi il coraggio d'accendere la luce interna. E al suo fioco lume scòrsi una piccola confusa forma rannicchiata nel sedile di fondo. Mi posi in ginocchio sul mio e mi sporsi a guardarla. A poco a poco ne afferrai del tutto la linea: una fanciulla macilenta, vestita d'un corto grembiule lacero; i capelli pallidi le coprivano a mezzo il volto bruno e liscio. Dormiva a bocca aperta, d'un sonno sfinito. Ricominciò a gemere sommesso. Senza svegliarsi agitò il capo due volte come per smuovere la chioma che le solleticava le labbra e le palpebre. Spinsi una mano a scostarle i capelli dal viso. Cessò di gemere e schiuse gli occhi.

a Che fai qui? »

Mi guardò senza paura e senza muoversi, solo girando gli occhi; poi scosse forte la testa.

« Sai parlare ? »

« Sí » rispose sorridendo; e sbadigliò.

Che fai qui? »

La bambina si srotolò un poco, e sottovoce rispose:

« Mi sembra che dormivo. »

« Quando sei salita ? »

Mosse le spalle come se qualche cosa la infastidisse, poi in un tono tra dispettoso e lamentevole mormorava:

« Infine, che male ho fatto? »

Capii che stavo facendole domande sciocche, e che già ella aveva preso il sopravvento. Mi guardai intorno come cercando una risposta e un contegno. Vidi che fuori la notte s'era fatta un poco più morbida, pioveva qualche luce di stella sulla terra. Lei sbadigliò un'altra volta.

« Hai sonno ? »

S'era ributtata tra i cuscini, sempre con gli occhi dritti al mio volto:

« Non ho più sonno. »

Mi guardava come si guarda una cosa di cui ci siamo impossessati ma non sappiamo che farne.

Avevo sbagliato tutto, e non avevo modo di ricominciare da capo. Tutt'a un tratto esclamai:

« Oh, come ti chiami ? »

Non rispose subito. Lentamente si passava le mani sul capo, in quel moto i capelli ridiscesero a coprirle la fronte.

Rimasta così, col volto tra le mani, mormorò voci di cui non afferrai che qualche sillaba.

« Come hai detto ? » insistevo « ho udito qualche cosa come "nit-ta così? Nitta? »

Mi parve che col capo accennasse sí.

Tentai una nuova domanda:

« Dove volevi andare? »

Di colpo Nitta si drizzò, si compose sull'orlo del sedile, con i piedi a terra, cercando di tirarsi il grembiule sulle ginocchia. Era scalza.

Un'altra pausa. Poi alzando una mano e puntando l'indice, disse:

« Voglio andare lí » e gli occhi le scintillavano.

Non capivo. Scrollandosi d'impazienza ripeté:

« A sedermi lí. Davanti. »

Indicava il posto accanto al mio.

Respirai. C'era da muoversi, qualche cosa da cambiare, uscire dall'afa di quel dialogo assurdo.

Quando fu seduta al mio fianco, comandò:

« Andiamo. »

« Avanti ? »

« Sí »

Le domandai, accennando alla strada dinnanzi a noi:

« La tua casa è da quella parte? »

Scoppiò a ridere, d'un riso agitato, scomponendosi, urtandomi. Poi:

« Corri piú presto. »

Mi sentivo umiliato e pieno di stizza. Il cielo s'era in gran parte sgombrato, la notte era ancora alta, piena di stelle. Ora andavamo velocissimi. Ogni tanto la sogguardavo: ella immobile fissava oltre il vetro sulla strada battuta dai fari. La stizza divampava a collera nell'animo mio.

Nitta pareva ammaliata.

A poco a poco quello sfogo di velocità mi rimise in sesto. Rallentavo l'andare ma lei non disse nulla né si smosse dalla sua rapita fissità. Guardavo i paracarri e contavo i chilometri. Sentii che Nitta era perfettamente sola, che per ora non ci poteva essere tra noi altro che silenzio.

Il cielo s'era ripulito del tutto: le costellazioni giravano puntualmente intorno alla Terra, già cominciavano a impallidire. Non passò molto, e anche gli orizzonti un poco schiarivano. Ecco arrivammo dove, finito l'ultimo rettilineo, la strada ciruisce una collinetta prima di sboccare in un'altra pianura. Spensi i fari. E m'apparve là in fondo il mio poggio D'impeto senz'altro pensare gridai:

« Guarda, Nitta, ai piedi di quel poggio è la mia casa. Tra pochi minuti. »

Rispose con calma:

« Va bene. »

«Ma tu ora dovrai dirmelo: dove vuoi arrivare? Abiti ancora piú in là? io ti porto dove vuoi. »

Guardò in giro poi rispose:

« Intanto andiamo fino a quella. »

Vedendola fatta quasi umana, non volevo lasciar cadere il discorso.

« Quanti anni hai? »

Nitta alzò le spalle:

« Che cosa importa ? »

« Vuoi vedere che indovino ? Dodici. »

Súbito mi pentii: forse ne ha parecchi di piú, pare tanto bambina perché è denutrita e gracile.

Ma non s'era offesa. Non so neppure se avesse sentito. Canterellava, e s'accompagnava attentamente battendo con le nocche sul vetro. Io per non abbandonare la presa insistei con le fastidiose domande:

« Ti aspettano ? »

« Chi ? » domandò a sua volta con un'ombra di meraviglia.

Una volta ancora mi morsi le labbra per il dispetto. Per fortuna eravamo vicini alla meta. Affrettai. Dopo due minuti fermavo ai piedi del poggio, davanti alla piccola casa solitaria, che era la mia dimora.

« Eccoci, Nitta. »

Spensi il motore; e mi venne un pensiero improvviso:

« Hai fame? »

Mi fissò per un attimo immobile. Poi il suo volto s'infiammò di stupore. Giunse le mani e se le strinse al petto, mentre esclamava:

« vero, sí, tanta. »

Gli occhi le brillavano di desiderio e di speranza. A me veniva da piangere. M'ero buttato fuori dalla macchina e tenendo aperto lo sportello parlavo:

« Anch'io ho fame; su ho tante cose da mangiare; scendi, presto, entriamo in casa. »

Non si mosse, parve oscurarsi, disse precipitosamente:

«No, mi vergogno, portalo qui. »

Non insistetti.

« Sí, sí » la rassicuravo « salgo e ridiscendo súbito. Poi arriveremo fin là » additai un folto di piante in mezzo alla pianura « là c'è anche una tavola, portiamo là tutto, in cinque minuti ci arriviamo. »

Intanto m'ero avviato, ma sentii il grido di Nitta:

«No no! »

Mi voltai.

Il suo volto s'era tutto sconcolato. Pregava a mani giunte singhiozzando:

« No, non aspettiamo tanto; qui, mangiamo qui, fa' presto. »

« Certo, cara, come vuoi. »

E fuggii, salii di corsa le scale, gonfio di commozione e di tenerezza. Avevo parecchie provviste, in furia le gettai in un paniere grande: frutta pane biscotti uova formaggio vino non so che altro. Mi sarebbe parso un delitto far aspettare un minuto piú del necessario la creatura affamata. M'affannavo pieno d'ardore pensando: "Dopo che avrò mangiato sarà un'altra, saprò di dove viene, potrò accompagnarla a casa sua, aiutarla". Quando il paniere fu colmo, senza neppur richiudere l'uscio mi precipitai giú per le scale e gridavo:

«Evviva! Nitta, ho fatto presto? Guarda... Nitta, Nitta, dove sei ? »

Nitta non era piú nella automobile. Vi gettai dentro il paniere; e via chiamandola corsi, attorno alla casa, su per il poggio svegliato ai primi raggi, di là dai prati da ogni parte, in mezzo alle piante, lontano e vicino, fino a sole alto e poi al meriggio in giro sempre cercando e gridando inutilmente il suo nome.

## **Массимо Бонтемпелли. Верный любовник (Премия Стрега, 1953)**

### **Нитта**

У меня была своя машина: однажды вечером я подвозил знакомых от их летнего прибежища до ближайшей станции. Поезд запаздывал, и они говорили мне: «Езжай спокойно, уже темнеет, до дома тебе ехать ещё сотню километров» и

тому подобное. Но я предпочёл подождать, чтобы уехать уже в глубокой ночи, когда мироздание вновь обретёт простоту и вечность.

Дождавшись отъезда поезда, я вышел со станции и быстро уселся за руль. Вскоре я миновал последние дома и катил под свет фар по прямой аллее.

Но я не чувствовал удовлетворения. Ночь была тусклой. В разрывах свинцовых туч, беспорядочно укрывавших небо, кое-где мерцали звёзды: из черноты лился в воздух мутный серый свет. Я видел, что земля не спит, как бывает обычно ночью. Воздух с полей был душен.

Дорога забежала в лес и в какой-то момент мне послышался короткий, какой-то сдавленный, словно из-под корней, стон. Нижние ветки деревьев пытались схватить меня на бегу, свет фар жёстко бил по стволам деревьев, всё меня раздражало, и лишь мотор рокотал как перекаты ручья. За лесом снова пошли поля, вместо деревьев по обочинам замелькали в упрямом ритме бесконечные придорожные тумбы. И тут внезапно снова возник тот же самый звук, подобный краткому вздоху. Я сбросил газ. Откуда он пробился? Из самых недр земли? Или с тех жалких звёзд? Может, откуда-то намного ближе? Безмолвие. Я затаил дыхание в надежде услышать звук ещё раз. Чтобы не отвлекаться и лучше разобрать его, я постарался унять бьющееся сердце, умерил бег автомобиля и погасил фары. Звук исчез. И всё-таки я продолжал ощущать, сам не знаю где, плывущее по воздуху, или скользящее меж колёс, вдоль по небу или под землёй, или просто обволакивающее меня, как воздух, которым мы дышим, невидимое присутствие, сопровождающее меня в дороге. Тишина. Померещилось. Я встряхнулся, включил фары.

«Невидимое присутствие», – бормотал я, надавливая на газ. Я помню, что это выражение мне жутко нравилось в детстве. Жаль, что в гимназии не включают в программу демонологию, я бы освоил что-нибудь для изгнания нечистой силы. Но кто знает, злое это присутствие или доброе? Послышался слабый свист: видно, одна из тонких стрел, что выпускает по Земле демон ночи Лилит. А может, это она собственной персоной явилась ко мне со своей тёмной планеты? Резонно, ведь недаром Плотин сказал Амелию: «Пусть боги ко мне приходят, а не я к ним». Я читал где-то, что можно не бояться «присутствия», если зажать в руке пучок крапивы; если б не темень, можно было бы поискать её на окрестных лугах. Там же было написано, что если держать в кулаке семь лет вампира, то он сам превратится в крапиву. А ещё я читал, что для того, чтобы увидеть привидение, нужно к глазам приложить пуповину первой в помёте чёрной кошки. Легко сказать! Пустое, самый спорный метод – это пение. Что бы такого затянуть? Какая мелодия или псалом наверняка заинтересуют таинственное присутствие?

Любая! Первая пришедшая в голову! Главное – настрой, петь с душой. Вот, пожалуйста: «Йерум! Йерум! Халло халлохей!»

Силы небесные! Не успел я доорать в ночь это нелепое заклинание, как разом, словно мне в ответ, в воздухе разнёсся явно слышимый стон: в чётком ритме, в первый, затем во второй и в третий раз – когда я уже унимал дрожь в руках, выплясывающих на руле чечётку, выравнивал машину, сбрасывал газ, тормозил и осторожно останавливался.

Третий стон закончился выдохом, вокруг меня снова сгустилась тишина. Но я оставался недвижим, весь внимание, будучи твёрдо уверен, что звук вскорости повторится. Я ждал, напрягая слух; я слышал, как успокаивается сердцебиение.

Звук не заставил себя долго ждать.

В этот раз он возник ниоткуда, сначала едва заметный, затем постепенно усилился. Выровнялся. Устоялся. На мгновение поднялся, спал, снова и снова. Приобрёл черты дыхания, слабого и болезненного, больше не прекращаясь. Внезапно я похолодел: я осознал, что звук – совсем рядом, сзади, у меня за спиной. Я набрался храбрости и резко обернулся. У меня хватило смелости включить свет в салоне. Его тусклые лучи высветили свернувшееся калачиком на заднем сидении щуплое тельце. Я встал на колени на своём сидении и вытянул шею, разглядывая его. Помалу-помалу я разглядел все детали: тощая девчужка, в рваном коротком халатике. Выцветшие волосы наполовину закрывали её гладкое смуглое личико. Она спала с открытым ртом, словно в забытьи. Вот она снова тихонько застонала. Не просыпаясь, встряхнула дважды головой, словно пытаюсь отогнать чёлку, щекочущую ей губы и веки. Двинула рукой, убирая волосы с лица. Подавила стон и приоткрыла глаза.

– Что ты здесь делаешь?

Она даже не пошевелилась, только перевела на меня взгляд, в котором не было страха. Потом помотала головой.

– Язык есть у тебя?

– Ага, – ответила она с улыбкой. Зевнула.

– Что ты здесь делаешь?

Девчужка чуть выпрямилась и вполголоса ответила:

– По-моему, я спала.

– Когда ты села в машину?

Она пожала плечами, словно что-то её раздражало, потом ответила не то насмешливым, не то жалобным тоном:

– По большому счёту, что тут такого?

Я понял, что задаю ей довольно дурацкие вопросы и что преимущество на её стороне. Я огляделся, словно это могло помочь мне подыскать достойный ответ. Ночь вокруг нас смягчилась, на землю проливались лучи отдельных звёзд. Моя спутница опять зевнула.

– Хочешь ещё поспать?

Она откинулась на спинку, впившись глазами в моё лицо:

– Больше не хочу.

Она смотрела на меня, как на вещь, которую не знаешь, куда приспособить.

Я с самого начала взял неверный тон и не знал, как начать всё с чистого листа. Спohватившись, я воскликнул:

– Как тебя зовут?

Она не ответила сразу. Провела руками по волосам, отчего они снова упали на лоб. Посидела, обхватив лицо руками, пробормотала что-то, из чего я ухватил лишь несколько слогов.

– Как ты сказала? – не сдавался я, – Мне послышалось Нитта, угадал? Нитта?

Мне показалось, что она утвердительно кивнула.

Я попробовал продолжить допрос:

– Куда тебе нужно?

Одним движением Нитта выпрямилась на краешке сидения, опустила ноги на пол и попыталась натянуть подол на колени. Нитта была босиком.

Очередная пауза. Потом, подняв руку, направила указательный палец:

– Я хочу туда, – глаза её искрились.

Я не понимал. Оживившись, она в нетерпении повторила:

– Туда, сесть. Спереди.

Она показала на переднее сиденье.

Я вздохнул. Нужно было что-то делать, что-то менять, выбираться из удушья этого нелепого диалога.

Усевшись рядом со мной она скомандовала:

– Поехали.

– Вперёд?

– Да.

Указав на дорогу перед нами, я спросил:

– Твой дом в той стороне?

Она расхохоталась, зашлась, забилась в смехе, толкая меня в бок. Затем:

– Быстрее.

Я чувствовал себя униженным, гнев переполнял меня. Тучи по большей части развеялись, полнозвёдная ночь и не думала кончаться. Мы мчались во весь опор. Иногда я мельком бросал взгляд на Нитту: недвижимая, она пристально следила за залитой светом фар дорогой. Гнев и раздражение в моей душе перерастали в ярость. Нитта казалась замороженной.

Понемногу скорость привела меня в чувство. Я замедлил бег машины, но Нитта не сказала ни слова, не оторвалась от сосредоточенного созерцания дороги. Я смотрел на придорожные тумбы и отсчитывал километры. Нитта казалась мне совершенно отрешённой, так что сейчас молчание между нами было вполне естественным.

Небо полностью прояснилось: созвездия вращались в заведённом порядке вокруг Земли, постепенно начиная бледнеть. Вскоре начал светлеть и горизонт. Вот мы доехали до того места, где после прямого участка дорога огибает холм и снова выводит на равнину. Я выключил фары. Передо мной выросла родной склон. Внезапный порыв заставил меня воскликнуть, не радумывая:

– Смотри, Нитта, под этой сопкой – мой дом. Осталось несколько минут.

Она спокойно ответила:

– Ладно.

– Скажи только, куда тебе нужно? Ты живёшь ещё дальше? Я отвезу тебя, только скажи.

Она огляделась, потом ответила:

– Пока что поехали дотуда.

Увидев, что она почти дошла до состояния разумного человека, я решил не прерывать разговор.

– Сколько тебе лет?

Нитта пожала плечами:

– Какая разница?

– Давай угадаю. Двенадцать?

Я сразу же раскаялся: может, ей намного больше, может, она кажется совсем девочкой, потому что она оголодала или оттого, что просто такая тощая.

Но Нитта не обиделась. Не знаю даже, услышала ли она меня.

Она что-то напевала, постукивая в такт костяшками пальцев по стеклу. Не сдаваясь, я продолжал напирать со своими назойливыми вопросами:

– Тебя ждут?

– Кто? – в свою очередь спросила она с тенью удивления.

Я снова закусил губу от досады. К счастью, наша цель уже была близка. Я поднажал. Через минуту я остановил машину у подножия склона, возле одинокого маленького домика, служившего мне пристанищем.

– Приехали, Нитта.

Я заглушил мотор; неожиданно мне пришла в голову мысль:

– Хочешь есть?

На мгновение она замерла. Затем по её лицу пробежала тень удивления. Прижав руки к груди она воскликнула:

– Конечно, да, очень.

В глазах её светилась надежда. Я готов был расплакаться. Выскочил из машины и, держа открытой дверцу, сказал:

– Я бы тоже поел. Там у меня много еды, давай, выходи, пойдём в дом.

Нитта не пошевелилась. Нахмурившись, она резко сказала:

– Я стесняюсь. Принеси всё сюда.

Я не стал настаивать.

– Хорошо, – успокоил я её, – Я поднимусь и сразу спущусь. Потом мы доберёмся вон туда, – показал я пальцем на рожицу посреди долины. – Там есть стол, возьмём всё с собой, пять минут и мы там.

С этими словами я совсем уже было зашёл в дом, как услышал вопль Нитты:

– Нет!

Я обернулся.

На лице её отражалась безутешная скорбь. Молитвенно сложив руки вместе она всхлипнула:

– Нет, не будем откладывать. Поедим прямо здесь, давай, быстро.

– Разумеется, дорогая, как ты захочешь.

Я помчался, бегом взлетел по лестнице: меня переполняли нежность и сострадание. У меня было полно припасов, в спешке я побросал всё в большую корзину – хлеб, фрукты, печенье, яйца, сыр, вино и не помню уже что ещё. Мне казалось преступлением заставлять оголодавшее создание ждать на минуту дольше, чем нужно. Запыхавшись, переполняемый чувствами, я думал: «Поев, она

станет другой, я узнаю, откуда она, смогу отвезти её домой, помочь ей». Набив корзину едой, даже не закрыв дверь, я сбежал с крыльца с криком:

– Ура, Нитта! Правда, я быстро? Смотри... Нитта, Нитта, ты где?

Нитты в машине не было. Я забросил корзинку в машину и бросился на поиски, выкрикивая её имя, вокруг дома, вверх по склону, разбуженному первыми лучами солнца, оттуда по лугам, по кустам, возле дома и вдали от него. Солнце выкатилось в зенит, стало спускаться, а я всё искал и искал. Тщетно.

### **Paolo Villaggio. Fantozzi (1971) Fantozzi va al Circo di Mosca**

Fantozzi domenica pomeriggio è andato al Circo di Mosca.

L'autunno è la stagione più triste per gli impiegati: le grandi vacanze estive sono finite e per godersi un giorno di festa bisogna aspettare fino ai primi di novembre per i Santi Morti, eccetera. Fantozzi la settimana scorsa ha deciso di mettersi sotto mutua. Si era messo d'accordo col medico, suo vecchio compagno di scuola, e si era fatto rilasciare una bella cartolina di “cinque più cinque”. Erano dieci bei giorni di riposo a casa, a leggere romanzi gialli, sentire la radio, far colazione a letto, roba da ricchi insomma. Visite fiscali per un impiegato con la sua anzianità di servizio non erano possibili, l'importante era non farsi vedere in giro perché sarebbero stati guai grossi.

Venerdì scorso un suo vicino di pianerottolo gli suonò alla porta alle 10 del mattino. Lui prudentemente si precipitò in camera sua e si buttò sul letto... mancandolo clamorosamente! Andò ad aprire la signora Pina esterrefatta per quel rumore di ossaglia che aveva sentito. Il vicino di pianerottolo, gentilissimo, le offriva due biglietti omaggio per andare a vedere il Circo di Mosca domenica pomeriggio. Disse che lui aveva la moglie malata, che doveva assisterla e che sperava che quello fosse l'ultimo sacrificio e che sperava che questa fosse proprio la volta buona. Sorrise amabilmente e lasciò nelle mani della signora Pina due grossi biglietti rossi.

Fantozzi ci pensò tutta la notte di sabato. Poi, considerando che lui un circo così importante non l'aveva mai visto e per di più gratis, decise di rischiare. Aveva comunque preso tutte le precauzioni possibili. Si presentò all'ingresso a spettacolo già iniziato da un quarto d'ora. Avanzò verso la prima fila dove erano i suoi posti, da solo, con la prudenza di un commando israeliano in una via del centro del Cairo.

In quel momento in pista c'era un colossale orso siberiano che girava in motocicletta in circolo e a gran velocità. Lui, trovati i posti, fece alla signora Pina il fischio convenuto, l'orso si voltò e perse il controllo della situazione. La motoretta volò verso l'uscita degli artisti e uscì senza cadere, l'orso invece rotolò in braccio a Fantozzi. Si accesero le luci e il pubblico scattò tutto in piedi scoppiando in un fragoroso applauso. Fantozzi con l'orso in braccio ringraziò prima il pubblico alla sua destra, poi quello di fronte nell'altro lato della pista e poi si sentì gelare il sangue, perché seduto al suo fianco a sinistra c'era il capo del personale, dottor Fonelli. Il dottor Fonelli lo guardò molto curiosamente e poi tentò: “Ma scusi lei non è...?”. Lui aveva la lingua di cartone, ma sdegnosamente lo interruppe con un: “Io? No comprendo... Io russo, artista de circo”. E mollò anche un tremendo calcio in tibia alla signora Pina che stava per chiedergli spiegazioni, facendola rotolare a quattro metri di distanza sotto le poltrone. Si

buttò allora in pista. In quel mentre entrarono gli elefanti. L'uomo degli elefanti, carogna, che forse tutto aveva capito, lo fece sdraiare per terra e gli portò sopra Karunko, il più grosso elefante del circo, che doveva mettere una zampa su una bottiglia e le altre tre sul torace di Fantozzi. Passò dieci secondi orrendi.

Quando si rialzò tutto sporco di segatura entrarono i clowns. Uno di questi gli fece odorare un fiore e gli schizzò dell'acqua in un occhio. Lui tentò di reagire e lo inseguì, ma incrociò lo sguardo del dottor Fonelli e si limitò a inchinarsi al pubblico che questa volta applaudì tiepidamente. Si voltò verso l'uscita e si trovò di fronte a tre giganteschi lottatori armeni a torso nudo che praticavano un tipo di lotta selvaggia e assai singolare. Prendevano una rincorsa di 25 metri circa e si scontravano con le fronti. Quello dei due che rimaneva in piedi vinceva l'incontro. Mancava il quarto, e il capo del circo, da dietro una tenda, gli fece un gesto imperioso obbligandolo a fare il sostituto. Lui si mise a torso nudo e partì da molto lontano, tra il pubblico, per avere un po' di vantaggio: era disperato. Venne giù a testa bassa ululando, mancò in pieno l'avversario e si incranò, facendo un tragico rumore di gong, sulla balaustra di legno ai piedi della signora Pina. Quando rinvenne e si alzò, la faccia tutta piena di segatura, vide che sua moglie aveva cominciato a piangere silenziosamente.

Scappò verso l'uscita e piombò nella più fitta oscurità. Ansimava. Inciampò in una cassetta di legno e cadde carponi. Strisciò lentamente cercando un varco. Lo trovò. Cominciò a percorrere un cunicolo sempre nel buio più completo. Dopo dieci metri fu accecato da una luce abbagliante: il cunicolo era finito, si alzò in piedi e si trovò nella gabbia delle tigri del Bengala. Il pubblico lo riconobbe e scattò tutto ancora in piedi per un fragoroso applauso.

La tigre più anziana con una occhiata significativa gli fece capire che voleva divertirsi e gli indicò con una zampa un tutù bianco alla Carla Fracci. Fu costretto a ballare nell'ordine: un saltarello napoletano, una ciarda e sulle punte tutto il *Lago dei cigni*. Senza musica. Il pubblico era ammutolito perché cominciava a capire che c'era forse qualcosa che non andava. Lui aveva anche cominciato a vomitare. Un inserviente allora gli aprì di colpo una porticina e lui, sempre sulle punte, uscì lentamente ballando *Giselle*.

Quando la gabbia si chiuse alle sue spalle si nascose disperato in un buco: era il cannone dell'uomo proiettile, e in quel preciso istante l'artificiere fece fuoco.

Lo trovarono il giorno dopo delle mondine in una risaia in preda a una gravissima crisi mistica: diceva di essere santa Teresa del Bambino Gesù. Dopo una settimana tornò in ufficio. Salì in ascensore col capo del personale dottor Fonelli, che gli disse: "Vada al Circo di Mosca, è uno spettacolo veramente interessante". "La ringrazio," rispose Fantozzi "lei è molto gentile" e gli avrebbe sputato in faccia.

### **Паоло Вилладжо. Фантоци (1971 г.) Фантоци на гастролях московского цирка**

Воскресным вечером Фантоци отправился на представление московского цирка.

Осень – самое печальное время года для офисного планктона: длинные летние отпуска закончились, а ближайших праздников придётся ждать до самого

ноября. На прошлой неделе Фантоцци решил взять больничный. Он договорился с участковым врачом, своим одноклассником, и ему выписали справку на десять рабочих дней. Две недели можно спокойно отдыхать дома, читать детективы, слушать музыку, нежиться в постели, словом, уподобиться олигарху. Поскольку у него накопился приличный рабочий стаж, то никто не станет проверять, сидит ли он дома; главное – не попасться никому на глаза на улице, а не то возможны серьезные неприятности.

В прошлую пятницу сосед по лестничной клетке позвонил в дверь в десять утра. Фантоцци из предосторожности рванул в спальню, сходу прыгнул в кровать... и не попал! От раздавшегося грохота костей жена Фантоцци, синьора Пина, похолодела, но тем не менее пошла открывать. Сосед, добрая душа, протянул ей две контрамарки на воскресное представление московского цирка, приехавшего на гастроли. Он сказал, что жена его слегла и ему придётся сидеть с ней; впрочем, он надеется, что скоро это всё наконец-то закончится и ему не придётся больше жертвовать собой. Сердечно улыбнувшись, он вложил огромные красные контрамарки в руки синьоры Пины.

Всю ночь на воскресенье Фантоцци напряжённо размышлял. Цирка такого масштаба, да к тому же на халяву, ему ещё не приходилось видеть. И он решил рискнуть. Разумеется, приняв все возможные меры предосторожности. В цирк они приехали через пятнадцать минут после начала представления. К первому ряду, обозначенному на билетах, Фантоцци пробирался в одиночестве, со скрытностью, достойной израильского шпиона на главной улице Каира. На арене в это время огромный бурый медведь с бешеной скоростью наматывал круги на мотоцикле. Фантоцци, добравшись до своего места, свистом подал условный сигнал жене. Медведь обернулся на свист и выпустил руль из лап. Мотоцикл без седока укатился за кулисы, медведь же скатился прямо в объятия Фантоцци. Прожектора выхватили сцену, и весь зал, вскочив на ноги, разразился рукоплесканиями. Фантоцци с медведем на руках поклонился сначала направо, потом трибуне напротив, а потом у него застыла в жилах кровь, потому что слева от него сидел начальник отдела кадров Фонелли. Он с интересом посмотрел на Фантоцци и начал было свой вопрос:

– Прошу прощения, а вы, случайно, не...

У Фантоцци спёрло дыхание, но он смог пренебрежительно прервать Фонелли:

– Моя не понимать. Моя руссо артисто.

С этими словами он врезал ногой по коленке синьоре Пине, обратившейся было к нему за разъяснениями. От удара та отлетела кубарем метра на четыре и затихла где-то под креслами.

Фантоцци от греха подальше выскочил на арену; в этот момент начался номер со слонами. Дрессировщик, зараза, похоже, всё понял и, уложив Фантоцци на опилки, подвёл к нему Карунко, самого здорового циркового слона. Слон встал одной ногой на бутылку и тремя – на грудь Фантоцци. Следующие десять секунд показались Фантоцци вечностью.

Когда он поднялся, весь в опилках, на арену выбежали клоуны. Один из них сунул Фантоцци под нос цветок. Фантоцци наклонился понюхать и получил струёй воды из цветка прямо в глаз. Он погнался было за клоуном, чтобы хорошенько его проучить, однако напоролся на взгляд Фонелли, остановился и стал раскланиваться. На этот раз публика хлопала без прежнего энтузиазма. Фантоцци повернулся к выходу с арены, но оказался лицом к лицу с тремя огромными борцами кавказской внешности. Голые по пояс, борцы устроили весьма необычный бой без правил: они с разбегу сталкивались лбами. Кто устоял на ногах, тот и победил. Поскольку один из них оказался без пары, конферансье величественным жестом указал Фантоцци на вакантное место. Фантоцци рванул на груди рубаху и стал разбегаться, отойдя на трибуны, чтобы иметь хоть какое-то преимущество – другого выхода у него не было. Низко опустив голову, он скатился с трибун с устрашающим воем, проскочил мимо соперника и с грохотом впилился в деревянную балюстраду у ног синьоры Пины. Очнувшись и поднявшись на ноги, всё лицо в опилках, он увидел, что по щекам его жены катятся слёзы.

Фантоцци метнулся за кулисы и оказался в кромешной тьме. Запнувшись за ящик, он упал на карачки и стал тыкаться в разные стороны в поисках выхода. Найдя какую-то канаву, он пополз по ней, пыхтя от натуги, по-прежнему в полной темноте. Через десять метров его ослепил яркий свет: канава кончилась, Фантоцци поднялся на ноги и оказался в клетке с бенгальскими тиграми. Публика узнала его и приветствовала взрывом аплодисментов.

Тигр, явно вожак стаи, подмигнул ему и дал понять, что не прочь поразвлечься. Лапой он подтолкнул к Фантоцци белоснежную балетную пачку. Фантоцци пришлось исполнить следующую танцевальную программу: неаполитанский танец, чардаш и всё «Лебединое озеро», разумеется, на пуантах. Без музыкального сопровождения. Публика безмолвствовала, поняв, что дело неладно. Фантоцци от пируэтов стало тошнить. Рабочий сцены открыл ему маленькую дверку, и Фантоцци покинул арену, танцуя партию Жизель. На пуантах.

Когда дверца за его спиной захлопнулась, он в отчаянии забился в какую-то дыру. Жерло цирковой пушки, если быть точным. Секундой позже раздалась команда: «Пли!»

Его нашли на следующий день при прополке рисового поля неподалёку; он впал в прострацию и называл себя святой Терезой.

Через неделю Фантоцци вышел на работу. В лифте ему встретился начальник отдела кадров Фонелли, который сказал:

– Сходите на гастроли московского цирка, незабываемое зрелище.

– Спасибо, вы мне льстите? – ответил Фантоцци, с трудом удержавшись от того, чтобы смачно харкнуть тому в лицо.

## Содержание

От составителя (О. В. Матвиенко)	3
Слово о конкурсе (К. С. Корконосенко)	4
<b>МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА НАЧИНАЮЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ ИМЕНИ Э. Л. ЛИНЕЦКОЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2018–2019)</b>	5
<b>ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО</b>	6
<i>F. Scott Fitzgerald.</i> Afternoon of an Author ( <i>August 1936</i> )	7
<b>Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Послеполуденный отдых писателя.</b> Переводы Е. Перминовой, М. Малютиной. <b>После полудня автора.</b> Перевод А. Сухой	
<i>Robert Graves.</i> My Best Christmas	25
<b>Роберт Грейвз. Мое лучшее Рождество.</b> Переводы К. Р., А. Романенко	
<b>Лучшее Рождество.</b> Перевод Д. Якубенко	
<b>Лучшее Рождество в моей жизни.</b> Перевод И. Обрезановой	
<b>Мое лучшее Рождество.</b> Переводы А. Остриковой, В. Хорунжей	
<i>Elizabeth Barrett Browning.</i> Sonnet XLIII	46
<b>Элизабет Барретт Браунинг. Сонет XLIII.</b> Переводы О. Матвиенко. П. Писаренко, Н. Плюснина, Е. Пальвановой, В. Соломахиной	
<i>Gerard Manley Hopkins.</i> Spring and Fall. To a Young Child	49
<b>Джерард Мэнли Хопкинс. Весна и осень. Маленькой девочке.</b> Переводы Е. Зиминной, О. Матвиенко	
<b>ПЕРЕВОДЫ С НЕМЕЦКОГО</b>	51
<i>Alexander Roda Roda.</i> Der Ochs, der Esel, das Kamel	52
<b>Александр Рода-Рода. Козёл, Осёл и Баран.</b> Перевод Е. Регнер	
<b>Осёл, Козёл и Баран.</b> Перевод С. Абузиной	
<i>Kurt Tucholsky.</i> Die Kunst, falsch zu reisen	56
<b>Курт Тухольский. Памятка отвратительного туриста.</b> Перевод К. Шашковой	
<i>Christian Fürchtegott Gellert.</i> Das Land der Hinkenden	61
<b>Кристиан Фюрхтеготт Геллерт. Страна хромых.</b> Переводы С. Куцевой, Е. Пономаревой. <b>Земля Хромых.</b> Перевод В. Курьянова	
<i>Kurt Tucholsky.</i> Luftveränderung	64
<b>Курт Тухольский. Перемена мест.</b> Перевод Н. Аграновского. <b>Смена атмосферы.</b> Перевод М. Седяевой. <b>Ветра перемен.</b> Перевод М. Альберт	
<b>ПЕРЕВОДЫ С ФРАНЦУЗСКОГО</b>	67
<i>André Wurmser</i> Le kaléidoscope, 1970.	68
<b>Андре Вюрмсер. «Калейдоскоп», 1970.</b> Переводы Е. Пальвановой, А. Царевой	
<i>Jean Giraudoux.</i> La Méprise	71
<b>Жан Жироду. Ошибка.</b> Переводы А. Гайденко, М. Красовицкой, Л. Дяченко	
<i>Jacques Prévert.</i> L'école des beaux-arts	76
<b>Жак Преввер. Урок изящных искусств.</b> Перевод М. Порошиной	
<b>Школа изящных искусств.</b> Перевод Е. Пальвановой	
<i>Paul Fort.</i> La valse de l'ourson	77
<b>Поль Фор. Медвежий танец.</b> Перевод М. Стародубцевой. <b>Медвежий вальс.</b> Перевод А. Гавриленко	

<b>ПЕРЕВОДЫ С ИСПАНСКОГО</b>		79
<i>Ramón María del Valle-Inclán.</i> Фрагмент из книги «La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales». El anillo de Giges		80
<i>Рамон Мария дель Валье-Инклан.</i> Гигово кольцо. Перевод К. Богдановой. <b>Кольцо Гига.</b> Переводы М. Каревой, А. Абрамовой. <b>Кольцо Гигов.</b> Перевод М. Красовицкой		
<i>Rafael Alberti.</i> A la Gracia		84
<i>Рафаэль Альберти.</i> Посвящение грации. Перевод С. Капустина		
<i>Jorge Luis Borges.</i> Milonga de Juan Muraña		85
<i>Хорхе Луис Борхес.</i> Милонга Хуана Мураньи. Перевод О. Комаровой		
<b>Песнь о Хуане Муранье.</b> Перевод С. Капустина		
<b>ПЕРЕВОДЫ С ИТАЛЬЯНСКОГО</b>		87
<i>Giovannino Guareschi.</i> La Lettera		88
<i>Джованнино Гварески.</i> Письмо. Переводы М. Громько, Н. Тик, П. Дроздовой		
<i>Ignazio Silone.</i> Fontamara.		100
<i>Иньяцио Силлоне.</i> Отрывок из романа «Фонтамара». Переводы О. Комаровой, П. Дроздовой, В. Сычевой, А. Чистякова, М. Ляпуновой, Д. Войницкого		
<i>Giovanni Pascoli.</i> Mare		116
<i>Джованни Пасколи.</i> Море. Переводы О. Комаровой, О. Матвиенко		
<b>ПЕРЕВОДЫ С ВЕНГЕРСКОГО</b>		118
<i>Grecsó Krisztián.</i> Tiszta udvar, rendes ház		119
<i>Кристиан Гречо.</i> Чистый двор, аккуратный дом. Перевод А. Алиповой.		
<b>Образцовый дом.</b> Перевод М. Фроловой. <b>Открытие.</b> Перевод Е. Капитохиной		
<i>Anna T. Szabó.</i> Róka		128
<i>Анна Т. Сабо.</i> Лиса. Переводы А. Гавриленко, Е. Капитохиной		
<b>Лисица.</b> Перевод А. Алиповой		
<b>ПЕРЕВОДЫ С ЧЕШСКОГО</b>		131
<i>Vohumil Hrabal.</i> Automat svět		132
<i>Богумил Грабал.</i> Закусочная «Мир». Переводы Ю. Жгулевой, А. Каганович. <b>Автомат Свет.</b> Перевод А. Резвухиной. <b>Закусочная Мир.</b> Перевод М. Пантелеева		
<i>Vladimír Holan.</i> Ó Kniho...		135
<i>Владимир Голан.</i> О, книга...Перевод В. Соломахиной		
<b>ПЕРЕВОДЫ С КИТАЙСКОГО</b>		136
刘震云 著 《吃瓜时代的儿女们》 (节选)		137
Лю Чжэньюнь. Поколение стадной эпохи (отрывок). Перевод А. Пан. Дети стадной эпохи (отрывок). Перевод А. Храмцовой		
东西 《双份老赵》 (节选)		
Дун Си. Старина Чжао-Про-Запас. Перевод О. Кремлиной		143
余光中 《乡愁》		150
Юй Гуанчжун. Ностальгия. Переводы А. Ним, О. Садовниковой		
闻一多 《发现》		151
Вэнь Идо. <b>Открытие.</b> Перевод Е. Ким. <b>Обнаружил.</b> Перевод А. Тягуновой.		
<b>Осознание.</b> Перевод Ю. Каретниковой		

<b><i>В переводческой мастерской</i></b>	154
<b><i>Из переводов Сергея Капустина. Antonio Mingote. Carta de amor. La casa de los muertos. El prodigioso viaje de Arsenio. Антонио Минготе. Любовное послание. Дом мертвецов. Необычайное путешествие Арсенио</i></b>	155
<b><i>Из переводов Александра Чистякова. Giovanni Verga. Il Tramonto di Venere. Джованни Верга. Закат Венеры. Massimo Bontempelli. L'amante fedele. Нитта. Массимо Бонтемпелли. Верный любовник. Нитта. Paolo Villaggio. Fantozzi. Fantozzi va al Circo di Mosca. Паоло Вилладжо. Фантоцци. Фантоцци на гастролях московского цирка</i></b>	179
<b><i>Содержание</i></b>	202

**Литературно-художественное издание**

**Отражения. Выпуск 10.**

**Первые опыты художественного перевода**

Редакторы и составители: К. С. Корконосенко, О. В. Матвиенко

Иллюстрации: В. В. Бондаренко